НЁМАН

8/2011
АВГУСТ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение
«Литература и Искусство»

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Староверовой*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *И. М. Кульбицкой*

Подписано к печати 04.08.2011 г. Формат 70×108 1/16. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,40. Уч.-изд. л. 23,10. Тираж 3278. Заказ 2043.
Цена номера в розницу 12 000 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220005, Минск, пр. Независимости, 39.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»



ВЛАДИМИР ХИЛЬКЕВИЧ

Люди божьи собаки

*Роман**

Олег Ждан. *Владимир Павлович, вас можно назвать давним автором «Нёмана». В свое время журнал опубликовал три ваших повести о любви. Одна получила литературную премию журнала, другую заметила союзная «Дружба народов», все они вышли отдельной книгой. Казалось бы, творческая судьба складывалась удачно. Но вслед за этим вы резко пропадаете с литературных «горизонтов». Что вы делали все это время?*

Владимир Хилькевич. *Собирался с мыслями. И боролся с собственной неуверенностью. А если говорить всерьез, то журналистика, которой я занимался все эти годы, оказалась дамой ревнивой. Ей удалось заполучить меня целиком. Ведь не зря говорят, что журналист — это человек, которому не хватило времени стать писателем.*

Однако ностальгия по литературной работе все же оставалась, на страницах «Звязды» несколько лет продержался авторский цикл «Деревенские истории». Житейские коллизии в них решались в литературном ключе. И еще — потихоньку писал «в стол». Но если бы не предложение директора холдинга «Літаратура і Мастацтва» А. Н. Карлюкевича поискать «что-нибудь» в шуфляде рабочего стола, сегодняшней публикации могло и не быть.

О. Ж. *В таком случае, кто вы по преимуществу: журналист или писатель?*

В. Х. *Вслед за классиком скажем так: литератор. Вполне жизненная формула и сегодня.*

О. Ж. *Как возникла идея романа? Откуда весь этот материал? Есть ли у главной героини прообраз?*

В. Х. *Роман «вырос» из повести, которую тогдашний заведующий отделом прозы «Нёмана» Владимир Жиженко и его «правая рука» Владимир Кудинов в целом одобрили, но вернули, чтобы «отлежалась». Кажется, они не очень поверили, что на одну семью свалилось сразу столько всего: «Похоже на «чернуху», — сказал Жиженко, — а «чернуху» в наши идеологически стерильные годы не любят...»*

Никакой «чернухой» жизнеописание по-своему экзотической семьи не было. Это скорее зеркальное отражение того бытия, лямку которого тянули после войны белорусы. И у главной героини, и у ее мужа, и даже у их детей были прототипы. Все это вполне реальные люди, но с кручеными, как на подбор, судьбами. Вчитаться в эти судьбы стоит, чтобы понять достаточно длительный период времени, который пришлось пережить народу.

И в то же время образы героев во многом собирательные. Чистой выдумки в романе, кажется, вовсе нет. Все истории, даже самые невероятные, случились в жизни.

У меня, как у автора, всего одна просьба к читателю, а к белорусскому читателю я всегда относился и отношусь с великим уважением: читайте, пожалуйста, неторопливо. Ведь автор неторопливо и писал...

---

* Журнальный вариант.

Если ехать Варшавкой — старым шляхом, который пересекает всю Белую Русь с востока на запад, то сразу за славным городом Слуцком, за двумя речушками, тихо и неприметно текущими в широких полях — Случью и Весейкой, можно увидеть в стороне от шоссе обсаженную березами деревеньку хат на сто, а на ее улице, будними днями почти пустынной, одинокую старуху в фиолетовой засаленной телогрейке, привычно сидящую на скамейке у железных, поставленных сельсоветом ворот. Деревушку над мелким голым яром так и зовут — сельцо с бабою, хотя есть у нее и настоящее имя — Красная Сторонка, приобретенное в пору великих перемен вместо архаичного Яковина Гряда. В обиходе можно встретить все эти три названия, они странным образом ужились и одно другому не мешают.

У ног старухи щиплет траву грязно-белая тощая коза, а за спиной женщины, на толстом бревне, выступающем из позеленелой и растрескавшейся стены хаты, дремлет ярко-красный большой петух. Время от времени петух вскрикивает хриплое «куре-е» и только после долгой передышки договаривает стеснительное «ку». Над петухом, на углу хаты, видна табличка, тоже поблекшая и потянутая зеленью, как сама стена — с едва различимой неровной надписью краской «С багром».

Коричневые руки, чуть выглядывающие из рукавов телогрейки, женщина всегда держит на суковатой палке, на них опускает обтянутый высохшей кожей подбородок, и потому сидит неловко, согбенно. В ее облике угадывается нечто от деревенского Емелюшки. Виною — простоватая улыбка и неизменное «Куды-ы ты?», которым она всех встречает. Женщина смотрит на свою Красную Сторонку неожиданно ясными глазами, которые не погасли, светятся под редкими в наших краях, уходящими вверх удивленными бровями. Улыбка и ясные эти глаза как будто живут сами по себе, мало отвечая за бренное, гнущееся книзу тело. И свое «Куды ты?» она произносит неожиданно живо, хотя и несколько протяжно: «Куды-ы-ы ты?» Иногда выкрикивает его, если нужно спросить человека, идущего на другой стороне улицы, едущего мимо в громыхливой телеге или дребезжащем «Москвиче».

Летом ее бессменное дежурство не удивительно, но она на своем посту и зимой, теперь уже без козы и петуха. Кутается все в ту же фуфайку, ежится на сквозном ветру, скатившемся по грунтовой дороге с недалекого погорка и разогнавшемся в створе длинной улицы. А когда холод пробирается к спине — встает с трудом и застывает, опершись на палку, — ей кажется, что стоять теплее.

Козу на зиму она продает — кормить нечем. А петуха они с сыном-бобылем съедают с первыми морозами, чтобы своим заполошным куреканьем не будил сумеречным зимним предраньем, когда никуда не нужно спешить и каждый лишний утренний час мучительно сладок.

Нового крикуна весной приносит ей брат, такой же глубокий старик, живущий на другом конце села, а козу она покупает сама на вырученные за прежнюю и спрятанные от сына деньги — в середине мая, когда на обочинах канав проклюнется молодая трава, а на деревьях исходит горьковатым соком кора. Эти горькие жизненные соки бродят во всем живом, она их чует, и они ее тревожат. Концом своей палки старая женщина сбивает, рвет новую траву у себя под ногами, и тогда снизу тянет тонкая чемеричная струйка запаха, и она ищет, ловит ее заострившимся носом. Искоса подолгу рассматривает высоковысокое рябиновое дерево в огородчике, покрытое блекло-желтыми нежными бутонами, словно рябину завесили тонкой цветной марлей. Целыми днями в кроне заневестившегося дерева роятся и тяжело гудят пчелы. Иногда рядом с женщиной повисает какая-нибудь зеленая мушка и звенит подолгу, то отдаляясь, то снова зависая у самого плеча.

К старухе подойдет поговорить соседка, если есть свободная минута. Четыре раза в день повернет со шляха, проплывет мимо рейсовый автобус, провозя за широкими окнами лица людей. Мало кого из них она знает — молодняк; ровесники, если и живы, в город уже не ездят. Профырчит легковушка колхозного председателя. Следом за ней бросится бригадир, сжимая толстыми коленями низкорослый трескучий мотоцикл. Просигналит ей, не поворачивая головы. Да снуют взад-вперед грузовики сразу трех колхозов, оседлавших общую уезженную дорогу. А чаще почти неслышно пылят красные и голубые «жигулята» сельчан.

Вот и выходит, что жизнь крылом своим по-прежнему ее опахивает, не дает себя забыть. А старушонка и не хочет забывать, иначе с чего бы такими ясными оставались ее глаза и зачем ей тогда выспрашивать каждого встречного-поперечного: «Куды ты?»

И все же, если изредка находился человек, которого хоть как-то интересовали эти глаза, и он заглядывал в них, его обжигала застывшая на самом донышке острой льдинкой какая-то негромкая, ненавязчивая старухина грусть, и становилось понятным, что женщина своим ежедневным сидением на виду у всех силится зацепиться за уходящий день.

И улыбка, такая знакомая всем этим выглядывающим из кабин, приветствующим ее по утрам от соседских ворот, сжимающим коленями свои мотоциклы, та самая улыбка, которая родилась, когда многих из них еще не было под солнцем ласковым, она стала за последние годы меняться. Что-то просительное появилось в рисунке женских губ. Самые внимательные могли догадаться, что у нее на душе. В глазах читалась простая и ясная мысль: «Погоди, торопливая жизнь. Не спеши забирать ключи от своего зеленого дома. Я привыкла к нему за все отпущенные мне годы и считаю своим. А если так положено, что надо уходить, то дай хотя бы собраться — насмотреться на тебя, ненаглядную, поцеловать взглядом каждую рыжую головку из тех, что подсолнухами прорастают по утрам в соседних дворах, а затем выкатываются на улицу и смотрят на меня, старуху, испуганными глазенками, как на невесть зачем завалявшийся за печкой драный чулок — что за явление эта бабка? Дай надышаться хоть пылью неедкой, мягкой, наглядеться на утренние росы — ты же знаешь, раньше и дышала через раз, не до того было. Все думала: «Потом поживу, после вдоволь наживуся, апосля, ага...»

Замечали за ней странности. Зимой она выносила и вешала на угол дома динамик, продевая провод через приоткрытую и провисшую на одной петле форточку. И если крутили музыку, то слегка дремала под нее, привалившись спиной к забору и открыв щербатый старушечий рот. Если диктор читал последние известия — настороженно поднимала руку к уху, словно просила не так громко шуметь соседа, рубившего дрова у себя за колодцем, и проезжающий по улице трактор — не так громко тарахтеть. Слушала, запоминая, и потом подолгу повторяла вслух: от як, от як, от як. Летом позволяла сыну унести радио в дом — летом она ненасытно слушала, о чем кричат на улице дети, голоса соседей во дворах, звон пчел в кроне рябины и веселую птичью склоку.

Как-то незаметно для других, а может, и для себя, старая женщина за много лет одинокого сидения научилась разговаривать сама с собой. Если послушаешь со стороны, то — про погоду, козу и деревенские новости, опять про козу. Потом приноровилась сама себе петь — когда тихо, а когда и громче. Посидит-посидит и вдруг вспомнит, как всхлипнет:

Ай у Слуцку на рыночку
Мужик жонку бье.
Бье и плакать не дае-е...

Песен старых она знала много, только петь не высиливалась. Больше протяжно проговаривала, словно ленилась. Иногда принималась рассказывать сказки. Если бочком, бочком подходили малые соседские дети — умолкала. Но они подходили к ней не часто. То ли бодливой козы боялись, то ли самой хозяйки. Им казалась жутковатой эта бормотливая и всех задирающая бабка, а сказок хватало по телевизору.

При взрослых она тоже умолкала, переводила разговор. Издали видно было: что-то поет или бает, но подойдешь — кричит встречь: «Куды-ы ты?» И вот уже сбилась, замолчала, ждет, что ответишь. Различив в глазах человека недоверие, махала рукой и смеялась: ды не, не чокнутая.

Привыкли. Но не все поняли, что старуха не с собой, а с детьми своими — живыми, и теми, кого уже нет на этом свете, — беседует. Им деревенские новости да сказки рассказывает и песни проговаривает. Словно долг какой возвращает. Сказочный долг.

В этом смысле больше всех повезло Лёдику, младшему сыну, пьянице и пожизненному калеке, который из всех братьев и сестер один и жил в родной хате. Песни и сказки, обращенные в детство, слушал один он.

А по осени, когда въедливые бесконечные дожди прогоняли с улицы, она садилась в полутемных сенях на давно освободившуюся железную кровать. Когда-то на ней Алексей спал, старший из сыновей. Он и теперь, приезжая из города и оставаясь изредка на ночь, устраивался здесь, по-солдатски, ему нравилось. Кровать была завалена тряпьем, на ней валялась старая шинель без хлястика, кисловато пахла овчина тулупа. Рядом, на полу, прислонились друг к дружке два залатанных мешка с остатками комбикорма и ржаной муки... Садилась и слушала через открытую настежь дверь сеней шум дождя и слабеющий с каждым днем шорох мокрой листвы в саду, и подвывания ветра, и редкий гул грузовиков. И прощальные крики улетающих птиц.

Отсюда, из-за толстых стен, защитивших от непогоды, ее трудная жизнь казалась ей полной и правильной, и менять в ней было нечего, за исключением каких-нибудь мелочей. Дожди и ветры не нагоняли на нее уныние, она всю жизнь прожила с ними и любила их слушать. Когда-то они здорово ей мешали, но те времена прошли. Тогда она еще ждала мужа и, вслушиваясь глухими ночами в тишину, злилась на непогоду за то, что гасит шаги человеческие, голоса за окном не услышишь, зови не зови. Если перед каким-нибудь праздником, когда душа отдохнуть хотела, Татьянке казалось, что уж сегодня Федор непременно придет, она с вечера оставляла дверь незапертой и полночи ворочалась — боялась, как бы в хату не ввалился кто чужой. Иногда ловила себя на грешной мысли, что пусть это будет и чужой, только бы пришел к ней с добром и лаской. Уставала ждать да бояться и закрывала дверь на засов. Так длилось много лет, и постепенно ветер и дождь сделались для женщины неотделимыми от ее жизни.

Но человек не может всю жизнь, ночью и днем, бесконечно думать о своих несчастьях или несчастьях детей. И когда были ветер и дождь, она позволяла отдохнуть наболелой голове и просто слушала, слушала. И не могла наслушаться. А то дремала, или — слушала и дремала.

В такую пору к ней видениями приходили воспоминания из прожитого. В этих видениях не было ни грамма выдумки. Память прокручивала с большей или меньшей точностью, иногда — и совсем без деталей, только то, что пусть давно, но случилось в ее жизни. Какая-то работа. Какой-то разговор. Или беда

в семье, происшедшая у нее на глазах. А если не на глазах, то представленная по рассказу. Пробитый вилами Алексей... Какие-то бродяги, увозящие его добро... Волька, падающая под бабьи поднятые кулаки... И горящая большим жутким крестом Силина мельница. На беду им всегда везло.

Когда надоедала кровать, заваленная тряпьем, как ее голова — памятью, она вставала в дверном проеме, куда косые сырые струи не доставали, и кричала бегущему по улице, под дождем, человеку, любопытствуя: «Куды-ы ты?»

Тем, кто отзывался, она говорила:

— Ну, то иди с Богом.

Тем, кто не отвечал, бросала вслед:

— Бяжы, бяжы, усё адно не паспеешь.

Ее утро

Мужа ей подарил праздник. Чтобы через каких-то восемь лет отнять.

Тогда, в первое их свято, она как что чувствовала. Может, потому, что сон накануне видела: соколы налетели, черный шелк раскрутили, рассыпали золото. Мать — та сразу ее сон разгадала. Придержала легко журчавшее под рукой веретено, подбила на прялке пушистую льняную пряжу и удивила: соколы — сваты, черный шелк — твои косы, золото — слезки твои, донечка.

Переделав к вечеру домашнюю работу, затащила за ситцевую занавеску у печи деревянное долбленое корыто и вымылась, что с ней не часто бывало среди недели. Выбежала босиком на снег, вылила воду из ведер и прислушалась. Уже повизгивали на ярах подружки и гудел гундосый Хвись. Надела чистое, накинула овчинный полушубок, на полушубок — платок с махрами, впрыгнула в валенки и была такова. Мать только успела пышку теплую в руку сунуть, а отец на дорожку наподдал ниже спины, на всякий случай. Следом Жук увязался — пускай, веселее от доброго лая.

За селом, на голых ярах, гульба разыгралась. Отовсюду — с окольных улиц, с Тониного переулка и прямо с задов усадеб возки безлошадные катят, в них парни впряжены. Федоська — макова росинка, Ванька Гришковых, Глодово кодло и Метельские — Федька с братьями младшими, а еще три Павла — Павел Ясевых, Павел Алениных и Павел Лазаревых. Девок набежало пока не много, прихорашивались по домам, красной свеклой терли щеки. Среди первых Арина Сучковых заметна была, Настя Грищиха по обыкновению визжала громче всех, Лисавета-подружка издали звала рукой.

Все дружно обрушивались на каждый новый возок, и хозяин, не надеясь сдвинуть его с места, звал помощников. Те разгоняли сани к пологому спуску, валились в них, и долго, пока ехали вниз, никто не мог понять, где чьи руки и где чьи ноги. Если который пытался разобраться, того девчата с дружным визгом выкуливали из саней, и он брел обратно, чтобы успеть в новый экипаж. Идет такой мужичина в тулупе нараспашку и дивуется звездному выпасу над головой, и по синему певучему снегу ступает жалеючи, и жадно хватает ртом морозный воздух, напитанный дымами. А дымы из печных труб каждый по-своему пахнет: один пирогами с ягодой, другой потрошанкой, третий первачком.

Вот появились сани, запряженные лошадьми, к ним стали цеплять возки — по три, а то и пять, и лошади потащили веселый, орущий песни цуг деревней, и бабы, угадав по голосу свое дитя, выносили навстречу противни с горячими пирогами с маком или запеченными яблочными дольками: Щедрец!

Пока разбирали очередное угощенье, ее, стоявшую чуть в стороне и сту-

дившую на ладони горячий ломоть пирога от тетки Ганули, легко подбили под ноги, бросили на мягкую солому саней и стеганули лошадь. За общей сумятицей это событие осталось для других почти незамеченным, сошло за очередную шутку разгулявшихся детюков. А она на тех уносящих в чистое поле санях вытащила свою крапленую карту — стала в одночасье и женщиной, и женой. Напрасно Жук кидался на широкую чужую спину в длинном, по самые валенки, черном кожухе. На него успокаивающе махнула знакомая рука, и собака, сбрехивая кипевшую злость, побежала рядом.

Когда к утру возвратились, через село тянулись насыпанные золой коричнево-желтые дорожки — от девичьих порогов к домам будущих суровых свекровей. Во многих дворах недоставало калиток. Днем, обнаружив их на другом конце села, чья-то матушка начнет догадываться, куда она скоро проводит свою доню.

Мимо них прошел гундосый Хвись, сгибаясь под тяжестью волглой сосновой калитки. Куда тащил — одной его темной голове ведомо было. В знак приветствия приподнял левой рукой заячий облоух над остриженной налысо, побитой струпьями макушкой. Не видел, что следом, нога в ногу, идет грозный хозяин калитки, старик Федосьев. Когда Хвись свалил свой немалый груз у двора бедняка-поденщика Данилы Зайца, старик разочарованно крякнул и спросил опешившего от нечаянной встречи хлопца:

— Передохнул троха? Неси, где стояла. Нашел сродственника, едриттвою мать. Недоробок.

Хвисю в тот праздник не везло. Связался на свою голову с Настей Грищихой, курносой вертлявой чернушкой. В одну и ту же ночь слышал Хвись Настин голос во всех концах села — она воровала с хлопцами калитки, каталась на санях, сыпала от двора до двора дорожки из золы. В разгар веселья утащила Хвися в отцовское гумно, где у нее была прикормлена совушка. Та пряталась под самой крышей, оттуда высматривала прописавшийся здесь мышиный народ.

Подсаживая Настю с земляного тока на плотно уложенные ряды из вымолоченных снопов ржаной соломы, Хвись нарочно промахнулся. Настя молча выпутала его руку из складок юбки и наступила валенком сначала на плечо, потом на голову Хвисю. По-другому отомстить не получалось, шуметь было нельзя — и совушка испугается, и отец в доме услышит.

Едва она сняла свою подружку с балки — та позволила себя взять, доверилась, — Хвись подтянулся на руках за приколоченные к столбам поперечки и тоже взобрался на солому, пахнущую солнечным днем. Да тут же растрепанным кулем и съехал назад, на ток. За что Настю ссаживать не стал, пришлось ей, сударушке, спуститься самой. Покрутила у его виска пальцем, и они тихонько прикрыли за собой тяжелые ворота.

Вскоре оба крались к глухой, без окна, задней стене Слышевой хатенки, снимали с крючьев лесенку «дробинку» и взбирались по ней на низкую соломенную крышу, поддерживая и подталкивая друг друга. А чтобы не соврать и сказать точнее, то Хвиська снизу подталкивал, а Настя отпихивалась.

Слыш, деревенский попугай, сносивший все новости с волости, недавно-таки женился, и родители отжалели ему трехстенок. Трехстенок «пересыпали», и получилась небольшая хатенка, без сеней, дверь с улицы вела прямо в единственную комнату. В ней Слыш сейчас и баял при лампе-керосинке свои бесконечные сказки молодой беременной жене, пока та вымешивала на припечке тесто для пирога. Сказок у Слыша было много, молодая жена заслушалась и с пирогом явно опаздывала. Другие хозяйки успели сами отведать и людей угостить, а она, видно было в окошко, все еще месила тесто белыми полными руками да оглядывалась улыбчиво на своего баюна.

На крыше Настя и Хвись дотянулись до печной трубы, положили на нее толстоватую льдинку, вынутую из лужицы в огороде, на льдинку усадили совушку с перевязанными крыльями. Настя сказала ей магические слова: «Сиди тут, жди зернышек». Слезли и стукнули в шибку. Слыш вгляделся в окно и махнул рукой: заходите. Настя с Хвиськой зашли, потекла мирная вполне беседа: а где это ваши пироги, а дайте-ка отведать, как это нет, вот что значит молодожены, чем это вы тут весь вечер занимались?..

Разводили тары-бары, пока теплый дым не истончил льдинку. И вот в трубе закапало, потом потекло, наконец зашуршало, и хозяйка еле успела отшатнуться от печи. Совушка шлепнулась прямо в тесто. Вся в саже, черная, она медленно тонула в деже, но бодро вертела блюдцами глаз. Слышева хозяйка окаменела от испуга, сам Слыш осел на колени к Насте Грищихе. Хвись в своем дурацком малахае валялся на земляном полу. Зашелся хохотом, хрипел что-то невнятное и сучил ногами в новых лаптях.

Наконец все опомнились, Слыш выматерил Настю и ее дружка: нашли над кем подшучивать, а если у бабы случится выкидыш? На что Хвиська храбро ответил, что тогда он самолично дело и исправит.

Хозяйка попила воды из деревянного ведра и шуганула вилами-рогачами обоих весельчаков, следом выкинула и взъерошенную совушку. Слыш вылавливал деревянной ложкой из теста густые хлопья сажи и добродушно поглядывал на раскипятившуюся молодицу.

Хлопцы и девчата подшутковали и над бобылем Никитой — от его хаты отсыпали через все село узкую дорожку к высокому порогу старосты, у которого водились взрослые дочери, и громыхнули Никитке в ставню. Сонный бобыль вылез на крыльцо, увидел дорожку и как был в одной рубахе, так и потрусил бодро по коричневой спирали — поглядеть, какой же подарок приготовила ему норовистая судьба. Упершись на другом конце села в старостово подворье, ужаснулся и принялся носить руками снег от заборов и засыпать, затаптывать крамольную путевину. Он понимал, что сельский голова не простит ему такой вольный намек.

...Федор не выпускал Татьянку из саней, не стеснялся, что на улице людно, как днем. Ехали медленно по обочине, себя показывая и на других поглядывая. К саням подбежали подружки, успевшие к тому времени не единожды согреться вином в чужом доме. Запели, намекая:

Перапёлка-ласточка,
Не летай по дуброве,
Не садись на дубочку.
По дуброве стрельцы ходять,
Сострелить тебя хочуть...

В дом Татьянке той же ночью подбросили, воровато приоткрыв дверь, глиняный горшок с водой. Горшок разбился, и это был знак совсем уже близкой свадьбы.

За восемь лет она родила пятерых детей. Отца смутно помнили старшие. В тридцать пятом, на вечеринке, Федор для пущего форса сбарабанил ручкой нагана. А через неделю на глухом хуторе вырезали семью Изи-кравца. На Федора донесли. Был он не из самой бедной семьи, под разнарядку вполне подходил, и приехали за ним быстро. Домой так и не вернулся.

По-разному она о нем думала. Федька к жизни, как она понимала, легко относился. Был шебутным и на всякое дело быстрым. После одного случая прозвали его на селе Шелудькой. Посадив в мешок младшего брата, Пилипку, продал его на рынке местечковому мещанину вместо поросенка, шепнув, что

«свинятко краденое, поэтому дешевое, и длину его хвоста мерить не следует». Сам и положил похрюкивающий мешок в фанерную коляску с длинным, чтобы легко катилась, дышлом. Мещанин тут же, на рынке, заглянул в шинок обмыть выгодную покупку, коляску поставил под окном и не спускал с нее глаз. Между вторым и третьим куфлем пива он озадаченно толкнул локтем соседа по столу и спросил, не мерещится ли ему: мешок сам собой развязался, оттуда медленно вылез худощавый малый лет десяти, схватил дерюгу и исчез. Когда мещанин протиснулся на порог шинка, его покупка настолько прочно затерялась в торговых рядах, что не имело особого смысла преследовать ее среди нескольких сотен повозок с товаром, среди потных жующих лошадей, выпряженных и привязанных к задкам телег, среди разгоряченных торговлей и разморенных жарой людей. Через неделю незадачливый покупатель все же нашел Федора дома, и тот вернул ему деньги. На мировую они распили четвертинку.

Был Федька по-крестьянски хитер и греб к себе. Научил сватов, и те, выторговывая ему приданое за жену, повели дело так, что отец Татьянки остаток зимы и весну должен был просидеть в своей кузнице безвылазно, завалившись заказами, чтобы отдать долги, а мать за кроснами ткала постилки на продажу.

Но шебутной и хитроватый Федька не мог поднять руку на человека, она это знала наверняка. И не понимала, почему его так долго не отпускают.

Она не стала выяснять его судьбу. В глубине души боялась накликать на него беду. Успокаивала себя: раз не сказывается — значит, нельзя ему. Может, от власти прячется. А иногда думалось: может, от нее и детей?.. С годами отгорело в ней бабье, осталось материнское, да и то какое-то спокойное, едва не равнодушное. Обижаясь на Федора за то, что бросил, не вернулся, она, кажется, переносила часть своей обиды на его детей.

Спокойное... Она всегда оставалась спокойной, пока была молодая. Это качество унаследовала от отца. Большой и сильный человек, он отличался завидной уравновешенностью. В 20-м году, когда в село понаехало поляков, какой-то жолнер захотел сорвать с него староватую фуражку царского гвардейца. Отец поднатужился, поднял свою кузницу за угол и положил фуражку на штандару — бревно, служившее фундаментом. Поляки посмеялись, похлопали его па плечу кнутовищем: «Ого-го, пся крев!»... Уехали — отец достал фуражку.

У отца фундаментом спокойствия была сила. У нее — терпение. Что-что, а терпеть она умела. И детей терпению учила. Только дети, считала она, в Федора пошли, удалые больно.

«Не плачь, не плачь, моя миленькая...»

Все, кто ее знал, хорошо помнили, что, сидя на своей скамейке, она както тихо, умиротворенно улыбалась. Правда, самые внимательные видели, что улыбка не всегда отражала ее настроение, иногда была только маской, за которой пряталось истинное отношение к человеку. Но такова эта женщина, что даже тех, кто когда-то в жизни ее обидел, а таких в селе наберется немало, она встречала улыбкой, и улыбка означала одно: не радость от встречи, а готовность удивиться. Тому, что плохой человек скажет сейчас что-нибудь недоброе про нее или ее детей. Что хороший человек сделает приятное: угостит яблоком из своего сада или, возвращаясь из сельмага, положит ей в ладонь несколько конфеток в веселой обертке. Что ей расскажут какую-либо новость: сколько мужчины на опохмелку выпили водки за понедельник; кто на этот

раз кого сильнее побил — Сидор свою Антонину или Антонина Сидора; кого из доярок зоотехник Вержбицкий «продвигает» в заведующие фермой, чтобы сподручнее было тискать. Колхоз большой, новости есть каждый день. В конце концов она удивлялась уже одному тому, что про нее еще помнят и подходят поздороваться.

Нет, не все понимали смысл ее извечной улыбки, но все помнили ее именно с улыбкой на лице. Всегда с улыбкой на лице. Непонятно было, снимает ли она улыбку на ночь. Люди говорили: «Порода такая разеватая».

В ее жизни было немало потрясений. Но улыбка, так часто освещавшая лицо еще в детстве, навсегда утвердилась после самого, пожалуй, раннего.

Когда ей исполнилось четырнадцать, отец отпустил с подругами на вечерки. Родилась она на Татьянку, назвали ее в честь праздника, и в тот далекий день у нее были все основания улыбаться. Проходя мимо восседавших у ворот старух, она слышала, как те приговаривали, что солнышко на Татьяну — к ранней весне.

На этот раз гуляли у Захаревичей, в доме на две половины. Кто шел — нес с собой узелок. У одних там увязана поллитровка из синего стекла, у других закуска. Так на так и получалось, что было и выпить, и на зуб взять. Молодежь к столу не подходила, не положено молодым бражку цедить да жевать на людях — стыда-сорому не оберешься. Грызли в своем кругу семечки, переговаривались, слушали цимбалы и сопелку. Танцевали. Подростихи вроде Татьянки держались отдельным табунком. Танцевать учились друг с дружкой, в уголке, за висевшим на проволоке ведром с водой, чтобы не мешаться у людей под ногами.

Показалось Татьянке: как-то по-особенному смотрит на нее старый — так ей тогда представлялось — Гришан Потапов, уже осоловелый после общественной медовухи, но еще не обмякший пьяно, не утративший способность соображать. Насторожилась, когда увидела, что Гришан, качнувшись, двинулся к ней, не сводя угрюмых глаз. Гребанул попавших под руку молодых ребят-зубоскалов, те возле девок отирались. Она поняла, что идет он зачем-то к ней, и сначала убежать хотела, только жаль было убегать, да и некуда.

Гришан дохнул густо, положил ей руки на плечи, посмотрел загнанно, диковато.

— Вот ты и выросла, кралечка моя. Молодичка-ягодка. Тольки чаго ж похмурная такая?

Руки Гришана потихоньку сползли с плеч по согнутым, прижатым к груди ее рукам, потом упали на тонкую, детскую талию, и сам Гришан вслед за своими руками то ли падал, то ли приседал, и вот он уже на коленях, и прижался кучерявой, еще не седой головой к ее животу, а ладони сползли Татьянке на бедра и сжали несильно, потом застыли, успокоились, и сам он успокоился, приткнувшись к ней, одно повторял оттуда, снизу, глуховато:

— Ты улыбайся, дитятко, тебе до твару. Улыбайся.

И она улыбалась, не зная, то ли ей заплакать, то ли взвыть от стыда, а еще от жалости к этому доброму человеку, который, она слыхала, давно любил ее мать, да так и не вылюбил ничего, а жизнь — гляди-ка, с горки вниз покатилась. А тут новая зорька взошла, и такая ясная, как песня, что в душе живет...

Дядя Гришан всегда вниманием ее баловал. То конфету на улице в руку сунет, то от пацанвы защитит — те долго потом Татьянку стороной обходят. Малая была — на закорках носил, как встретит. Да однажды отец, увидев его за этим занятием, сказал что-то короткое и злое, и больше он на плечи ее не сажал.

Последние годы они чаще издали здоровались. Поклонятся друг другу через дорогу и разойдутся. А вот всколыхнулось в нем старое!

Видела Татьянка — люди на них со всех сторон смотрят, и она поняла, что одна ей защита — улыбка, и отгородила испуганной улыбкой себя и Гришана от людей и почувствовала, что тем самым обоих выручает. Улыбались люди ей в ответ, шутковали незлобиво. Поднялся Гришан с колен, полез в карман, вытащил яблоко румяное, для зимы — считай, конфетка. Потер об рукав, подал ей.

— Всегда улыбайся, молодичка.

И отошел...

Отец ее побил однажды. А она улыбнулась из-под растрепанных волос, через слезы — отлегло у отца, опустил хворостину. И решила Татьянка: дана ей улыбка на удачу, и старалась меньше хмуриться.

Была еще одна причина. В детстве мать будила ее ласково: вставай, дочухна, я табе нешточко покажу... И она правда показывала дочери то припасенный леденец, и это был необыкновенный подарок; то просто горку теплых желтых блинов под цветастым рушником на углу свежевымытого, скобленного ножом стола; то подобранную за огородами веточку земляники с маленькими пурпурными ягодами и зелеными резными листиками в росинках. Или только что вынутую из печи вареную картошку с коричневыми пригарками, по краю аловатая полоска. Догадывалась, что жизнь дочери предстоит не масляная. Вот и хотела, чтобы умела она радоваться самым простым вещам — хлебу, солнцу, чистой воде, цветам. Разве можно было просыпаться без улыбки, зная, что тебя ждет чудо?

Сельчанам хорошо знакомо ее «Чудо, бабы», сказанное с осторожным дребезжащим смехом, и ее удивленное «Але?», которое звучало как «Неужели?» и означало именно это. Ими она встречала деревенские новости.

Муж был старше Татьянки. До того, как подмял ее на санях — под себя, под свою судьбину, они толком и не знались. Видела его, как же, ведала, что есть такой шалопутный, крученый-верченый, до драк и девок охочий. Иногда на вечерках он хватал ее за руки, но тут же отпускал, стоило ей взглянуть спокойно, чуть презрительно.

Старшим его признала над собой потому, что напоминал ей чем-то Гришана Потапова — такой же непутевый и отчаянный. Сам того не подозревая, Гришан, мамкин вздыхатель, в ней женщину разбудил своими руками — она их долго чувствовала молодыми бедрами. И когда в санях Федька, только лошади вырвались из села, проговорил «Все, ты моя» и раскидал полы ее полушубка, она только и спросила: «На один раз?» — «Навсегда, — побожился Федор. — Замуж возьму».

Сватов прислал через неделю. Отец ее и мать не противились, даже были рады — жили Метельские крепко. Когда Татьянке пришла пора рожать своего первенца, свекор самую лучшую на пять деревень повитуху позвал и даже жеребца в телегу запрячь не пожалел, чтобы привезти. Правда, невестке через три дня велел идти в поле, но тогда времена были такие, редкая роженица отдыхала дольше.

Вот говорю: отгорело в ней бабье. А не значит это, что забыла она Федора. Откуда нам знать все до конца про чужую жизнь? В одно лето, когда было много гроз, у нее спросили, почему она не прячется от дождя и молний и чего ради сидит каждый божий день на скамеечке, кого выглядывает? Что она ответила?

— От так. Чалавека свайго жду.

Человеком на Слутчине мужа называют, хозяина.

И, уткнувшись спиною-дугой в забор, пропела-проговорила срывающимся старушечьим голоском: «Не плачь, не плачь, моя миленькая, я домой вернуся. Я домой вернуся, на табе жанюся».

Кто возьмется утверждать, что она — шутила?

Однажды бригадир, подвижный молодой толстячок из примаков, не поверил:

— А зачем он тебе теперь, бабка? Чтоб голову больную дурил?

— За детей я ему должна отчитаться. А як жа?

Но если в самом деле и теперь, через полстолетия, ждала она своего Федора, то не так проста была эта улыбчивая старушка, напоминающая деревенского Емелюшку.

Муж жалел ее. То шаль с базара привезет, то ночью у колыски подменит. А однажды, уже перед тем, как за ним пришли, у Федоса-бортника улей купил. Только потому, что ей захотелось меду. Откуда денег взял, неведомо, и как бортника уговорил — тоже. Тот был человеком с «мухами» в носу, жил на отшибе, с селом особенно не знался, хозяйство вел по-своему. Печь бревном топил, по-черному. Через окно задвигал бревно в зев печи, когда оно подгорало — подпихивал глубже. И чаду было там, и тепло не держалось, но таков был принцип. А еще один принцип не позволял бортнику продавать ульи. От этого, говорил он, на пасеке пчелы дохнут. Но Федьке — продал.

Когда мужа увели солдаты, через неделю Федос улей забрал назад, чтобы рой не пропал без догляду. Денег за него дал и меду. А назавтра разбудил ее на рассвете и спросил через окно, с оглядкой: откуда в улье бумаги Изи-кравца — купчая на десятину земли, разрешение властей на кравецкий промысел. Тех бумаг она не видела, так и сказала бортнику, и сама потом и верила, и не верила его словам. Не допускала она мысли, что Федька такое смог, не замечала за ним жестокости.

Для себя она еще тогда твердо решила, что напрасно хотели отдать Федора скорой на расправу «тройке». И что совсем уже зря засекли солдаты шомполами двух девок на хуторах — Аксеню и Параску, выспрашивая про ту рябиновую ночку. Она всегда ревновала мужа к этим девицам-молодицам, ей подсказывали, что Федор иногда заглядывал к ним. Она то жалела их, то не жалела, но считала, что сестры были ни при чем. Как и ее Федор. Будь на нем вина, она бы ее первой и почувствовала. Она помнила его ласковые руки и не верила, что эти руки могли кого-то убить.

И теперь, на закате своего века, она по-прежнему думала, что на хуторе был не он, что все подстроили. С чего бы это Федос раздобрился, продал улей? Не из тех. И документы подложили, и письмо куда надо написали. Им и без документов Изиных поверили. Когда Федора уводили и делали обыск, в улей заглянуть или не догадались, или побоялись пчел. А коли так, бортник решил припугнуть ее. Намекнул, значит, чтобы лишне рот не раскрывала...

Любила ли она Федора? Спроси кто, она наверняка просто пожала бы плечами. В ее времена не принято было говорить об этом. А если вдуматься... Федька большой хитрован, но она жила за ним как за каменной стеной, особенно не вслушиваясь в свои чувства. Был он здоровым, сильным мужиком, в доме имел достаток, жена хоть и гнула спину, но видела, что не впустую. Чего еще надо? Дети сыпались один за другим — что годок, то новая радость.

Правда, не долго длилось то везение, на пятом ребеночке и оборвалось. Забрали мужа — даже люльку-колыску самому младшему не успел починить. Сама обновляла свежей лозой, слезами моченой. Вместе с ним во враги народа едва не попала. Но на колхозном сходе на «врага народа» она не согласилась, и как-то обошлось, не прилипло к ней. Может, потому, что роду-племени была бедняцкого, работала не меньше других и не успела за короткую жизнь

насолить людям, те на нее злости не собрали. И детей на руках — как гороху, а кто ж детей во враги записывает?

Замахнулись было на сходе урезать в правах, а как заплакала и следом ее войско принялось подвывать — отложили вопрос, да так к нему больше и не вернулись. Или люди тоже не верили, что на Федьке кровь?

А раз не было принято никакого решения, осталась она в колхозе, попрежнему бегала на работу, бросая детей то на свекровь, то на самих себя.

Поругание хлеба

Над деревней в тот день курился легкий дымок — дети жгли за околицей костры, пробовали печь молодую картошку. На улице в сарафанах и косынках праздно восседали по скамейкам бабы. Мужики к обеду успели выпить и опохмелиться и теперь дымили у свежих срубов, коих по селу было десятка два.

Татьянка, тогда еще молодая, полная сил, сидела на своей скамейке с соседкой Алесей Американкой, безделье было мучительно, но работать нельзя, они о чем-то говорили, иногда молчали, потом опять принимались говорить о том, что вспомнилось.

И тут над улицей всплеснулся крик, кто-то пьяно выругался, группки людей пришли в движение, куда-то через огороды побежали мужчины, за ними, задрав сарафаны, поскакали бабы. Там, за огородами, смешались хохот, от которого отдавало недобрым, и ругань. Татьянка и Алеся Американка не разобрали сразу, что там такое, потом мимо них проскочил на вихлястом велосипеде пацаненок, горланя на всю улицу:

— Сила Морозов и Вольгочка в жите склещилися...

Вольгочкой звали в селе ее дочь. И тут до ее сознания дошел весь зловещий смысл происходящего.

Путаясь ногами в огуречной ботве, она выбежала за усадьбу и увидела, как коричневатое поле зрелой ржи рассекают в разных направлениях люди, по двое-трое. Ищут, поняла она, Силу и ее Вольку. И вот чей-то радостно-пьяный вопль бросил всех в одно место, и на глазах у подбегающих односельчан из ржи встали, торопливо поправляя одежды, светловолосая молодица, почти девчушка, с растерянным выражением круглого веснушчатого лица, на котором удивляли почти вертикальные брови, и не старый еще, но много старше своей подруги светлоголовый мужик. И все поверили, увидев их, и почему-то оскорбились. Неизвестно кем был подан импульс общего возмущения, и он сработал. Одни бросились к тем двоим с кулаками, а кто-то плевал в их сторону или указывал пальцем и громко хохотал. Сила остудил храбрецов, двое первых высоко задрали ноги во ржи, остальные наседать больше не посмели, но и не унимались, не подобрели. Сила не обращал на них больше внимания, он вел Вольку через весь этот бедлам — седоватый, нахмуренный, как старый сокол, оберегая свою соколицу. Он пропустил Вольку чуть вперед и время от времени зычно покрикивал на баб, что стояли у них на дороге. Те хотя и расступались, но языками чесать не переставали, костили почем зря. А Катька Сологубиха, сестра Силиной жены, дорогу не уступала, подбегом шла впереди, оглядывалась на них и вся посинела от крика:

— Сучка ты, сучка, что ты делаешь, сучка? У него дети такие, как ты. Где ж твоя голова?..

Сдали нервы у Вольки, которая до этого только тихо плакала, она повернулась к Сологубихе спиной, быстрым движением рук махнула под самые мышки длинную мятую юбку в клетку и нагнулась резко, выставив честному

народу по-девичьи худоватые белые ягодицы.

Бабы взвыли, заплевались, захохотали, заойкали. Мужики — одни словно отрезвели, ведь и правда дело не для бригадного собрания. Другие обрадовались возможности свести все на шутку. Но третьи почувствовали себя оскорбленными и рванули тяжелые осиновые колья из забора. И опять Сила доказал свою мужскую пригодность. Кол в руках у Хвися разломился о его, Силино, плечо, а Хвиська с расквашенным носом отлетел в сторону. Но на Силу насели, и зачастили глухие удары кольями, над застенком понесся звероватый мужской крект...

Расправе мешало, что под ногами дерущихся путались те, кто хотел бы уладить все добром, в Красной Сторонке таких всегда найдется много, и они держали Силиных противников и его самого за руки, разводили, внося еще большую сумятицу. Под шумок перетянули вдоль спины и Вольгочку, да так, что мать, увидав это, едва сознания не лишилась от жалости к ней. А над упавшей на колени Волькой вороньем закружились бабы, пинали ее ногами, таскали за волосы или щипали с визгом и приговорками. Мстя ей — нет, не за белые ягодицы, а за что-то другое, тайное, известное только им.

Стоять и смотреть, и привычно улыбаться всем Татьянка не могла. Пробовала удерживать за руки одну бабу, другую, остановить — куда там! Она не верила своим глазам, что можно при матери так бить ее дитя.

Она стала их громко проклинать, кричать им злое и обидное. Ее не слушали. Тогда, заплакав, Татьянка бросилась подбегом в соседний огород в надежде хоть собаку какую во дворах найти и притащить на цепи, да только умом понимала, что и своры будет мало, свора стушуется и хвосты подожмет, испугавшись людской колготни. Бежала и еще думала — кого из мудрых людей позвать, может, бригадира? Не видя ничего перед собой, взбилась грудями на крохотный дощатый домок улья, едва не опрокинула. Постояла минуту, и вдруг сама же и толкнула, повалила наземь. Схватила за высокие ножки и поволокла назад, в поле, к людям, слыша, как медленно закипает внутри улья, как там начинает глухо ворочаться живая масса.

Перевалив домок через перелаз и приблизившись к бойне, с трудом подняла его натруженными руками над головой, сбив косынку на плечи, и уронила на землю. Тотчас развалился старый улей, — оттуда со зловещим гудом вывинтился в небо густой и, казалось, бесконечный рой, сбился на высоте в черный кишащий клубок.

И пал на ошарашенных людей.

Боже мо-ой! Дорого же обошлись, ох и дались в знаки Красной Сторонке белые Вольгочкины ягодицы. Люди шарахнулись в разные стороны. Никогда в жизни они, пожалуй, так быстро не бегали. Чей дом был близко, тот бросился к дому, рассчитывая укрыться в его стенах. Но уже в начале пути понял, что сделал это зря. Потому что и тех укусов, которые ему достались сразу, хватило бы на десятерых.

Другие, а таких умников нашлось немало, вспомнили про единственно верное средство — речку, и заспешили прямо к ней, за километр — по густой коричневой ржи, со скоростью курьерского поезда. Может, эти и выиграли. Сразу их грызли люто, но потом отстали, а у воды и вовсе отпустили души на покаянье.

Татьянка, с заплывшими от слез и укусов, невидящими глазами зловеще хохотала, взявши руки в боки и запрокинув голову.

Через минуту-другую поле опустело. Такой стремительной эвакуации не добился бы и эскадрон конной милиции.

Когда ушел, прихрамывая, и Сила, Татьянка увела растрепанную, в синяках, Вольку. Та плакала и севшим голосом материла село.

Старшая дочь

Далекий день, когда за селом была вытоптана созревшая рожь, ей не приснился и не в дурман-забытьи привиделся. Ее старшая дочь лет через пять после войны приняла проезжего — захожего солдатика, возвращавшегося со службы с их сельчанином. Попробовала бабьего зелья, а когда примак поехал погостить на родину да там и остался, скрутилась с Силой Морозовым.

С тех пор, как их связь так громко раскрылась, они перестали прятаться, встречались почти в открытую у Силы на мельнице. Жена Морозова ничего сделать не могла, с ней, он, правда, жил, помогал взрослым уже детям, но от Вольки не отказался.

Однажды, зная, что дочь сейчас у него, Татьянка отправилась поздним вечером к Силе на мельницу. Завернула по пути в Клоково — лужок за деревней с тремя красавцами-дубами, двумя рядками негустого кустарника над мелкой, заплывшей канавой и шелковистой сочной травой на дне канавы и по всему лужку. В темноте поискала рукой по траве. Сначала попадались только желуди, потом она нащупала, наконец, палые листья. Выбрала самые сухие. Не доходя шагов сто до мельницы, остановилась — ей нужно было кое-что сказать этим двоим. Но так, чтобы они не услышали, а только почувствовали. Разглядела под дремавшими крыльями ветряка крышу-пилотку землянки и зашептала заговор:

— Господи-господи! Разлучи, господи, две душечки, грешную и негрешную. Разведи их чистым полем, темным лесом, топким болотом. Отверни их одное от другого, откосни. Привычное чтоб стало отвычным, приглядное — неприглядным, близкое — чужим, далеким. Царские врата расчинилися, золотые ключи разомкнулися, две душечки разлучилися. Аминь.

Повторила все это несколько раз. Пересилила себя и шагнула к землянке. Воткнула в травянистый ее бок сухие дубовые листья и присказала:

— Листом крученым пусть усохнет у Силы тое, што бабам наравится.

Толкнула дверь, из-под которой пробивалась полоска света.

В землянке, вырытой мельником для отдыха, Сила сидел за низеньким столиком, сбитым из неструганых досок, и, бросив на столик сапог, чинил холявку толстой, сделанной в кузнице иглой, щедро натирая измочаленным восковым шариком суровую нитку. Вольгочка в цветном сарафане приткнулась на осиновый кругляш у махонькой жестяной печки, от которой тянуло теплом, и помешивала в алюминиевом солдатском котелке какое-то варево. Пахло вымоченными рыбьими головами. Рядом на услончике лежала горстка дешевых конфет, на земляном притоптанном полу валялась аляповатая желтая обертка.

— Для чаго гэто ты, скажи мне, ее со свету сводишь? — с порога закусила узду Татьянка. — Батьку свел, мати чуть в сажалке не утопил, а сейчас и дитя сводишь. Что мы тебе сделали? Бесстыдники вы, сараматники, водой вас нужно разливать, как собак. А ты! Сядиш, вочи вылупила, дурница, ну дурница! Мырш домой! Что тебе нужно у этого деда?

Дочь ее не послушалась, вырвала руку. Оба они враждебно молчали, и Татьянка в слезах ушла назад в деревню одна, унося предчувствие беды.

В далеком тридцать шестом, через год после того как Федора забрали, в самый голод молодой мельник Сила Морозов подбрасывал ей по-соседски торбу-другую ржаной муки. Делал это скрытно, но что в селе утаишь? Чего не увидят, про то догадаются. Шепнули Татьянке, что вроде как Сила и упек Федора в отсидку, а теперь совесть мучает, или к самой подкатиться хочет.

Татьянка всей правды не знала, и стало ей тоже казаться, что какую-то выгоду ищет Морозов, откупного себе хочет получить. Померещилась ей вина в синих Силиных глазах, и тогда она ожесточилась душой, упросила свекра, и тот, знавший грамоту, написал на Морозова письмецо без подписи. Что добро колхозное базарит и на мельнице у него непорядок, мышей и птиц не счесть, учета никакого нету, к старым колхозникам почтения тоже не имеется. Что пьянство там и разврат... Как в воду глядел старик, на много лет вперед.

Силе «тройка», долго не разбираясь, дала пять лет. Он все их и отсидел вдали от родимых мест.

А потом подоспеет война, и срок на поселение, который ему еще причитался, заменят штрафным батальоном. В одной из атак под Ельней, когда батальон весь полег, так и не взяв поселок, раненый Сила сошел для немцев за убитого, а когда очухался, дополз до погребка в том самом поселке, и его выходила какая-то старушка. Поселок этот несколько раз переходил из рук в руки, половина домов и сараев в нем сгорела, жители почти все ушли, а старуха, на Силино счастье, осталась при нем. Сказала, заметно шамкая: «Вместе со мной помрешь, соколенок. А не помрем, так поживешь ешшо».

Были ли у него сомнения, приходили ли темные, недобрые мысли? В его положении, сложившемся раз и на долгие годы, их можно было ожидать. Обидно ему было за прожитое. С великими трудами построил мельницу — забрали в колхоз. Спасибо, хоть мельником на ней оставили. Работал честно — а все равно посадили... Похоже, посещала его какая-то подлая мыслишка: дотошно выспрашивал у бабки о немцах, которые, задержавшись в поселке на неделю-две, беды чинили на год. Темнел лицом, слушая, и чему-то затаенному в себе качал головой и ругался вполслова, сглатывая из-за бабки окончания. А бабка, словно что чувствуя, в минуты приступов тупой, тянущей боли в Силиной голове твердила, как дитяти малому: не трусь, оклемаешься, выхожу я тебя до наших, потому как русак ты, русак... Это ее «русак ты, русак» держало его в трезвом уме. Как-то возразил ей, замирая от своих же слов:

— Штрафной я, бабочка, штрафной. Вот какое дело, будь оно неладно.

— Ничо, тако горе. Я вон у сваво деда, царствие ему небесное, светлое, была тожа проштрахвилася с донским казаком. Отпоясал, милок мой, вожжиной, да и простил. И тебе простится. Что ж ты, не наш?

— Если в полон попаду — ни за что не простится.

— Не попадешь, даст Бог.

Когда солдатику полегчало и его стало возможным шевелить, бабка в очередной недолгий приход наших отдала его санитарам. Так и расстались. После госпиталей Сила снова воевал, уже в обычной пехоте, дослужился до сержанта и домой пришел с медалью. Обиду на сельчан не затаил, война вымела все обиды из его души железной щеткой. Мужиков на селе заметно поредело, и когда понадобилось пускать ветряк, собрание определило его туда хозяином.

Голодной весной 47-го он снова, как когда-то до войны, постучал вечером в Татьянкино окно и поставил молча у порога маленькую торбочку с зерном. И опять Татьяна расценила это как попытку загладить какую-то давнюю вину, в душе еще раз колыхнулось недоброе. Но к этому времени она была учена жизнью, видела горе и слезы и знала цену человеческому несчастью — до доноса дело не дошло. Свекор совсем состарился, у него были проблемы с властями — несколько раз ходил в район держать ответ за то, что при немцах старостовал. Незло, безвредно старостовал, но брали, он знал, и таких. Старого Метельского, пожалуй, спасла его очевидная немощность. Так что писарь он теперь был неважный, сам сидел тихо, как мышь под веником.

Старшая дочь (продолжение)

Ближе к осени, в прохладную августовскую ночь, мельница сгорела дотла. Стояла она в чистом поле над дорогой, на высоком бугре, где ветер тешил свою силушку. Натешился. Не успели на селе снарядить пожарный тарантас, как гулючее пламя охватило весь ветряк, и огненные его крылья показались тем, кто смотрел из Яковиной Гряды, Христовым распятием.

Деревня только тогда и проснулась, когда загорелись крылья и стал виден огромный огненный крест. Выскакивали из домов от пронзительного звона куска рельса, по которому беспрестанно колотили железякой, схватывали взглядом багровое небо на юге и холодели от этого зловещего костра, который мог означать только одно: тот хлеб, который ты собрал на своих сотках и отвез Силе в работу, пропал, и никто тебе его не вернет. Стонуще ругался бригадир Терешка, у которого на мельнице остался под отчетом не один десяток пудов зерна, угодить на Соловки за эту рожь ему не хотелось.

Стоя на пороге в ночной рубашке, накинув на плечи большой платок и вслушиваясь в растревоженные голоса на всех трех улицах села, Татьянка вдруг уловила чей-то крик у колхозной конюшни, чью-то заедь:

— Он тамака спал с этой шкурой, поглядите их в землянке.

— В огонь их, бля..., к хлебушку. Обоих, обоих нахрен.

Обомлев, она бросилась назад, в хату. Нет, Вольгочка была здесь, ночевала сегодня дома, под клетчатой постилкой примостилась на полатях у самой печки, младшая сестра обнимала ее белеющей худой рукой.

Мать опять неслышно вышла. Закрыла дверь на крючок, в сарае с трудом вырвала из слежавшегося сена вилы-рожки, прихваченные по зубьям ржавчиной, и встала с ними на пороге, всматриваясь в разгорающийся пожар, напряженно ловя голоса деревни и веруя, что никого в дом она не пустит, если за Волькой придут. Они уже попробовали бить ее во ржи, теперь им легче будет прийти.

Чего ей стоило это жуткое ожидание долгой тревожной ночью, когда стынут в руках тяжелые вилы-тройчатка, и зорька не скоро, на зорьке прийти не посмеют, — одной ей известно. Только и тогда, непонятная и ей самой, нет-нет да и гуляла по лицу какая-то нервная, недобро тянущая книзу уголки губ улыбка. Она, Татьянка, готова была и улыбнуться просительно первому, кто забежит к ней во двор, и всадить в него ржавоватые вилы.

Пока ловили в поле, в ночном, ленивых лошадей, запрягали в бричку с насосом и в телегу с двумя большими бочками, пока заехали на сажалки за водой и, наконец, прикатили по вязкому песку в горку, осталось только помочиться на угольки, чтобы закрыли свои злые волчьи глазки. С досады поруйновали уцелевшую закопченную землянку — раз негде больше Силе зерно молоть, пусть некуда будет и молодайку водить.

Сам он стоял в стороне, отрешенный от всего, нешуточно переживал. Опасался, что за эту мельницу и за это зерно упекут его в недоброй памяти места.

Тушильщики, а за ними мужики и бабы, собравшиеся на пожар, уехали на возах, громко обсуждая происшествие и ругая Силу, одни — так, чтобы он слышал, другие — чтобы нет. Было утро, пора доить коров. На смену набежали проснувшиеся дети. Среди них прошла, как метла по сусекам, большая паника, что на сполыхавшей мельнице рассыпано много медных грошей, и кто не проспал, тому меди достались полные карманы. Молва повымела из домов всех — рыжих и темноволосых, гологоловых. Ходили крикливыми

стайками по большому черному пепелищу. Те, кто привычно сорвался из дому босиком, подпрыгивали на курившихся легким дымком из-под толстого слоя золы, еле заметных головешках. Ковырялись палками в обгоревших кусках дерева, поплавившегося стекла, толстой проволоки, в вычерненных огнем железных шайбах и болтах, втроем-вчетвером отворачивали закопченные каменья, но денег не находили. Толпились в сторонке, на росной траве, слюнявили обожженные подошвы ног и громко спорили, кто первым поднял панику про медяки — Колька Немец или Колька Сидор. Наглядевшись на пустое, горелое место, шли ватагой домой, встречали дорогой новый косяк искателей сокровищ и подзадоривали, позванивая в карманах остывшими железками.

Комиссия из Слуцка Силиной вины в пожаре не нашла. Но пострадал-таки Сила: работать стало негде. Лишившись мельницы, он ничего другого по душе не подобрал, перебивался на сезонщине, стал сдавать и скоро выглядел совсем стариком. Вольгочка постепенно отошла от него.

Но успокоиться не смогла. Татьянка понимала, что, надрожавшись за войну, она теперь хотела обычной человеческой ласки, немного бабьего счастья. Растила сына от заезжего-захожего солдатика. Татьянка как-то предложила ей поискать пропажу. Солдатик отозвался на письмо с недалекой Смоленщины, покликал к себе. В разведку поехала одна Вольгочка. Через неделю вернулась из тех гостей. Сказала матери:

— Пьяница. Пьянюга. Все в доме пропивает. До моей шали добрался. Чаго ж другая жонка кинула? Только из-за чарки.

Стали жить по-прежнему. Накопили немного денег — мать построила неудалице хатку на поселке за магазином. Как-никак, взрослая женщина, с ребенком, своя семья, и хата своя должна быть. Может, и прибьется со временем какой примак, а то в их дом постороннему мужику не зайти, столько там толчется народу.

И села Волька на свой двор — сына растила, примака выглядывала. Не много их шло большаком, а если кто и заворачивал, то ненадолго. Заготконторский Носаль иногда просился заночевать, каждый раз приезжал со своим салом и луком, оставалось дело за самогонкой. Сверхсрочник Катков перед большими праздниками в самоволку от жены прибегал. Этот не ночевал. Вольгочка к вечеру запрягала лошадку с фермы, подвозила Каткова к льнозаводу на окраине Слуцка — к городскому автобусу.

Дольше других задержались в ее доме электрики. Сначала те, что свет в село проводили. Одного из них, перепоясанного цепями, как пулеметными лентами, с железными когтями на плече, — непривычного с виду, а потому и интересного, привел на постой Терешка. Бригадир на селе — фигура, что скажет, то и делать станешь. Тем более, если в дом лишнюю десятку привел.

Электрик жил у нее долго — и зиму, и лето. И даже когда бригада перебралась в другое село, ездил на работу на ее велосипеде. Только десятку Волька не взяла с него ни разу.

Через год слаботочники тянули радио. И опять бригадир прислал ей постояльца. Этому сам сказал: хозяйке дров с бракованного столба напилишь-наколешь, и вся с тебя плата.

Ушли электрики дальше, на Полесье — занудилась Волька. Навещая ее, мать часто заставала дочь сидящей отрешенно у окна на кухне, откуда видна сельская улица. Казалось, посадила баба себя в угол и забыла, куда подевала. Мать даже в голове у нее поискала, не завелась ли какая живность от тоски.

— Знаю способ от нуды, — сказала ей однажды. — Надо набрать в горш-

чочек речной воды. И стараться ни одной капли не пролить. А за водой пойдешь — ни с кем не говори. В воде этой — ты меня слышишь хоть? — зелье напарить, деветярник, а горшчочек тестом залепить, и получится отвар. Отваром я тебя обмою вечером в чистый четверг. За деветярником парят центурию, а за нею ешчо одну серенькую травку, я ее знаю, в жите растет... Хочешь?

— Способ хороший, — лениво отозвалась Волька. — Тольки...

— Ну?

— Банщик не той.

— Не наговаривай на себя. Хоть ты на себя не наговаривай. А то по селу и так гомона.

И правда, сельские на Вольгочку как клеймо поставили, чураться ее стали. Мужики разговаривали с ней с насмешечками. Бабы — те ее заопасались. Чужих мужчин на селе больше не стало, значит, за своими очередь? Они так понимали. Пошли пересуды. Кто Силу-мельника вспомнил Вольке, кто сверхсрочника Каткова, а кто и спившегося отца мальчонки. А уж про электриков чего навыдумали задним числом! Будто их по двое-трое ночевало у нее и так, по двое-трое, в постель к ней ложились.

Это была травля. Каждый день кто-нибудь из баб помоложе присаживался к матери на скамейку и докладывал новую сплетню в расчете, что мать понесет ее Вольгочке. Мать поначалу носила, потом поняла, что к чему. Сказала дочке: пора хату в Слуцке торговать.

Волька к этому времени тоже пришла к выводу, что от Красной Сторонки ей ничего хорошего ждать не стоит. Продала хатку переселенцам, купила себе времянку в городе и устроилась на льнозавод.

Сыну ее едва исполнилось пятнадцать, когда Вольгочка заболела. Потом оказалось, что это самое худшее, и она угасла, так и не дождавшись от мира ласки к себе и тепла. Любовь только двоих самых близких людей — сына и матери — скрасила ей последние дни.

Вольгочку привезли хоронить домой, к дедам. В сыру землю положили рядом с могилкой ее второго ребенка, который когда-то не дотянул до месяца. Был он, судя по всему, от Силы, и Силу Морозова часто потом видели у обоих холмиков. Но если приходила Татьянка, он поднимался и шагал прочь. Както ей захотелось поговорить с ним, она спросила про больную ногу — Сила молча выслушал, искоса глядя на валявшийся под забором кладбища велосипед, и ничего не ответил.

Все годы после войны Татьянка варила на Коляды кутью — пресную ячменную кашу, и кормила ею своих. А на окно клала кусок пирога и ставила чашечку со сладким чаем для умерших дедов. Теперь рядом с чашечкой появился мелкий граненый стаканчик с красным вином для Вольгочки.

Сын ее вернулся из одичавшего угла в городе назад к бабе Татьяне и жил у нее, пока не ушел в солдаты.

Старший сын

В старшего сына она вложила больше всего сердца. В старшую дочь и в него. Остальные мало что понимали в ту пору, когда она ими еще занималась. Тогда она считала, что детей надо наставлять, и у нее хватало на это сил. Потом пошли война, недороды, голода, а после войны, когда чуток полегчало, ей вспомнилось вдруг Гришаново:

— Ты улыбайся, молодичка, тебе до твару. Улыбайся...

Гришана Потапова немцы затравили собаками в проклятый день, когда пришел он тайком из отряда помочь своим отсеяться. Посеяли — затопили баньку. Вышел из баньки распаренный, переставил грабли из-под ног в угол и только тогда поднял голову. А во дворе сидят и гергечут, его ждут. Кинулся в огород прямо в исподнем — они и подниматься не стали. Расстегнули на руках ремешки, что собак удерживали, только и всего. Две черные овчарки ростом с теленка. Губная гармошка во дворе пиликала. Под эту странную, как будто потустороннюю музыку Гришан душил одного теленка, другой прорывался к его шее.

А завет Гришана остался. До него ли было в те годы? Только потом, когда солнце увидела да хлеба в ее огороде взошли, распрямилась чуток Татьянка, начала снова людям улыбаться. И как-то... как-то меньше задумываться.

В ту пору было много работы, и она ее делала. А работа не оставляет времени думать. Лупи мотыгой по сухой земле — поле сурепкой заросло, и бить надо неделю от темна до темна, не забывать нагибаться и вырывать, отбрасывать зелье в борозду, чтобы потом пройти с кошами и собрать. Греби себе сено с утра до вечера, в колхозе поле широкое и трав много, а скотина зимой в колхозе голодная, все съест, солому с крыш тоже. Вечером надо бежать, постараться сгрести то, что сосед-пьяница за бутылку самогона срезал косой, да сбить в копы и как-то привезти во двор до ночного дождя. И уже при зыбком лунном свете затолкать на чердак, под голые стропила — глядишь, и сараюшко заодно прикрыт. Так что думать совсем некогда.

Работа шла такой плотной чередой, что всю ее переделать было невозможно, и все же с главным как-то успевали, по-соседски да по-родственному помогая друг другу. А в редкие праздники село доставало из погребков запотелые трехлитровые банки, повязанные сероватой тряпочкой, и впадало в другую крайность. И плакали тогда над своей судьбой одинокие женщины и искалеченные фронтовики. И благодарили свою долю, потому что остались живы. И проклинали, потому что душила работа, а еще крепче душила злая боль-тоска по мужьям и сыновьям пропавшим. По молодой невозвратной своей силе. А была она, боль, такая свежая, и поминальную рюмку пили в каждом доме. И рядом с чьей-то плачущей матерью сутулился участковый, чья сердитость вынуждала людей в обычные дни прятать трехлитровики в схорон, и тоже ронял скупую слезу в стакан, и от этой слезы — мужской, скорбной, была самогонка еще горче. У участкового в войне осталась вся семья.

Где война, где горе, там не обойтись без зелен вина. Те, кого оно согревало в сырых стылых окопах, кому помогало давить в себе страх, кого лечило от простуд, чирьев и ран в гнилых лесах, чьи изболевшиеся, искалеченные души теперь успокаивало, принесли его в мирную жизнь.

Все войны, сколько их ни случалось в старухе Европе, топтались по земле Белой Руси или хотя бы краем задевали ее, приносили в своих ягдташах и переметных сумах вино. Солдаты уходили или их убивали, а вино каждый раз оставалось.

Вот почему сегодня на этой земле столько вина.

Знать бы... Знать бы, сколько душ оно погубит уже в мире, а и то — отказались бы?

Потом она думала: не тогда ли упустила всех своих разом? А ничего-то не вернешь, зови не зови.

Знай мать наверняка, что ее работа, которая была сродни дурнопьяну и валила с ног так, что она не успевала слова путного сказать старшим, а младших хотя бы обнять, приласкать, — отказалась бы от нее во имя детей? Лучше

стоять полоске жита несжатой, чем головке младшего оставаться непоглаженной. Одно во имя другого, и одно исключало другое.

Отказалась бы от застолья у кого-нибудь из подруг, после которого тело приятно тяжелело, а в голове начинало пульсировать благостное: и я человек, а не только лошадь-ломовуха, и у меня есть радость, эх, бабоньки, споем, что ли? Ваши, может, и сыщутся еще, а мой-то уж нет. Кто там что про детей говорит? Не пропадут. Есть захотят — костерок во дворе разведут, картохи в чугунке наварят на тройнике. А мамка выпимши да с песнями домой придет — спать покладут. Посидят в уголочке молчаливо, на нее, спящую, поглядят, успокоятся и тоже по своим норкам разбредутся.

А может, душонки их зыбкие хотели, чтобы она чаще садила их вокруг себя, обнимала за плечи ближних и начинала сказывать, как иногда сказывала:

— Как во славном граде Киеве жил себе Владимир-князь, он во доме благочинном, своей каменной палате, и имел двенадцать чадов...

А где взять было для этого время, а силы?

Позже она поймет, что война своим эхом еще не раз докатывалась до них, что это война сделала ее блаженной и слепой, изуродовала их каждого по-своему, как и миллионы других людей, живших в пору войны или даже пришедших в жизнь после.

Но чтобы понять это на старости лет, ей понадобилась вся жизнь.

Алексей вернулся из армии инвалидом. И она еще долго сама выхаживала своего старшего после госпиталя. Запаривала ему травы, отдала в пользование большую кружку — срезанный латунный стакан от снаряда с наклепанным в кузнице ухом, и поила из нее сыродоем. Войдя помалу в силу, он женился и отделился от своих — купил дом на давно обезлюдевшем хуторе, том самом, где когда-то разорили гнездо Изи-кравца. Из пяти усадеб осталось две, они пустовали. На месте других покрывались зеленой слизью камни фундаментов да врастали в землю остовы давно остывших печей.

Поначалу Алексей куковал тут вдвоем с молодой женой. Было им спокойно, отдаленно от мирской суетности. Потом незаметно лес начал входить в их существование своими шумами и тревогами. Стало муторно, и он сманил во второй пустовавший дом дружка, тоже семейного и без своего угла, и хуторок продолжал жить.

Татьяне этот хутор был не по нутру. Из-за него осталась без мужа, из-за него ее жизнь побита на сплошные сомнения: замешан ли Федор в тех давних темных делах, кто он такой был и есть, если есть, и где он прожил все эти годы без них, и отчего не сказывается, если цел, и почему ее судьбина пошла таким путем, а не как-то иначе? Хорошо еще, Бог детей послал, было на кого себя растратить.

И правда, хуторок дался им всем в знаки.

Потусторонность

В тот год, когда сначала взяли Федора, а потом еще многих из их села и других сел, в тот год на липах, которых всегда было много в Яковиной Гряде, поселились вороны. Их было совсем мало, поначалу они сидели на верхних ветках смирно, как старухи-монашки в черных одеждах, и никто не обратил на них внимания. Они и раньше здесь появлялись, потом исчезали, или крутились где-то поблизости — к ним привыкли и не замечали.

Но на этот раз то были какие-то особенные вороны. Они стали размножаться, плодиться, и скоро, года через два или три, облепили снизу доверху все деревья в Яковиной Гряде и стали носиться над селом, как будто это они были в нем хозяевами, а не люди. От их беспрестанного наглого, громкого карканья не стало мочи дышать, но люди не могли понять, в чем дело, что мешает жить в своем селе. Пока вороньи стаи не обнаглели до того, что начали поливать людям прямо на головы, и никто не мог пройти по селу, чтобы остаться чистым.

Первыми, как всегда, стали глухо роптать женщины, они долго упрекали этими «врагами народа» своих мужчин. Но мужчинам было не до птиц, и дело затянулось. Потом стали испытывать какой-то душевный неуют и мужики. Наконец, они подговорили мальчишек, снабдили их шестами и лестницами, и те за лето спустили на землю все вороньи гнезда.

Стаи беспрестанно кружились над освобожденными деревьями, выпрямившими свои ветки, и над взбунтовавшимся селом, и нещадно поливали сверху все живое. Лучше всего было бы ударить по этим тварям из десятка стволов, но охотничьих ружей не было, их велели сдать. Поэтому черных призраков над Яковиной Грядой только ругали матерно, всласть — что мужики, что бабы, что дети.

Осенью стаи перебрались на аллею бывшего панского имения — за два километра от Яковиной Гряды, и терпеливо поджидали своих главных обидчиков, детей, которые дважды в день бежали этой аллеей — в школу и из школы. Дети доставали своих недругов снизу из рогаток, но в классы являлись с густыми следами белых меловых шлепков.

На следующий год вороны опять тихой сапой свили гнезда на липах Яковиной Гряды. И село поняло, что война будет затяжной.

Первым снял со стены сарая пилу и не поленился за два вечера отточить ее до немыслимой остроты глуховатый дед Слыш. С помощью Хвися смахнул липу у себя в огороде с новеньким вороньим гнездом на верхушке, а чтобы не пришили дело за сваленное дерево, тут же, у свежего пня, посадил маленькую березку. Через несколько дней все самые высокие деревья в Яковиной Гряде пошли на дрова, а на их месте тянулась к солнцу белолицая березовая молодь.

— Теперь-та вам трасцы, от трасцы, — торжествовали бабы, отгоняя нахальных птиц от куриного корма. — Летите на болото, нечистая сила, на болото летите, нечистики!

Стаи опять перебрались на липовую аллею у школы. Но в деревню наведывались регулярно. А были годы, когда они целыми днями кружили над Яковиной Грядой, пугая своей беспросветной живой чернотой и оголтелым многоголосым карканьем. Особенно люди пугались их в войну, а женщины даже плакали от беспомощности, неспособности защититься хотя бы от этого ничтожества.

Татьянка все думала: эти вороньи стаи — как знак какой. С того света, что ли? Почему они не улетают, не исчезают в ту преисподнюю, из которой взялись, — в болото или гнилой лес? И «хапун» прошел, и война со своими «марафонами» кончилась, сдохла, какой же напасти еще ждать? Расплодилось их, не приведи Господи.

Она точно не помнит, когда это случилось, но кажется, что осенью, когда ей было уже за сорок. Утром она стояла у окна, было воскресенье или праздник, потому что она не будила домашних, они спали за занавесками из выцветшего ситца. Это уже позже сыновья разделили дом дощатой перего-

родкой на две половины — отгородили кухню от залы, а дочки оклеили перегородку газетами. Тогда еще вышла целая история с этими газетами. Девчата только закончили клеить и отмывали желтые от подсохшего мучного клея руки, когда заглянул кто-то из соседей, кажется, Настя Грищиха. Она молча показала матери на несколько портретов усатого человека в белой парадной форме в разных местах перегородки. Покрутила пальцем у виска и присвистнула, что означало крайнюю форму свихнутости.

Пришлось звать девчат в дом, искать остатки газет и заклеивать портреты обрезками, чтобы никакому начальнику не показалось, будто в этом доме к усатому человеку в форме относятся непочтительно, раз выклеили им стенку.

...Она всегда любила в воскресенье или праздники встать пораньше, разжечь дрова в печи и постоять у окна, слушая, как потрескивают за спиной разгорающиеся поленья и посапывают за занавеской ее взрослеющие дети.

В то далекое теперь утро она как всегда смотрела в окно на деревья, они безропотно подчинялись наглому ветру, и ветер делал с ними что хотел — сгибал верхушки до кольев забора, раздевал, срывая и угоняя желтеющие листья, грозился совсем сломать гибкие стволы. И матери передалась живущая в природе тревога, она вдруг ощутила, что в мире, в окружающем ее мире существует очень прочная взаимосвязь. Между нею, стоящей у окна, и зябнущими на сырой улице деревьями, и забором, который подпер своими позеленевшими кольями деревья и не дает им упасть, и ее детьми, сопящими за занавеской из выцветшего ситца, и двумя съежившимися на заборе воробьями, и стерегущим их игривым рыжим котенком, и ползущей над селом угрюмой тучей, цепляющей толстым животом поднятые кверху журавли колодцев, и выбеленной, беспомощной землей в огороде, из которой недавно достали картошку, и она сейчас пустая, усталая. Или связь существует только между ними, а она со своей жизнью — так, сбоку припека?

Она начинала в то утро понимать единство всего сущего, взаимопроникновение и взаимодействие, и магию вещей, которая существует благодаря этому взаимопроникновению и становится понятной лишь благодаря знанию о единстве и родстве всего сущего.

Ей показалось, есть смысл в том, что собрались вместе в раме ее окна, а значит, собрались при ней, для нее — и ветер, терзающий беспомощные деревья, и дойная туча, которая сейчас пропорет себе брюхо о самый высокий в деревне журавль Слышевого колодца, и воробьи, дразнящие рыжего котенка, и белая земля, из которой высосаны соки. Ей показалось, что природой достигнуто какое-то согласие (если бы она знала это слово, сказала бы «гармония»), и сегодняшнее утро должно быть именно таким, а не другим, что деревья должны вести себя так, а не иначе — они уже перестали надламываться и выпрямились, приосанились, упершись покрепче ногами-кореньями в землю, и уцепились друг за друга руками ветвей, и теперь сколько она ни глядела, не поклонились больше и не уронили ни одного листочка, не отдали ни желтого, ни зеленого. Как будто почувствовали ее взгляд, ее присутствие и желание, чтобы они не поддавались приблуде-ветру.

Она смутно осознавала себя и своих детей частью этого мира, и это придавало ей спокойной уверенности.

Но этот мир — он был не так прост, как казалось при солнечном свете, она его часто не понимала. За многие годы жизни она пришла к убеждению, что есть в нем такая половина, понять которую невозможно, а можно только обходить ее как-то стороной или по возможности учитывать ее законы. Она видела, что материнские сказки про нечистую силу не один раз за ее собственную жизнь сбылись, как оправдали себя и многие приметы.

Последних она придерживалась строго. Она никогда не клала ножи вместе, ножи всегда лежали у нее в разных местах — один в шкафчике в сенях, другой в тумбочке на кухне, третий на подоконнике или на маленькой скамеечке, на которой она вечерами резала ботву поросенку. Она всю жизнь, сколько себя помнит, строго следила, чтобы ножи не собирались вместе, иначе они сговорятся и порежут кому-нибудь палец. Или один из них упадет острием на ноги.

Она держала в доме всего одну солонку, деревянную, с крышкой, и солонка была приколочена на кухне над обеденным столом, гвоздями к стене, чтобы нельзя было ее уронить, и всех детей она давно предупредила, чтобы соль никто не просыпал, потому что тогда жди в доме ссоры.

Если случалось подшивать одежду не снимая с себя, брала в зубы край воротника или отворота — не ушить бы память. Летом она искала в своей ржи заломы, и если они были, сделанные чужой рукой, — вырывала рожь с корнем и жгла за огородами.

Обходила вокруг усадьбы, проверяя, нет ли на заборе веревок с узлами. Если находила — снимала палкой и тоже жгла веревки вместе с палкой на костре. А еще учила детей, что нельзя убивать лягушек, потому что пойдет дождь. И нельзя разорять гнезда аистов, аист обязательно принесет в клюве и сбросит обидчику на крышу дома горящую головешку. Или отыщет в гнилом лесу и кинет в колодец гадюку — «Пейте мои слезы»... Извечная наука дедов, основанная на наблюдениях, была ей ясна, и она не хотела уносить ее с собой, оставляла детям.

Но кроме этой признанной вековой науки она понемногу, интуитивно, постигала и другую, более сложную. От ножей и соли, которую нельзя просыпать, она пошла дальше. Она чувствовала, что колдовство сущего присутствует во всем, и каждое движение, слово или взгляд имеют свою силу, и кроме прямого, общеизвестного смысла есть еще и скрытый, часто неизвестный большинству.

Она стала прислушиваться ко всему вокруг, присматриваться в поисках этого скрытого смысла всего сущего. Именно тогда за ней стали замечать первые странности, которых со временем набрался целый ворох.

Вот она входит к себе в хату, и ей кажется, что она зашла не тем боком и что-то этим самым нарушила. Возвращается в сени, а то и во двор, кружится там, как собака в погоне за собственным хвостом, и заходит опять. Когда ее ждало во дворе, на деревне или за ее пределами какое-то важное дело, она могла выйти из сеней на порог спиной вперед, чтобы злые духи, существование которых она допускала, не заметили ее ухода из дома и не помешали. Ей иногда казалось, что серп или топор в сарае, или ложка в шуфлядке тумбочки, или подушка на кровати, какая-то иная вещь лежит не так, уже одним своим вызывающим размещением тая опасность, и она ее перекладывала по-другому.

В какие-то дни она предпочитала носить темную юбку, в другие — в клетку или светлую, не ленясь перестегивать на незаметное место английскую булавку — от сглаза. Утром она немного задерживалась в постели и прислушивалась к себе, смотрела на свои вещи, которые висели над кроватью на вбитых в стенку длинных гвоздях, пытаясь понять, что ей сегодня следует надеть, чтобы было безопасно. Если в течение дня у нее мелькал в голове абстрактный страх за детей или рисовалась какая-то злая картина по тому или иному поводу, она крутила из заскорузлых, потрескавшихся пальцев кукиш. Если картина была очень страшной, она с помощью мизинцев выставляла четыре фиги сразу, если не очень — один шиш или два. С какой стати она совала самой себе дули, домашние понять не могли.

Мир был не прост. Но порой он был враждебен, вот в чем дело. Была потусторонность вещей, от которой она научилась, как ей казалось, беречь себя и детей. Но была еще и потусторонность людей, а может — в самих людях? И от этого борониться было трудно.

...Глухой тревожной ночью после того дня, когда милиционер Шилович с солдатами увезли на телеге Федора, а она сидела с мокрым лицом посреди разгромленной хаты, опустив голову к коленям и раскачиваясь из стороны в сторону, в сенях негромко стукнули и в открывшемся проеме двери встала соседка, Настя Грищиха. Махнула ей, вызвала во двор и там выдохнула в лицо: «Вечером за Красным постреляли людей. Может, и Федор там, барани Бог... Хадзем, пошукаем».

Она подперла дверь в дом пустым цебриком, и они отчаянно и обреченно пошли в ночь, за село, сначала на весейскую дорогу, потом свернули в лес и обошли Весею лесом, чтобы никого не встретить. Больше часа торопливо, подбегом пробирались опушкой леса, пока не послышался лай собак и проступили сквозь темноту смутные очертания изб. Они подошли к крайней, Грищиха стукнула в окно, сразу вышел дед, словно и не спал. Грищиха пошептала ему в глуховатое ухо. Дед молча поплелся впереди них. В темноте с трудом угадывались его белые портки и лапти из бересты. В лесу старик свернул к каким-то длинным насыпным холмам и показал на один из них: «Ото свежий». И растворился в рваном утреннем тумане.

А они с Настей перекрестились и принялись разгребать руками свежую землю.

Очень быстро они перемазались в жирном черном глиноземе так, что каждая стала большим земляным комом, из которого торчали и что-то делали руки. Земля была везде — за пазухой, в карманах одежды, во рту и ушах. Они стали частью этой земли, как и те, кого они откапывали. Вспомнилось простое: из земли вышли — в землю уйдем.

Расстрелянных накануне засыпали лениво или собирались к этим добавить новых, но они с Настей догреблись до побитых людей скоро. Первой откопали женщину, молодую и легкую, в облепившем мертвое тело ситцевом платье и суконной жакетке сверху. Они оттащили ее в сторону и стали рыть рядом. Мужчина, на тело которого они наткнулись руками, был крупный, тяжелый, и когда его удалось откопать, стоило большого труда вдвоем хотя бы перевернуть, чтобы посмотреть в лицо. Тела уже начали деревенеть и были непослушными, особенно руки. Словно убиенные протестовали и против самой смерти, и против того, что их сейчас тревожат.

Лицо мужчины тоже было незнакомым. Впрочем, гримаса боли и страха настолько сильно исказила и это человеческое лицо, что вряд ли можно было в нем узнать кого-то из знакомых. Признать можно было только по одежде. Они откопали еще двоих, повернули к зыбкому утреннему свету, но ни их лица, ни простая крестьянская одежда не были им знакомы. Лишь пятый заставил ее сердце оборваться куда-то далеко вниз груди — на этом несчастном была такая же фуфайка, какую она бросила в телегу Федору, когда его увозили. Стеганая старая фуфайка, застегнутая на все пуговицы, словно человек надеялся с ее помощью уберечься от пуль. Или ему перед расстрелом было очень холодно. Они долго выгребали этого молодого еще мужчину из холодной черной земли, обступившей его со всех сторон, подняли, надрываясь, на край ямы и очистили голову. Она вглядывалась в черты упокоившегося и не могла однозначно сказать, что да, это Федор, или нет, это не он. Было холодно ей самой, было жутко, и она плохо соображала. Настя отмалчивалась и только после долгой паузы, которая показалась пыткой, сказала: «Не, и гэто не твой».

Светало, стала видна росная трава под деревьями и слышен шум ветвей. Какая-то сумасшедшая пичуга над их головами радостно защебетала новому дню, и в настроении женщин что-то переменилось. Они поняли птичий лепет как знак свыше, поверили, что на этот раз беда минула, Федора нет среди несчастных. Копать дальше уже не оставалось никаких сил, да и стало опасно — могли увидеть. Если донесут, неминуемо лежать им здесь самим.

Они еще раз всмотрелись в лица тех, кого смогли с таким трудом откопать. Потом вернули на место упокоения, присыпали землей, стали на колени на краю братской могилы и помолились, чтобы Всевышний принял души убиенных и спас живущих, спас от этой участи тех, кого хотелось видеть живыми. Настя подтолкнула подружку, они поднялись и, поминутно оборачиваясь, ушли от этого страшного места. Опять обошли Красное и Весею стороной, вышли на берег Весейки. В чем были, в том и вошли в ее стылые воды и омылись, сняли с себя тлен и липкую грязь.

А через несколько дней к ней опять приехал милиционер по фамилии Шилович и сказал, что если Федор появится дома, чтобы она прислала кого-нибудь из старших детей в сельсовет. Потому что он враг народа и его все равно найдут, и ему же будет хуже. Из этого она сделала вывод, что Федора тогда в самом деле не расстреляли в лесу за Красным, его не было в той братской могиле, что он сбежал каким-то чудом и теперь обретается неизвестно где. И она стала его ждать.

И прождала совсем недолго — одну бабью жизнь.

Потусторонность (продолжение)

Летом, в разгар покоса, когда деревни пустовали — все были на лугах, остановилась на окраине хуторка, у дома ее старшего сына, чужая повозка. Из нее вылезла молодица с ребенком на руках, а усатый ее спутник остался сидеть на передке. Алексей случился дома один, привез возок сена и ходил по двору, прикидывая, куда его лучше приладить.

Стирая пот со лба и выбирая из-за ворота рубахи уцепистую травяную мелочь, он пустил молодицу в дом, дал попить ей и ребенку и удивился, когда гостья вдруг замахала руками:

— Ай, хозяин, что это? Почему у тебя в доме змея? Посмотри, у тебя из-за ведра змея ползет. И из сундука тоже. Ну-ка, открой его, не бойся, я ничего себе не возьму, мне ничего не надо. Посмотри, посмотри, одни змеи. Ничего другого, только змеи. Ползают и шипят, ты слышишь, как они шипят? Ты слышишь, хозяин? Такой молодой, а уже хозяин. Почему у тебя в сундуке одни змеи, золотой?

Алексей вдруг увидел, что сундук в самом деле набит змеями, они шевелятся там и шипят — огромный гадючий клубок. Он удивлялся и не хотел верить. Тогда молодайка позвала в открытое окно мужчину. Тот спрыгнул с повозки, вошел в дом и тоже удивился и громко застонал:

— Э-э-эй, у хорошего человека в доме столько змей. Эй, надо помочь хорошему человеку. Надо увезти их подальше от этого места, чтобы назад не нашли дорогу.

У него в распахе синей атласной рубахи лежала, казалось, рыжая лохматая собака.

— Посмотри, хозяин, у тебя в доме становится все больше змей, — потянула за рукав молодуха. Алексей никогда не видел таких глаз. Большие,

черные, в них жила какая-то истина, она изливалась на него, только он не понимал ее. — Надо их заговорить и увезти отсюда.

Она повернулась к змеям и стала заговаривать их:

— Змия гад, возьми свой яд! А не то я возьму три палки железные, три палки медные, три палки деревянные, и выбью все твое племя. Змия гад, возьми свой яд...

Змеи ползали по дому. Исчезли кровать и стол, тумбочка и табуретка, сыр на окне в марлечке и сало в кубле, платок жены и детская одежда, ведро с водой и алюминиевая кружка у ведра, керосиновая лампа, его сапоги и галифе, висевшие на гвозде, вбитом с тыльной стороны шкафа, — все стало змеями, и добрые заезжие люди не боялись брать их голыми руками, приговаривая «Змия гад, возьми свой яд...» и бросать в повозку, чтобы избавить молодого хозяина от напасти. На возу змеи шипели и ворочались, выстилались друг на дружке плетями. Они завелись даже в печке, где только что стоял горшок с обедом, и тоже очутились в повозке, чтобы никогда больше не вернуться назад. Алексей под конец осмелел и помогал своим избавителям, и змей в доме становилось все меньше.

Соседка, видевшая это, попыталась остановить Алексея, но чужие громко крикнули на нее, а Алексей тоже махнул, чтобы не лезла не в свое дело, и она испугалась и отступила. Побежала в луга, к мужикам. Мужики выпрягли лошадей и прискакали, но опоздали.

Когда Алексей пришел в себя, дом был пуст, как после смерча, вынесшего все вон. Нажито было не много, но и это уплыло прочь в скрипучей чужой кибитке по ухабам лесных мягких дорог. Верхом на лошадях бросились вдогонку, но где искать, не знали, а в окрестных селах кибитку не замечали.

О случившемся на хуторе матери передали в тот же день, и она пришла в разграбленный двор, где у костра уныло грелась семейка ее сына: сам он, угрюмый, бесконечно виноватый; жена его — худенькая женщинка с заплаканным лицом, время от времени повторяющая: «От подкатилися дак подкатилися, от подъехали дак подъехали», имея в виду злодеев; их сын, мальчонка двух лет, озабоченно сопевший перемазанным черникой носом.

Татьянка приткнулась к плетню, заменявшему забор, и тоже молчала, пытаясь угадать, беда их рассорила или сблизила. Молодая женщина уже, кажется, откляла и Алексея, и тех бродяг, и теперь только отводила взгляд в сторону. Мать тяжело вздохнула и спросила:

— Может, в село переедете?

Жизнь старшего сына шла на отшибе. Держался он особняком, к своим приходил редко, при этом чаще молчал, скоро уходил. То ли рана и болезнь сделали его бирюком, то ли хуторское малолюдье, или своими был недоволен? Ей, матери, чего-то простить не мог? Чего? Чем она могла перед ним провиниться? Разве что тем, что отца не уберегла?

Как-то сын сказал ей: кого ждут, те возвращаются. Это было перед самым его уходом в армию. Может, он имел в виду не только себя?

Да, она знала тот закон жизни, по которому беды и несчастья настигают человека, когда от него отворачиваются или изменяют близкие ему люди, перестают за него бояться и каждую минуту думать о нем. И если до той поры их любовь хранила, то их равнодушие или измена открывают ворота напастям, и чем дольше он остается один, без своих, даже если они рядом, тем больше напастей.

Неужели Алексей что-нибудь слышал о том далеком вечере, когда после изматывающей работы на мельнице она не пошла со всеми домой, а завернула по дороге за ракитник, на панские купальни, смыть пыль и пот, и скоро в холодной воде пруда догнал ее Сила Морозов и вынес на берег, а она не знала, что ей делать, и не стала портить криком тихий теплый вечер с уже проклюнувшейся луной, с засыпавшей ветлой на берегу?

Она явственно видит тот густой зеленый кустарник за мельницей. Где-нигде среди ракиты и ореховой поросли прокинется молодая гнуткая береза, радуя глаз белым сарафаном. Много посохшего малинника, ягода на нем с темными зернышками, не сочная. Кусты шиповника держат всякого от себя на расстоянии, как норовистая девка: пока сорвешь ягодку, десять раз уколешься. В самых густых зарослях, куда ведет еле приметная тропка, два пруда — панские купальни. В них когда-то помещик Кондратенко ополаскивался холодной ключевой водой и разводил рыбу. Один пруд заплыл илом, зарос аиром и высокой травой, на крохотном блюдце темной глубокой воды плавала ряска, и никто в блюдце никогда не лез — слышали люди, что глубина в этом месте была такая, что длинный шест не достает дно. Другой еще дышал свежестью, но дно уже неприятно скользило под ногами. Нигде в округе не водились соловьи, а здесь — водились. Она их услышала, когда сняла пыльную одежду и, взвизгнув негромко от обнявшего холода, присела в воде. До этого лет десять не слышала соловьев и не думала, есть они на белом свете или перевелись подчистую.

Силу она заметила, когда была на самой середине панской купальни. Он стоял посреди орешника и напряженно следил за ней. Когда их взгляды встретились, начал медленно и как бы угрожающе раздеваться, сошел в воду, не пряча от нее своей наготы, и поплыл к ней.

Алексей тогда был совсем маленьким, откуда ему что знать? Бабы по селу вроде сплетен не носили. И разве то было предательство? Конечно, узнай Федор в своем далеке — если допустить, что мать написала или сестры, — не похвалил бы, ясно. Но что могла она, слабая женщина, против Морозова? Отвернуть лицо, чтобы не целовал в губы, только и всего? Она поддалась Силе, как когда-то подчинилась ему, Федору. Спасибо, хоть в пруду после не утопил.

Было ли то предательством, изменой? Измена — это когда по умыслу, по расчету. Тогда за что на нее беда, почему тот закон показал свою неумолимость? Выходит, люди словно веревочками между собой связаны. Оборвалась одна, тоненькая, меж родными человеками — и на остальные тяжесть большая, тоже начали рваться-лопаться. Не остановить, не связать.

Память, каждодневная и чистая память о родном человеке, даже если он с тобой, и предчувствие боли от возможной утраты — вот что хранит наших близких. На один только день, на один только час забудьте о них, измените, и они отойдут от вас, отдалятся, иногда так далеко — туда, откуда возврата нет. Не обрекайте близких на забвение даже на час, вы обрекаете их на страшное. Думайте о них и тревожьтесь за них. Не мстите, потому что рано или поздно придет раскаяние, и оно будет мучить вас, пока не сведет в могилу...

Алексей вопреки материнскому совету с хутора не съехал, стал добро наживать сначала. Да немногое успел.

Напуганная историей со змеями, молодая соседка уговорила мужа вернуться в родное село. Одичал хутор. Неспокойного шума сосен раньше не замечали, сейчас он тревожил. В то лето куница поедом ела птенцов в гнездах, и кричали птицы. Частыми были грозы, молнии раскалывали толстые елины вокруг дома, словно щепу. Уже начинали думать о том, чтобы вернуть-

ся в Яковину Гряду, но не хватало денег перевезти и пересыпать домик. Тут о своем решении объявили родители Стаси, жены Алексея. Жили они на бедных стародорожских песках, и еще перед войной собирались менять место. Теперь окончательно надумали перебраться поближе к дочери. Тем более, хата по соседству освободилась.

Такому повороту обрадовались все. На хуторе опять стало шумно, вместе со старшими Конопляниками приехали их младшие дети, и все это была близкая родня, а значит — люди желанные, с которыми можно делить и тяжкий труд, и угрюмость зимних лесных ночей.

Работа нашлась в колхозном коровнике, к нему нужно идти через сосонник, но это никого не пугало, к лесу были привычными. Ходили три раза в день — на рассвете, с первыми петухами, в обед и вечером. В перерывах сено косили на лесных полянах для свойской скотинки, поле вспахивали и картошку садили, и пололи, и урожай убирали, снопы молотили да на мельницу зерно везли... Так и катилась жизнь суетным колесом. В ту пору все так жили, в гнетущем труде. Ели не сладко, спали не долго, но жизнь, спасибо, была уже спокойная, без немцев и «воронка» по ночам, можно жить.

Вот только тесть Алексея, старший Коноплянник, запойно пил, и по вечерам, возвратившись домой с работы, бил жену на глазах у детей и внуков. Стася тогда уже и девочку родила, и та топтала маленькими ножками мягкую травку двора. Все взгляды обратились к Алексею, он один остался защитником большой семьи. Однажды не выдержал, вступился. Тесть, хмельной, бросился к жене с топором. Алексей в сердцах его же и ударил этим топором. Оправдывая Алексея, Стася говорила матери: «Горячий после ранения, психованный». А мать-то знала: не в ранении причина. Еще из лесу, из партизан Алексей вернулся ожесточенным. Он видел слишком много для своих лет крови.

Осиротел невезучий хутор. Когда-то, говорят, здесь птицу вещую обидели.

Старого Коноплянника надолго, чуть ли не на год, увезли в больницу, не одну операцию сделали, и он вернулся домой худым, немощным, старым. Заглянув за черту, больше в запои не пускался, да и не мог, изредка по причине брал рюмку, не больше. Старался тянуть, сколько мог, свою семью и семью старшей дочери: Алексею вышел большой срок.

От Алексея приходили редкие письма. Когда много позже разрешили свидания, мать набралась сил и поехала к нему в архангельские леса. Увидела похожего на отца хмурого мужика с плохо спрятанной тоской в глазах. Он поцеловал ей руки, спасибовал, что приехала, на глаза показалась, от детей привет привезла. В минуту откровения признался, что вряд ли долго протянет. Деревья сырые, смолистые, тяжело валить пилой-двуручкой и на себе к просеке таскать — для этого тело не дырявое требуется, а его раны давали знать о себе все больше.

Мать слезами умылась, велела сыну терпеть, просить сотоварищей, чтобы помогали, — он улыбнулся скорбно в ответ, кивнул головой. И мать увидела столько обреченности в этой улыбке, что поняла: Алексея надо спасать.

Она стала его спасать. Из Архангельска-далека поехала не домой, а на Западную Украину, где служил когда-то Алексей и где его прокололи вилами мужички из местных, прорываясь за кордон. Нашла ту самую заставу, и начальник ее, сумев понять материнское сердце, вспомнил давнишний случай на границе и написал обо всем подробно куда надо — отдал Алексею должное.

Дома ее ждало новое несчастье: от грозы сгорело полхутора, как раз Алексеев дом с постройками, и Стася с детьми перебралась в соседний, к родителям, там было тесно и неустроенно.

Колхозного председателя мать просила на коленях. Тот упорствовал и кричал на всю контору, что никуда он писать не будет, что если он начнет выгораживать всех бандюковатых, то сам очутится на Соловках. Что это ничего не значит — передовик, не передовик, нечего за топор хвататься, сначала нальются водкой до краев, а потом детей сиротят. Что никто не примет во внимание его ходатайство, парень не отсидел еще и полсрока, а если и отсидел, то все равно пустое это дело.

Мало ли что кричал. Но к прокурору района на переговоры ездил дважды. И характеристику дал Алексею справедливую. А в конце добавил про дом, что сгорел, и про семью — бедствует, мол. И все это было чистой правдой.

И еще какие-то бумаги собирала мать. Помогать ей взялся местный учитель Евдоки́мович. Тот детей Алексеевых пожалел. А когда собрала все, поехала в Москву.

Из десяти лет Алексей отсидел семь. Помогло, что за все эти тяжкие годы он ни разу не психанул.

Вернулся чужим, постаревшим. Жить под одной крышей со старшим Конопляником не захотел, устроился работать в городе, забрал своих. Долго снимал времянку на въезде в Слуцк, рядом с цыганским поселком, потом получил от работы жилье. По выходным наведывался к матери. Приедет, посидит рядом на лавочке, покурит молча. И назад поедет с десятком яиц в сетке — гостинец внукам от бабки.

Сироты

Песен вдовьих она знала много, да и времени у нее хватало, чтобы повторять, не забыть — вся жизнь. Раньше сладка ей была в этих песнях горькая вдовья печаль, сейчас они ее пугали — боялась, что на ней вдовы не кончаются, на ее детях счет сиротам не обрывается.

Сиротских песен она тоже знала немало. Бывало, пела своим неоперившимся птенцам у колыбели, пела вроде как одному, самому малому, а слушали все, свесив головы с печки, приподнявшись на локоть с постели, брошенной на широкие полати.

«Посеяла маки над водою, заросли же маки лебедою. Нету у меня маку — ни маковки. Нема у меня ни отца, ни матерки. Нету у меня ни братка, ни сестрицы, нема и братовой молодицы. Ой, не с кем стати постояти, нет кому горе рассказати. Все мои подружки рано встали, хорошую долю разобрали. А я, молодая, заспалася, мне плохая доля засталася...»

Эти песни по вечерам часто заканчивались слезами. Она редко позволяла себе плакать громко, навзрыд. И она, и дети с малых лет приучены были плакать молча, стиснув зубы, — это были тяжелые слезы, но они так привыкли. Выплескивая свою недетскую обиду на голод и холод, на постные щи за заслонкой в печи, на пустой шкафчик, где положено лежать хлебу и салу, на пустой красный угол, где положено сидеть отцу, они плакали — молча, глухо, и обида не уходила, как обычно она уходит с детскими слезами. Лучше бы они плакали громко, взахлеб, жалеючи себя, свою мать и даже отца, которого не видели, а кто видел, тот уже не помнил. Нет, они не облегчали душу этими слезами, а наоборот, после таких песен и таких слез в их глазах и словах добавлялось взрослости, и мать потом будет жалеть об этом, глядя на Алексея с арестантским номером на фуфайке, на озлобленность Вольгочки там, во ржи, на вечно недовольную ее младшую сестру, на жалкого Мышку и буйного во хмелю Лёдика.

Она не любила этих песен по вечерам. Но когда после очередной ссоры с кем-нибудь из них ей хотелось единства в семье, пусть даже такой ценой, она пела что-нибудь о сиротах, и они все опять молча плакали, и она плакала вместе с ними. Жалея их, она и себя считала сиротой. Жена без мужа — сирота.

Врагу она не пожелала бы таких песен и таких слез.

По ночам, когда они все наконец засыпали, наплакавшись, ей снились сироты, много сирот, большие толпы сирот, бредущих мимо ее дома и просящих у нее нестройным хором детских голосов подаяния, бродивших бесцельно в поле, угрюмо идущих мимо их деревни; у одних на боку, как и положено сиротам, болталась холщовая сума, у других ничего не было. Толкались среди них беловолосые и черные, словно цыганята, и русенькие; лица их она не различала, только хорошо помнит, что цветом волос они отличались друг от друга.

И были среди них женщины, которые ни о чем не просили, а только молча глядели на нее и отходили, и сновали в полях, и одежды на них были странные — длинные, но какие-то бесцветные, она не помнит их покроя и цвета.

Эти бесконечные толпы сирот прошли, можно сказать, через всю ее жизнь. Они приходили не каждую ночь, но все же часто, не давая о себе забыть, и она устала от них, и ей хотелось что-то такое сделать, чтобы этот сон отвязался от нее. Однажды в воскресенье она села в автобус и поехала в Слуцк в церковь, и поставила свечки Федору, Вольгочке, и еще одну — сироткам, которые снились. Свечка Федору погасла, и она еще раз уверилась, что он жив, и обрадовалась этому. Сироты не перестали сниться, теперь все они держали в руках по свечке, и ветер то задувал, то возвышал пламя свечей, и она боялась, чтобы от этого огня что-нибудь не случилось, чтобы не загорелось все на свете, ей было страшно. Она думала, что нет большего греха на земле, чем осиротить дитя. Ее счастье, что она не плакала по ночам, когда видела этот свой сон, потому что какое же сердце выдержит столько боли и столько слез?

Сердце болело еще потому, что на ее детях сироты не кончились. Даже в ее семье появились новые сироты. Она бесконечно жалела сына Вольгочки, который тоже не знал своего отца, а болезнь и людская нетерпимость отняли мать. И она думала о нем постоянно.

«А на бору, на борочку, там ходили сироточки. Собирали ягодочки. Собиравши, говорили: «Нам сести поести, бо некому домой нести? А мо понесем у тую крамку, где купляють татку и мамку? А все крамки обносили, татку и мамку не купили. Бедныя сироточки, неразумныя, маленькия».

«Вот видите, свечка Федору в церкви сразу и погасла. А никого близко не было. А погасла так, как будто дунули». И она сразу поняла, что он — живой.

О том, что муж ее живой, первой сказала сразу после войны цыганка на Слуцком базаре. Молодая такая, яркая цыганка с большими глазами. Хотелось на нее смотреть. И руки, когда гадала, были у нее теплые, не чужие. Сказала, что живой, только далеко. «Конем не доедешь, машиной не доедешь, только птицей жалезной долетишь. Думает он о тебе, потому не пишет. Напишет, но не скоро». Над этой загадкой она ломала себе голову всю оставшуюся жизнь.

Странная она, странная. Перед войной во время хапуна из Яковиной Гряды увезли на подводах тридцать мужчин, а домой стариками вернулись только трое. И среди них был тот, который больше всего и написал доносов на соседей. После этого, после мясорубки войны — и верить, что остался в живых человек, против которого было само государство?

Разве она не ловила птиц и не знала, как это делается? Ловила и знала.

Зимой, когда прочно ложился снег и птицы начинали шалеть от бескормицы, она ставила во дворе перевернутое днищем кверху оцинкованное корыто — одним краем на невысокую палочку, а другим на утоптанный снег. Крошила под корыто хлеб или сыпала немного пшена, к палочке привязывала веревку и пряталась с другим ее концом в руках за дверью сеней. Высматривала через щелку, когда под корыто набьется побольше глупых снегирей — они всегда вперемешку с воробьями ошивались среди кур. Воробьи никогда не лезли в ловушку, для них опасность была слишком очевидной, они только припрыгивали вокруг и поддразнивали глупых расфуфырок-снегирей, делая вид, что сейчас поскачут за крошками. Те боялись, что воробьи их в очередной раз объедят, и лезли под корыто слепицей. Дернуть за веревку мешала то одна, то другая глупая курица, которая с видом знатока, вывернув голову и скосив глаз, рассматривала это странное сооружение, а лапа обязательно стояла так, что ее перебьет холодным металлом как спичку. Мать тихонько бросала в курицу снежком — та нехотя отходила, но улетали и снегири, и опять надо было сидеть в засаде, мерзнуть и выбирать момент, когда они потеряют бдительность и полезут за пшеном и хлебными крошками.

Наконец можно было захлопнуть ловушку, и она подбегала к корыту, под которым перепуганно хлопали крылышками пойманные птицы, приподнимала его край и хватала одного-двух самых нерасторопных пленников, остальные прошмыгивали мимо ее ног и надолго улетали. Тех, которые не смогли увернуться от ее цепких пальцев, она приносила в хату и давала подержать детям. Птицы, яркие, как елочные игрушки, всегда вырывались из ласковых детских ладоней и носились по дому, бились в окна, сшибали крыльями пустую кружку у ведра с водой и ломали цветы в кадках.

Даже она со своими малыми возможностями могла поймать вольную пташку. А как было спастись Федору? Однако ей очень хотелось, чтобы он уцелел. И она надеялась, что так и вышло, и часто гадала, как сложилась его жизнь после того, как он удрал от рукастого милиционера по фамилии Шилович.

Она иногда и сама думала, что его нет в стране. Иначе за все эти годы нашел бы способ, чтобы дать о себе знать.

Она считала, что Федор вполне мог очутиться в какой-нибудь Канаде. Что это за государство и где оно — близкое или далекое, жаркое или холодное — она не знала. Только слышала, что не бедное. В начале века из Яковиной Гряды именно в Канаду уехали несколько семей, были в том обозе и его дядья. Редко, но присылали письма и посылки. Так что адрес Федор мог помнить. Сидит себе там, богатство копит да с нее, неразумной, посмеивается. С того, что свою жизнь угробила на разные напасти — на болезни, голод, войны. Когда она думала, что он живет там припеваючи и растит с другой женщиной своих новых детей, ей становилось невыносимо обидно.

Она не хотела, чтобы он был уж очень счастлив там, в этой своей Канаде или где-нибудь еще. Это было бы несправедливо по отношению к ней и детям. Отец должен разделить судьбу семьи. Столько детей понаделать и бросить ее в молодые годы, в самом начале жизни... Оставить одну с сопливой, голодной и неумной оравой, одну в бесконечной череде ночей, когда крепкое тело ждет себе пару, — разве все это не свинство?

Она откровенно не хотела ему большой удачи. Тут она не лукавила ни перед собой, ни перед детьми, если у них случался такой разговор. И она начинала придумывать, что у него там может не ладиться. Если он разбогател так, что держит свою ферму, то у фермера все может случиться — и неуро-

жай, и мокрый или засушливый год, и крот на огород напал, или молоко в бидонах скисло... Она не могла представить его никем другим, потому что видела только при земле. И рассчитывала, что когда придет от Федора письмо, то получит и подтверждение своим догадкам. Она крепко надеялась, что Федор все же пришлет ей письмо, чтобы попрощаться на этом свете. И, если сказать честно, не торопилась умирать, не дождавшись от него письма. Она думала, что Федька чувствует ее точно так же, как и она его. И знает, что она ждет его письмо. Напрасно, что ли, долгими ночами она вела с ним беседы, совета просила, бедой делилась. С ним сначала, потом с Богом. На Бога она больше надеялась.

Днем к ней на скамейку разные прохожие-проезжие люди подсаживались. Кто куда шел — садился отдохнуть на полдороге. Один Слыш приходил специально, поговорить. Они были одногодки, и пережитое объединяло их. Он, похоже, относился к ней серьезно и понимал лучше других. Хотя с ним она не была откровеннее, чем с другими.

Однажды Слыш притащился чем-то встревоженный. Она это заметила издали, но решила не обращать внимания: людские тревоги стали утомлять. Помяла в пальцах полу его пиджака. Пиджак был с чужого плеча — большой, коричневый, в выцветшую белую полоску. И дедок выглядел в нем как старый сморщенный желудь в обертке от орехового шоколада.

— Видать пана по халявах. С внука жакетку снял?

Слыш не отреагировал. Покряхтел, прицеливаясь тощим задом на скамейку, наконец присел. Поинтересовался, как жизнь.

— А ништо, — ответила она. — Воды хоть залейся, камней — хоть завалися. Хлеба прикупивши, жить можно.

— Ты, баба, без присказки и с печи не свалишься.

— От живу. Скрипучее дерево лес перестоит.

— Слыш, Татьяна, что мне внук рассказал? Он книгу одну читал. Говорит, в Германии много наших солдат от войны осталося. Живут в инвалидных домах. Вернуться домой не могут — калеки. Тыс-сячи таких солдат, тыс-сячи...

Она приняла удар молча. Поняла все, что хотел сказать Слыш. Оперлась крепче на свой киек, положила подбородок на руки, сжалась вся. Нет, такой судьбы Федору она не желала. Чтобы лежать столько лет, и не дома, а в чужом краю, и не иметь силы себя обслужить, и чтобы тебе помогала старая немка... Жена или мать, или сестра того солдата, который на твоей земле гадил... Неет. Такой доли она ему точно не хотела.

Слыш, понимая, что ошарашил ее своим рассказом, стал лихорадочно вспоминать последние деревенские события, чтобы отвлечь от тяжкого.

— Броня Живицкая сон рассказала. Будто ее Тадик домой приходил. С того света. Помниш Тадеуша? Снила, што за пилочкой явился. Говорит, пришел в чистом весь. Броня у него спросила: как же ты хоть там? Хорошо, говорит. А у вас там солнце хоть есть? Это Броня. Есть, кажа, лучшее, чым у вас. Я, говорит, там уже и женился. На ком же ты там женился? Не сказал... Взял свою пилочку, что сад всегда обпиливал, и пошел от нее. Правда, попрощался. Вот так дотронулся жалезной пилочкой до ее правой руки. И эта рука у нее отказала. Жалезом коснулся — и стала как жалезная. Чуешь?

— Парализовало?

— Ну, парализовало.

— Еще ж молодая.

Слыш еще что-то молол, людям язык не завяжешь. Люди — божьи собаки. Потом ушел, и она осталась одна со своим страхом.

Мышка, средний сын
(Натюрморт с бочковой селедкой)

Старая примета: если на вокзале, сидя на узлах, проголодавшийся человек два раза кусает сало и только один раз — хлеб, так и знайте, что это — слуцак.

Край плодородный, щедрая земля. По ночам болят крестьянские руки от труда благодарного, оправданного. Чернозем! На такое поле желудь оброни — через год дубовая роща листом зеленым резным зашелестит. Палку голую в землю воткни — дерево вырастет.

И рынок в Слуцке — чего только не привезено! Не меньше четырех рядов занимают бабки-сырницы: то — белые ряды. Под руками у теток белеют на марлевых тряпицах и выбеленных холстинках жирные, отливающие желтизной тяжелые слуцкие сыры. Рядом крынки со сметаной, от них исходит устойчивый запах свежести и чистоты. В сметане ложка стоит, как в масле.

Есть красные ряды, на них торгуют ягодой. Растет она в этих краях крупная, сочная. Всяка хороша, а нет лучше смородины. Слуцкие девчата, собираясь на свидание, обязательно сыпанут в рот пригоршню смородины. Терпкий вкус, душиста — женихи целуют в темноватых аллеях городского парка или на Красной горке за Косым мостком да приговаривают: смородинка ты моя, ягодка желанная.

Есть мясные ряды со знаменитым слуцким салом в семь пальцев толщиной, с двойной мясной прожилкой. Чтобы боров нагулял прожилку, хозяин три недели кормит его до отвала, неделю держит впроголодь, потом снова чередует изобилие с бескормицей. Сейчас реже, а раньше рядом с салом и кендюх лежал, по-местному киндюк, — большой, в два футбольных мяча, выскобленный свиной желудок с запеченным на солнце колбасным мясом, умелой женской рукой заправленном чесноком, кориандром, сухим укропом; кольца колбас небрежно брошены. Хочешь — бери, не хочешь — понюхай, облизнись и проходи, другие возьмут. Ну и само собой, весовое мясо, оно и теперь есть.

А уж россыпью — чего тут только не найдешь! Целые острова яиц, и сами хохлатки в кошелках под рябенькими платочками: то тут, то там головка с алым гребешком пугливо проглянет и тут же назад спрячется. А нижний ряд вдоль главной торговой улицы — корточники. Бабы, кто стоя, а кто и впрямь на корточках, а то на мешок или коляску приткнувшись, овощами и зеленью торгуют.

Ближе к осени над рынком повисает медовый запах яблок, и никакие другие запахи — близкой столовой с неизменным борщом, консервного завода с его уксусным ароматом, нефтебазы за забором — не могут вытравить его до первых снегов. Выпадут они, первые снеги, а запах еще держится. Идешь по пустому рынку, катанешься по первому льду лужиц и удивляешься: белым-бело вокруг, зима легла прочно, а яблоками пахнуло, как у отца в саду на святого Илью.

...Рядом с корточниками, потеснив зеленщиц, молодая разбитная баба рыжим мужиком торгует. Сидит на дробинках, свесив ноги и задрав над коленом подол сарафана, плюется белыми семечками. Выпряженный конь вытягивает из-под спящего хозяина сено, недовольно пофыркивая на сивушный храп. Бабенка худенькая, но крепкая, ладная, у нее все хорошо подогнано — и руки, и ноги, и язык тоже. Покрикивает:

— А вот кому гаспадар треба? Покупай гаспадара.

Подождет немного, поплюется гарбузиками и опять за свое:

— А кому гаспадар треба? Хороший гаспадар. Смирный.

Сначала думали, она шутит, потом обратили внимание, что мужик связан, как боров на продажу. Начали останавливаться, переспрашивать:

— А ты это сурьезно, баба? Может, шутишь?

— Сурьезно, бери.

— У меня свой такой же кабанчик, хоть куды за свет завези. Как кота паршивого.

Подошел полешук, с кнутом за голенищем сапога, налег грудью на дробинку.

— Ты что, в самом деле, издеваешься над человеком? Ну, развязывай давай, а то я тебя сейчас перетяну.

— А чым перетянешь? Коли чым добрым, то давай. Вот его посунем и уляжемся.

Полешук добродушно засмеялся и отошел, а бабенка опять покрикивает:

— А вот покупайте гаспадара. Дорого не беру. Сотню за штуку.

По базару молва побежала: мужиками торгуют. Стала собираться толпа. Нашлась интересующаяся:

— А какая ж у его тая штука?

— А ты спрашиваешь из любопытства или по интересу?

— А вот куплю, а он без штуки, то што ж за гаспадар?

— А будешь брать, тогда и прицениишься.

— А я, может, и беру. Предъяви комплект.

— А гляди, мне не жалко.

Баба стянула с мужика штаны, выставила народу его срам. Мужик проснулся и заплакал.

Толпа захохотала, но как-то стыдливо и неодобряюще.

Та, которая вроде собралась покупать, набросила на обнаженное тело мужика цветастый платок, лежавший на возу.

— Ладно, закрывай, а то сглазят. А что он умеет?

— Печник особенно хороший. Печку тебе новую соштукуе. Будете вдвоем греться.

— Заворачивай товар. Газетка есть?

— Я тебе его в торбу положу. Донесешь?

— На спину закинешь, то допру. На, считай грошики.

Та, что покупала, полезла в лифчик, поискала там и достала цветной узелок с деньгами, выронив при этом белый круг грудей. Заправила спокойно назад в просторную чашу лифчика, развязала узелок и стала отсчитывать затертыми трояками, поплевывая на крючковатые пальцы.

— Тридцать... Мне гаспадар давно нужен. Гумно не крыто. Шестьдесят... Дрова кончаются. Плужок под поветью без дела уржавел. Девяносто... Плетень погнил. Корова почешется, а он сразу и падае. Каждый день ставлю. Колодец копать пора. Надоело от чужих людей воду носить. Сто... На, держи. Подвалины под хатой погнили... На еще сверху троячку, подвезешь мне его до поворотки на Прощицы. А там он и сам пойдет. Пойдешь, миленький? Не плачь, я тебя не обижу.

Мужик, услышав, сколько работы его ожидает, заплакал еще громче. Обе сумасбродные бабы, помогая друг другу и не обращая на него никакого внимания, запрягли лошадь, уселись на дробины, тронули за вожжи и поехали с рынка под неодобрительный гомон людей и под горькие всхлипывания проданного мужика. Народ еще постоял-постоял, посмеиваясь и гадая, что же сделают дальше с бедолагой две малахольные бабы, и пошел в очередь за селедкой.

Самая большая и закрученная очередь — у высоких, выше метра, и толстых бочек с селедкой. Вот на что вы любого слуцака возьмете — на солененькое. Стоит появиться толстухе в перемазанном рыбьим рассолом переднике, и потянет над рынком пряным духом, который ни с чем другим не спутаешь, как центр торговли перемещается сюда. Даже лошади, выпряженные из возов и повернутые к ним так, чтобы могли жевать сено, стригут ушами и круглым глазом начинают беспокойно следить за хозяином: успеет или нет? Лошадь любого слуцака знает: когда от хозяина на обратном пути пахнет остро и пряно, он становится добрым и сонливым, не дергает вожжами, и можно не спешить по знакомой дороге, перейти с рыси на ленивый шаг, не опасаясь кнута.

Очередь за селедкой и самая терпеливая. Тут не ворчат на продавца, не поторапливают, потому что известное дело: рыба — она скользкая, поспешишь — людей насмешишь.

К голове очереди все время подходят — кто цену узнать, кто разведать, много ли рыбы и можно ли еще становиться. А кто — и пристроиться незаметно, купить пару хвостов не стоявши. На них пошумливают, хитрецы на ходу сочиняют себе оправдание. Один вроде в больницу к теще торопится, а там только до обеда пускают, и обязательно требуют, чтобы селедка с собой была — без селедки ни одну тещу не вылечишь. У другого кобыле приспичило жеребиться прямо на базаре, поспеть бы домой, а то если ожеребится здесь, то самому придется повозку тащить, а кобыла, как всякая роженица, на соломе разляжется — копыта набок. Третий самый находчивый попался: я, говорит, из соляной инспекции, сейчас на зуб проверю, толково ли рыбка высолена, а то засольщики завсегда с солью прижимаются, а мы как за уедистую платим...

Шутку тут любят, «контролера» тоже готовы пропустить, как и тех двоих — много ли человек возьмет, на много «купидла» не хватит. Но нашелся принципиальный дядька в поддевке нараспашку, с кнутом в руках, протолкался к столу и принялся «контролера» отпихивать. Мол, дойдет до тебя черед, тогда и зубоскаль, у меня самого душа рассолу просит. Дядьке в поддевке помогал невесть откуда возникший молодой мужичок-шустрячок: невысокий росточком, неприметненький, в трофейном то ли немецком, то ли румынском мундирчике, на спине — хлястик, брючата драные в сапоги заправлены. Он тернулся вдоль очереди и поддакнул мужику в поддевке, но как-то сбивчиво, долго разгоняясь, чтобы слово выговорить:

— Во... во... вот именно. А то без очереди суется. Стой, как люди, а то — «комиссия»... Нашелся!

Мужичонка этот с хлястиком тут же отвернул в сторону, но раздался тихий, рассудительный женский голос, и его услышали:

— Селедца украл. У той тетки, что гроши платит.

Тетка уже рассчиталась за свои «хвосты», она ошарашенно цапнулась за сумку, там в самом деле лежали две, а не три рыбины. Мужичонку решили проверить, придержали за рукав трофейного мундира. Мацнули по карманам и из внутреннего вынули рыбину. Через минуту рыбина вернулась к своей законной владелице, и та, озлобясь, хлестанула мужичка-с-ноготка соленым, грязным хвостом по лицу: вот тебе, вот, у меня дома шестеро по лавкам сидят, а ты, паскуда, от детей тянешь.

Сзади зашла, тяжело переваливаясь гусыней, продавщица, стянула с себя передник — и передником его, передником, набрякшими узлами завязок. Войдя во вкус, разогналась и двинула заикастого под тощий зад коленом-бревном. От неожиданности тот повалился, и несколько баб сгрудились над

ним. Бить не били, но и вставать не давали, ждали милиционера. Мужики подтрунивали со стороны:

— Если такой хвацкий злодей, то дать ему диплом, и пусть крадет законно.

Скоро привели единственного на весь рынок худого милицейского старшину с рыжими усами, и тот забрал неудачника. А очередь еще долго обсуждала происшествие. И по рынку покатилась молва, чтобы разойтись по селам: Мышка из Яковиной Гряды селедца на базаре стибрил, бабы его тем селедцом и помордовали.

Мышка, базарный вор, был ее средним сыном.

Звался он солидно, Михаилом, но уж очень тщедушным получился. Словно болезнь какая точила Федора в тот год, когда среднего сына зачали. Звали его люди не Мишкой, а Мышкой.

Матери новость про селедку не сразу сказали, а когда сказали — не поверила, лучшей подруге Насте Грищихе в лицо плюнула. Когда Настя отшатнулась от нее, побелелой, обтерлась подолом домотканой юбки и проговорила: «Ну тебя, придурковатую», мать, глядя ей вслед, даже ногами затопала от нахлынувшей злости. И тоже повернулась, и подбегом отправилась к себе на загуменье — ей захотелось немедленно мстить. Не важно, кому именно — Грищихе, а через нее и тем людям на рынке, которые мордовали ее сына. Или Настиным домашним, или кому-то еще на селе. Ей было не жаль в эту минуту ни-ко-го, захлестнула обида. Почему так плохо выходило со всеми ее детьми? Кому она сделала что плохое и кто ей за что мстит? Разбираться с этим сейчас было некогда, да и разве на это короткого дня хватит? Всей жизни не хватает, надо просить умного человека со стороны, чтобы вгляделся, вдумался и сказал. Со стороны всегда виднее, потому что принимается в зачет только главное, а когда сам — тогда для тебя все главное, ничего в собственной жизни второстепенным не назовешь.

На загуменье долго ползала на четвереньках, пока не нашла какую-то одну ей ведомую травку. Принесла ее в дом, мелко нарезала старым щербатым ножом, который отыскала в ящике под столом. И бросила резанку в отживший свое горшок с выбитым боком, мирно дремавший на заборе. Потом вскарабкалась по шаткой лесенке на чердак, сняла три толстые паутины вместе с большими черными пауками — похватала их пригоршней, не дала убежать, подавила живцом в руках до черного сока и положила все в тот же ущербный горшок. Долго и сосредоточенно шептала над ним, зловеще согнувшись к земле, а когда выпрямилась, глаза ее светились недобрым светом. Загуменьями прошла, крадучись, к огороду Грищихи. Размахнувшись, бросила свое колдовство за забор. И вытерла насухо руки о высокую траву.

Через два дня Татьянка услышала, как Настя на улице жаловалась бабам, что сын ее меньший кричит ночами во сне. Разбудят — смотрит широкими глазами, ничего не понимает.

Плакала Настя, и отпустило сердце у Татьянки. Не хотела она подруге в дом такой беды, раздумалась. Недолго собираясь, опять полезла на чердак, на этот раз отыскала там старую, пыльную паутину с высохшим паучком, крепкими пальцами перемолола его с бывшими его жизненными нитями, закатала в хлебный мякиш и отнесла шарик подруге. И еще присоветовала ей снять с мальчонки трусы, вывернуть и тыльной стороной стереть ему испуг с лица. Настя все сразу исправно и выполнила. Шарик ее сын равнодушно разжевал и проглотил и флегматично подставил лицо под изнанку своих же трусов. Провожая, Настя рассказала подробности:

— Это ж костер за селом жгли вечером, с Ваником Маниным. А Гаврюша шел коней пасти, в ночное. Захотел пошутить над этими малыми сцикунами. Вывернул тулуп и пополз по траве, медведь медведем. А темно было. Дети есть дети. Крик подняли — в селе слышно было. А идти и силы уже не имели, на руках принесли. Ваник окриял, а мой по ночам мучается.

— Ничего, должно помочь. Пусть Бог боронит.

— Спасибочки, Татьянка. Я уже думала, колдовство. Пошла посмотрела рожь — заломов нету. Татьянка, а ты же шепты знаешь, пошепчи.

— Я от испуга не ведаю. Тольки против сглазу.

— А вот же Гаврила и сглазил своими косыми бельмами. Пошепчи, золотко. Я тебе десяток яиц дам. А?

Татьянка пожала плечами, вернулась. Поглядела на растерянно улыбнувшегося мальчугана, который не успел натянуть на себя трусы.

— Тогда налей воды в бутылку. Можно из ведра, ага. Только посуда должна быть чистая, смотри.

Сама сбегала домой и вернулась с серебряным крестиком, достался от матери. Настя быстро налила водой поллитровку из-под лимонада. Татьянка махнула на подругу: сядь, не мешай. Отпила глоток — оказала воде свое уважение. Взяла со стола жестяную кружку с оттопыренным ухом, отошла к двери. Через дверную ручку отлила из бутылки немного в кружку, окунула туда крестик, потом вылила воду из кружки обратно в поллитровку и склонилась над ней, поднеся горлышко к самым губам.

— Царица Водица. Морская криница. Красная девица. Божья помощница. Река великая! Катишься ты, водица, по дням, по ночам, из-под гор высоких, из-под ясных звезд, подмываешь берега крутые, пески желтые, колоды старые, травы шелковые. Вымываешь сырые коренья, белые каменья. Очищаешь царей, королей и весь род людской. Отмой и исцели раба божьего Даньку... Данилу — от сглаза одноглазого, от карого и ярого. От бельма белого, от подумного и подглядного, от приговорного и злого, набродного, завистного. От водяного и суховейного, от сквозного и светового, панского и цыганского, вдовиного и вдовцова, Гаврилиного и Теклиного, мужского и женского, от старых стариков и молодых хлопцев. От болючего, от ломучего, крученого.

Идите вы, сглазы, на белые мхи, на болоты, на никлые лозы, на гнилые колоды, на сухие леса, желтые пески, на некрещенную землю, где солнце не греет, люди не ходят...

Подула несколько раз в горлышко бутылки. Подошла к Даньке, полудремавшему на полатях у печки, перекрестила его:

— Господи Боже, Иисусе Всевышний, Христосе милостивый и праведный. Исцели дитя невинное, поклади десницу свою врачующую на голову его, освободи его косточки и жилочки, кровушку и мысли его от испуга черного, от страха гнетущего. Чистое оно, дитя, чистое, спаси его. Аминь.

Настя только головой удивленно качала, глядя на нее испуганно и неверяще.

— На, возьми эту воду заговоренную. Три дня пусть пьет. Скажи — лекарство. И три дня никому ничего не давай — ни соли, ни спичек, ни хлеба.

На том и расстались. И досадно было Татьянке, что это не ее умение накануне силу показало, и радостно, что греха на ней за дитя нету.

Наутро прибежала Настя — довольная, улыбается.

— А моя же ты Танечка, спасибую, золотко. Как рукой хворь сняло. Спал спокойненько всю ноченьку. Спасибо, вот спасибо! Я колбаски и яечек принесла, дай тебе Бог здоровейка.

И тут же пожаловалась по секрету, что откуда ни возьмись вскочил у нее на том самом месте, на котором сидят, здоровенный чирей, да такой злющий, что день-деньской должна на ногах проводить, потому что можно только или лежать, или стоять. Пришлось Татьяне скрепя сердце тот самый чирей на стыдном месте подруги и лечить, вспоминая неудобным словом свое горшочное колдовство.

Помирились подруги. А Мышка... Скоро про него брат Кузьма все подтвердил.

Мышка, средний сын (продолжение)

Когда старший брат подтвердил ей про Мышку, стала мать думу думать. Поняла, что к чему, — послала Лёдика за Михалом. Тот жил отдельно, с женой и ребятами — двое было у него. Пришел не сразу, отвык подчиняться, но пришел.

— Голодаешь? — спросила мать.

И что бы он ей ни ответил, она наверняка знала, что голодает. Он всегда голодал, это от войны осталось.

Все тогда было, в войну — и кровавые поносы, и зимы напролет, когда спасались только тем, что лежали на полатях недвижимо, чтобы последние силы в себе не жечь. И ночи бессонные, когда неизвестно было, услышит ли Всевышний твою материнскую молитву о детях. Весной, на севе, резали сэкономленную семенную картофелину на дольки, а то садили одни картофельные очистки с глазками в глухих местах огорода, не мотыжа по краям гряды сорную траву — пусть видит пришлый человек, что огороды в запустении и вряд ли там поживишься.

На всю жизнь запомнился ее детям хлеб из гниловатой, перемерзшей картошки с примесью желудей, оттого горький. И грибы они после есть не могли еще долго — опротивели за войну, пустые. Свеклу сырую грызли. Иногда выпаривали ее и пили со сладковатой патокой чай.

Изредка отец приносил ей из партизан пойманного петлей зверька или горсть орехов, но в отрядах сплошь голодали сами, много принести не получалось. Однажды прислал передачу с разведкой, которой было по дороге. Разведка при занавешенных окнах хлебала несладкий травяной чай, и запах зверобоя разбудил Мышку. Он поднял взлохмаченную голову с полатей и спросил:

— А дядьки весь хлеб не съедят?

Дядьки мрачновато посмеялись, и Мышка на некоторое время стал популярной у отрядников личностью.

Пробовали они кусок колхозной земли брать. Но при разделе бригадного добра, затеянном по команде немцев, лошади им не досталось. Дележка обидная вышла, нервная. Припомнили друг другу, кто активистом был, кто колхоз этот организовал, кто на кого доносы в НКВД писал, — одним словом, разругались подловато и недобро. И повисла над селом нешуточная угроза сведения давних счетов. Благо, было чьими руками сводить: полицейские, свои и пришлые, жили в клубе, а в соседних больших деревнях вдоль Варшавки гарнизонами стояли немцы.

Однако ночью село услышало, как за околицей сначала один раз, потом другой и третий, гулко и дерзко стрельнула русская трехлинейка — нарочно дали о себе знать партизаны. И горлопаны присмирели, подобрали языки. Намек они поняли правильно.

А дело было сделано, бригадное имущество расхватали, и коняку она с детьми не получила. Формальная причина была — «У вас кормить его нечем, подохнет». Будто они в тридцатом году своего жеребца не отводили на колхозную конюшню.

Пытались сами плуг таскать — бросили...

И вот теперь Мышка никак не мог насытиться, даже когда в доме стало хватать картошки и появилось сало на дни особо тяжелой работы.

Если старший сын Алексей хотел добра для всех — за это вместе с дедом гнил зимой в сыром лесу, в отрядных землянках, в малярийных болотах, куда их в конце концов загнали немцы, исходил простудными чирьями, плакал от жуткого страха под бомбами, когда лагерь обнаружили; стал злым, нервным и во имя добра не остановился перед злом. Если Вольгочка обычного тепла человеческого желала, и чтобы никто не смел кричать ей «кляйне швайн» и «сучка», то Мышка вечно хотел есть. Это осталось с ним навсегда.

Один он был такой? Не-ет. Может, потому и славится народ православный едоками, что вместе с частыми войнами приходил сюда и частый голод. А когда появлялись, наконец, кусок хлеба и к хлебу, то грех было не поесть вдоволь.

И боязнь голода с генами входила в новые поколения.

Когда Мышка жил еще у матери, та, зная его беду, лишний кусок ему подкладывала или с собой на работу давала горбушку, тертую чесноком. Теперь, выходит, некому беду его тешить. Жена — та сама войну перетерпела с приросшим к спине пустым животом. Дети — о них теперь у жены забота. Да и какая там жена, тоже мышка, дунь — споткнется. И надо же было сойтись таким одинаковым. Другой сам с пенек, зато жену выберет — защитницу, одному не обнять.

А по-своему хорошо, что мала. И с такой Мышка еле управляется. Однажды насмешили всех.

Гребли солому за мелиоративным каналом. В полдень, когда пригрело, молодые ушли к воде обмыться. Кто постарше — прилегли под стогом в тень отдохнуть. Молодая жена Мышки осталась наверху одна, солнца не боялась. Никто и не заметил, как Мышка очутился на несметанном стогу. Свалились они оттуда шумно, скатились оба прямо на головы испуганных баб. Молодица — в приличном виде, а Мышка — в исподниках. Несговорчивая, значит, досталась женка. Будь оба покрупнее — дошло бы до драки.

Молчал теперь Мышка. А когда корить его принялась — ужом закрутился.

— Ай, вот набрешуть. Селедца придумали... Стихни, мать. Ну и что, что посадят? Вот же не посадили. Ну, штраф дали. Ага, двадцатьпятку. От, стихни.

— Гляди, хлопец, — только и сказала. — Первый раз поскубли, а другой — потрошить будуть.

Один за другим вылетали из-под ее крыла дети. А разве стали оттого не такими дорогими? Алексей маялся в лесах Карелии, Вольгочка в сторону города глядела, не зная, что недолго ей быть в том городе. Мышка отделился, а что толку?

Вспомнилось матери, что когда вся ее гоп-компания еще носы рукавом вытирала, у Мышки была любимая поговорка. Обувались ли на улицу, ложки за столом к обеду разбирали или постилки на полатях перед сном, Мышка обязательно говорил: «Чтоб не перепутать, возьму чужое». И брал сапоги поцелее, ложку побольше да постилку потолще. Ему прощали.

А может, он ворованную колхозную картошку вспомнил?..

После войны, когда отец и свекор, ее помощники, дружно, почти в один год, померли, а родная мать со свекровью сами все больше нуждались в ее помощи, она несколько раз ходила весной в поле воровать только что высаженный колхозный картофель. Стоя на коленях и поминутно оглядываясь, находила его руками, боясь темноты и людей. А еще пуще — детей своих, которых надо было накормить, но не признаться, откуда взялась на столе эта картошка. Но на следующий год прошла поголоска, что семенную картошку протравили какой-то гадостью, и она перестала воровать.

Это она поначалу считала, что дети не должны видеть, как она ворует у колхоза картошку или солому из скирды. Потом уже брала с собой старших сына и дочь — одной много соломы не принеси, а зима долгая, кормить скотину надо. Может, старшие и проговорились младшим. И Мышка ту картошку и ту солому запомнил и понял как пример?

Или это Федькино легкое отношение к жизни? Тот тоже мог на рынке человека обкрутить-обвертеть, вокруг пальца обвести.

Или все же она сама его просмотрела? Ведь было, что жаловались ей на Мышку. То дед Захаревич рассказал, как гнался за ним на своих кривых ногах далеко в поле за то, что дети в сад забрались и сломали ветки груши. То сама видела — морковку отнял у сморкача. Она считала тогда — мелочи, перерастет, когда ей еще этим заниматься?

Всего один раз ее сердце тревожно сжалось из-за Мышки. Однажды в войну она взяла его с собой в поместье. Эконом поручил ей и Насте прибрать в кухне. Пока они скребли ножами широкие доски пола, Мышка сидел в коридоре на скамейке и стучал камешками. Мимо них повариха пронесла из панской столовой кастрюлю с остатками пшенной каши. Мальчик поднялся и пошел за ней следом. Повариха поставила кастрюлю в печку, сама вышла в другую дверь. Мышка никого и ничего больше не видел, мысли его были сосредоточены на этой сказочной кастрюле, из которой исходил такой аромат. Он открыл дверцу печки и, обжигая руки, выдвинул кастрюлю, снял горячую жестяную крышку, стал черпать остатки каши маленькой грязной ладонью, окуная пальцы в горячее нутро кастрюли. Каша комьями падала ему на босые ноги, налипла на лице, — он хватал ее жадно раскрытым ртом. И когда Татьянка, движимая неясным чувством тревоги, стала искать его и нашла у плиты, — она в первые минуты не могла, не в силах была остановить его, такая жалость нахлынула. Но она хорошо знала, чем это может кончиться, если зайдет эконом из бывших раскулаченных или нарвется пани, и остановила сына. Мышка вырывался молча и зло, как диковатый зверек из леса. Унесла его в сени, спрятала за пустую бочку и пошла упрашивать городскую повариху, чтобы та не проговорилась.

В Яковиной Гряде отродясь не водились воры, разве что сноп пустой кто в поле прихватит на подстил скотине или свекольной ботвы наломает притемком на артельных нормах. Но чтобы по сумкам, карманам у людей шарить — такого отродясь не было. Уходя из дому, никто дверь не запирал толком. Палкой прислонят снаружи, чтобы видно было — хозяин ушел, нечего и сени открывать. В хорошие годы под крышами на окоренных шестах колбасы на солнце дозревали, на углах домов и колодезных «бабах» сыры в марле сохли. Никто ничего не прятал. У денег свое законное место было — на дне сундука с бельем. Если у кого водилось золото — тот, конечно, находил местечко, чтобы прикопать горшочек: под досками пола в красном углу, а то и под полатями, где же еще.

Потом, когда денег ни у кого не стало, прятали от стороннего глаза только самогон. Такой это свинский продукт, что на чужих глазах быстро уменьшается в объемах, улетучивается.

Самая большая потеря, которая могла ожидать хозяйку, — выпитое хлопцами за ночь молоко. Возвращались с гулянки из соседней деревни голодные, доставали отстойник из первого попавшегося колодца, приложились каждый по разу — вот и донышко показалось. Если пустой отстойник обратно в колодец не швырнули и остатки молока туда не вылили, отчего в колодце вода портилась, — хозяйка ничего, особенно и не ругалась утром...

А Мышка попался еще дважды, но все по-мелкому. Пачку макарон из лавки выносил, но был пойман. А то в винном погребке у Косого мостика пиво выпил, а заплатить скрутил, но догнали, прямо на Косом мостике. Правда, на этом вроде и завязал, потому что в милицию больше не звали, квитанций на штрафы не присылали. Милицейский капитан, к которому каждый раз его приводили, кажется, тоже понял, в чем тут дело. Попросил капитан знакомого директора, и тот взял Мышку в город весовщиком на мелькомбинат. Работа бабья, ему под силу, а главное, всегда можно сунуть в карман толстовки желтую твердокаменную плитку макухи и весь день высасывать ее, глотать вязкую, горько-сладкую жирную слюну.

Тот же капитан зашел в весовую через день-другой. Сказал Мышке:

— Учти, Метельский, своруешь больше того, что за смену обслюнявить можно, будешь там, где и брат. Гарантирую. А в тех лагерях с харчами не густо. Я тебе в дело все подошью — и селедку, и макароны, и пиво. Мне кажется, не с твоей богатырской фигурой по тюрьмам ломать. Но я тебя не жалею. Попадешься, гад, — хрен с тобой, пойдешь гнить. Гарантия. Так, для объективности рассказываю. Чтобы потом не говорил, что не предупреждали. Ну, будь здоров.

Хлопнул по плечу так, что плечо потом два дня болело, и ушел.

Бросил баловать Мышка. Года три грыз втихаря макуху — прессованный льняной жмых, пока вконец не опротивела. Да так, что смотреть не мог в сторону желтоватого от макухиной пыли склада. Идя по улице после смены, прикрывал от людей ладонью пустой карман фуфайки. До того напиталась одежонка макухиным жиром, что пятно из серого стало черным. Как-то выровнялось у него дома с харчами, и приносил он теперь с собой на смену узелок, и ел смело свое, не прячась. Угощать не угощал, но на одного хватало.

Младшая дочь

— Мати, кур я выгнала. Все на свете стоптали. Мати, а что такое «муж»?

— Человек. Ну, мужчина. Руки, ноги, борода, табак. Принеси лучше картохи почистить.

Никогда не видевшая в доме мужчину, она не знала, зачем он. В шестнадцать осталась угловатой, даже — грубой, и отпугивала деревенских ребят своими не девичьими повадками. Даже на самых лучших танцах, когда в помощь гармошке нанимали цимбалы и сопелку, Татьянина Катя сидела на скамье, щелкала семечки и сплевывала шелуху под ноги кавалерам, пытавшимся ее пригласить. На всех без исключения хлопцев она смотрела вприщур, поджав губы. В круг ее можно было выманить только на краковяк или польку. На ту игривую, неуемную мелодию, которая ломала в ней какую-то плотину равнодушия, может, даже и напускного. Но если она и выходила с парнем в круг, то обязательно вела его сама. И получалось так, что она была кавалером, а он — барышней. Катерина сразу клала свою правую руку ему на талию, левой подхватывала его правую, сковывая таким образом всякую инициативу, и при-

нималась крутить парнем, если это была полька, или водила на расстоянии вытянутой руки и к тому же требовала приплясывать, если играли краковяк. Попав в такое глупое положение, парень потом сторонкой обходил скамейку, на которой она восседала.

Несколько раз ее пытались проводить с танцев домой, но она всегда убегала. А когда однажды настойчивый жених заранее ушел из клуба и дождался ее у калитки, она молча подошла и вдруг без разбегу сиганула через дощатые ворота рядом с калиткой, только белые икры мелькнули под широким платьем да быстрые сандалии простучали по доскам ворот, считая поперечки.

Над их домиком высились березы. Самый малый ветер обязательно запутывался в их листве, и она, словно сделанная из металла, шумела, шумела целыми сутками, даруя ушам сладостную музыку, а душе успокоение.

Однажды поздним вечером через открытое окно, заслоненное распушившейся сиренью, мать услышала голоса с улицы, то заглушаемые березовым шумом, то снова отчетливо различимые.

— Чокнулась ты на своем Данике. Ну, Данила как Данила. Уши да задница. Чего там особенного? Бегаешь следом как привязанная. Он на покос — ты на покос. Он в клуб — ты в клуб. Он из клуба — и ты на улицу, платочком в обмережечку вроде как обмахиваешься. Жарко ей. У-мора. Он скоро как поймет тебя — спасу не будет.

— Вот, легко тебе рассуждать, Катька. Если ты на них и не глядишь.

— И ты не гляди. Мне дурно от них всех делается. Каждый из себя героя строит. Коля Микитов штаны широкие у матроса купил, улицы клешем метет. Ко всем с кулаками лезет. Сеня Брехуновых на горячую проволоку волосы завивае. А чего ж они у него такие кучерявые? А у Даника твоего вечно палец в носу.

— Ай, ну тебя, Катька, скажешь тоже. Понравится тебе который — ни на что не посмотришь. Нос — у всех есть, нечего придираться.

— Не понравится. Я зарок себе дала: не связываться. Меня от одного табачного дыма выворачивает. А если еще и сивухой дохнет который — убила б, кажись, на месте. Паразита такого. И вообще от них молодой псиной воняет.

Подруги хохотали, потом приумолкли вроде или на шепот перешли, и мать, поулыбавшись, перестала вслушиваться. Ей показалось, что Катька ее странной какой-то растет. Похоже, мужчины остались для нее воплощением той грубой силы, на которую она насмотрелась за войну. Или чем другим душа ее покалечена до такой степени, что мало девичьего, женского в ней осталось, и одно только желание ей ведомо — защищаться, не дать себя никому в обиду или хотя бы в малую зависимость.

Ничего, думалось матери, перебесится, не налетела еще на своего.

Не умела мать ее уговаривать. Да и вообще она никого уговаривать не могла. Не сумела всем им, своим, так про жизнь сказать, чтобы они поняли, как надо жить. Что такое особенное она могла сказать Вольке, когда та на мельницу к Силе Морозову бегала? Ну, не одобряла ее, ругала, а что с того? Потом, когда Сила отпал и появились электрики, она совсем ничего ей не говорила, молчала, хотя все это ей не нравилось. С Мышкой — что, она как-то особенно толковала? Простое же дело, что тут долго толковать — вором стал сын. Ей казалось, сам должен понимать. И жалко было, ох как жалко было его, что голодает... Путаница поселилась в голове. Воровать нельзя, стыдно, посадят. Голодает — настолько его жалко, что жальче всякого стыда.

Катька вот тоже с перекосами, как ее понять? Как понять, чего ей хочется, и как предостеречь, и самой быть понятой? И передать им свой страх.

...Эту крепость взял с великим боем года через два свояк тех же Брехуновых, Андрей Стружинский, успевший примаком пожить у вдовы Тимаевой. Не считалась на селе его связь серьезной женитьбой. Так, пригрела хитрая баба молодого непугливого парня, приняла на «практику».

Видно, было в роду Брехуновых что-то такое, за что Катька и выделяла их одних. Сеньку-то она хоть и затолкала в канаву с водой по самые колени, а вспоминала о нем в разговорах с матерью часто, да где он, Сенька? Как уехал на целину, так и не показывался целую вечность. Домой приехал в отпуск мужиком, в заправленных в сапоги суконных штанах, когда молодость отлетела белым голубем в чистое небо. Семью с собой привез, родину показать. Так что прошла его судьба стороной, и говорить особенно не о чем.

Андрюшку она тоже не сразу к себе подпустила. Убегала от него долго, и свадьбу их негромкую сыграли нескоро.

Характер свой Катька показала уже на свадьбе. Из Слуцка, где регистрировались, ехали в Яковину Гряду одним небольшим автобусом. Кажется, это был еще коробок с далеко выступающим вперед мотором — старая фырчалка, и единственная дверка в нем открывалась длинной железной ручкой, похожей на рычаг.

В разгар субботнего дня носатый автобусик въехал со включенным клаксоном в створ переулка, образованный с одной стороны дощатым забором школы-четырехлетки, с другой — штакетником Хвисевой усадьбы. За переулком круглилась площадь, от которой тянулись улицы-дороги в три конца. Здесь, при въезде на площадь, и встретила их по доброму обычаю застава. Поставила поперек дороги стол, одолженный в бригадном клубике, и тем, кто был в автобусе, сразу стало ясно: за невесту требуют выкуп. Чтобы жених со спокойной совестью мог гулять свадьбу, а те, кто имел на молодую какие-то виды, чтобы утешились, получив причитающийся выкуп, и гуляли с легким сердцем.

Автобусик медленно выжимал из себя гостей, из-за стола их шутливо поторапливали:

— Говорили, сваты едуть, а они — пешком, с разеватым женишком...

— Не дадите золотого — отдубасим молодого. Как посадим под столом — обольем киселем, — выглянуло из-за мужских спин конопатое девичье лицо.

— Выкуп, выкуп за невесту, а то не пропустим. А что ж вы думали? На дармовщину?

— Барыш, братка, давай, и все тут.

Застава выставила на залитую чернилами фанеру клубного стола бутыль с сивухой. Рядом положили булку хлеба-самопека и поставили солонку с солью. Один из заставских, в широких галифе, пошарил рукой в мешочной глубине кармана и выложил длинный, в две пяди, худой огурец, вызвав прилив молодого здорового хохота по обе стороны стола. Кто их знает, подвыпивших уже мужичков, что им померещилось в длинном худом огурце. Стали задирать свата.

— А сказали, сват богат. Однако сватко скуповат.

Сват поторговался для видимости, заранее зная, что бесполезно, и нырнул назад в автобусик. Вынес корзину, покрытую рушником. Достал бутылку дорогой казенной водки и поставил рядом с сивухой.

— Хватит? — спросил, будучи уверенным, что ни за что не хватит.

— Не-е-е, — разочаровалась застава. — Дак он порядка не знает. Ставь по одной на каждый угол стола. И то мало будет за такую девку. Погляди, что за кубатура!

Сват, важничая, принялся с отговорками вынимать новые поллитровки, на этот раз дешевого «плодовоягодного» вина, и расставлять на углы стола. Выложил несколько банок консервов, кольцо колбасы, головку голландского сыра.

— Вот так приличней, так можно и разговаривать, — растопырил свое галифе и сразу стал похож на морского кота тот, который всем здесь, чувствовалось, заправлял. Но тут свата отстранила в сторону чья-то крепкая рука, на передний план выступила сама невеста, взяла назад со стола две бутылки вина и головку сыра.

— Я свою цену сама знаю, — сказала она, вернула свату растолстевшую опять корзину, подняла стол за края крышки и отнесла в сторону. — Поехали, нечего тут... Этим пьяницам залить глаза хватит.

Дородная, грудастая, с высокой фатой над круглым рябоватым лицом, с резкими смелыми движениями, она смутила всех. И застава, и гости были обескуражены таким поворотом дела, как быть — не знали, и поэтому одни отошли в сторону, переглядываясь, другие, тая улыбки, затолкались назад в автобус и поехали помалу ко двору молодого, посматривая на Андрюшку и понимая, что половинка их родичу досталась не мямля.

Шаферки, невестины подружки, закрыли округлившиеся от удивления рты и вспомнили про свои обязанности, затянули-заголосили застольную, возвещая селу о прибытии свадьбы:

Ой, звала-звала Катя матульку:
Подари мне, мамка, серую зязюльку.
Серая зязюлька рано разбудить,
Меня, молодую, за то не осудить.
Свекровка разбудить — сама и осудить:
«Наша завала йшчо не вставала,
Глаза бесстыдные не умывала...»

И еще что-то про княгиньку молодую. А Андрюшка потемнел лицом, в действиях своей невесты он усмотрел подрыв собственного мужского авторитета и думал: не учить же тебя здесь, на глазах у свадьбы, но от этих замашек я тебя отважу.

...Как у них продвигалась та учеба, мать точно не знала, жили они отдельно. Но, кажется, повод для нее Катька давала часто. Бывая у них, мать видела их постоянное ожесточение друг против друга. Иногда они подолгу не разговаривали, даже при ней. Она старалась не замечать на лице Катьки синяки... Вспоминала свою семейщину, заговаривала об этом с дочерью, втолковывала ей про Вольку, которая тогда еще была жива и так хотела иметь своего мужа. Но Катя отмахивалась, считая мать ничего в этих делах не смыслящим человеком. Дочь не видела ее семейной жизни, а только все одну да одну. И мать не была для нее в этих делах авторитетом. Отговорка у нее все та же:

— Я этим вахлакам не уступала и не уступлю. Ни-за-что.

Вахлаками она называла всех мужчин.

— Эх, дочка, — отвечала ей расстроенно мать, — собака и та на хозяина не лает.

— А воробей и на кошку чирикает. От.

Понимала Татьянка, что ее Катя по-своему пострадала от войны. Мало добра видела, ласки — в семье и от людей. Неудивительно, что такая неспособная к жизни. Все равно как душу живую из нее вынули. А без этого человек кто? Чурка. Боже-боже, думала она, доня ты моя, доня, такие люди, как ты, — они ведь несчастные. И других несчастят.

Знала, догадывалась мать, что беды на семью — от войны. Не будь ее — и Федор, глядишь, нашелся бы. Не утерпел бы, вернулся. И детям душонки их

хисткие никто бы не отравил, вырастила б их людьми, нашла время и ума горсточку.

Война ей и внуков попортила — от больных, психованных детей нездоровые родились внуки, ох нездоровые. Издерганные, нервные. Хворают часто. То животы у них болят, то носы текут, то зубы валятся. Во скольких еще поколениях отзовется тот страх, что пережил народ?

Казалось ей: на земле, потоптанной войной, долго не будет счастья, зови не зови. Зови не зови...

Скоро Андрюшка, утомившись душою, ушел назад к вдове Тимаевой. На этот раз надолго.

Младший сын Лёдик

Была у нее еще одна заботушка — Лёдик. Любитель выпить и подраться на танцах с ребятами из соседних деревень. Такое странное имя он дал себе сам — в детстве хронически не выговаривал Володик. «Как тебя зовут, мелкота?» — «Лёдик».

Небольшого роста, коренастый, имел он, выпивши, жутковатый вид. И не только оттого, что смело глядел серыми глазами, явно выбирая, с кем бы стукнуться. В детстве, когда мать постоянно была в поле, он однажды сладко уснул на горячей печи, да так сладко, что не почувствовал, как испек щеку. Когда все же ощутил боль, то всего-навсего повернулся на другой бок. И испек другую щеку. Два красных пятна-ожога, каждое величиной с гусиное яйцо, навсегда остались на лице. Когда он пьянел или злился, пятна эти темнели, напоминали боевую раскраску индейцев с Ориноко, и вид у Лёдика был страшноватый.

Его воинственность скоро надоела красносторонцам. Однажды не выдержал Стась Оленин — огромного роста и немалой силы мужик. Когда Лёдик в очередной раз устроил в клубе пьяную разборку, Стась весь затрясся, подбежал, схватил его за грудки и сказал своим громким голосом, который на пол-улицы слышно:

— Кончай, Лёдя, я тебе честно говорю. А то дам раз об землю, и успокоишься. Хватит детей пужать.

Лёдик тогда послушался, но ненадолго. И довоевался. На улице темным дождливым вечером сунули ему заезжие-захожие ножик в неприкрытую товарищами спину — в горячке с ножом в спине в клуб и зашел. От Лёдика девки шарахнулись с визгом — он погрозил им пальцем и свалился.

Везучим оказался Лёдик. Минуло полгода — опять на танцах с дрекольем за молодняком из Дубровки погнался.

Тогда мать решила его женить. Простой способ приструнить молодца: пусть на бабу свою силу тратит. С помощью деревенской свахи подобрала подходящую, на ее взгляд, невесту. За рекой, в Кальчицах, сидела в девках, как перезрелый огурец-желтяк, грудастая и голосистая, злая на язык молодайка.

Стала мать наставлять-подговаривать Лёдика:

— Поедешь, сынок, жениться — не ставь коня под калиной. Калина — дерево несчастливое. Ее корень водой моет, со средины калину червяк точить, в цвету калину девки ломали, а ягоды птицы клевали. Ставь коня под явором. Явор — дерево счастливое, на его ветках соловей поет, в середине пчелки живуть, из комлей его меды текуть. Как приедешь девку сватать — первую чарку не пей. Коню на гриву черную вылей. Чтобы гривонька дубом стала, теща зятя не признала, паничком назвала...

Долго ходила вокруг него кругами, уговаривала. Выправила-таки в сваты. Знать бы ей, старой, что явор — тоже дерево невезучее...

Взяли сваты с собой горелицы, приодели жениха в галифе и белую рубашку, велели нагуталинить сапоги и поехали ту девку за Лёдика заманивать.

С отцом и матерью грудастой было заранее столковано, и сватов ожидали. В печке свиная ароматная потрошанка дозревала на широкой, вычерненной огнем сковороде, а в погребке стыло сало с алой прослоечкой, полосками нарезанное. Огурцы из бочки нетерпеливо высунули зеленые носы. Хозяева выставили присмаки на стол, как только из кармана свата проклюнулась белая головка бутылки «Московской».

И пошел торг. Начала мать невесты. Загружая стол солониной, спросила, как и положено:

— А хто ж вы такие и чьи будете, какого вы хотя роду-племени?

— Мы-та? Хоррошаго роду, — отозвался сват. — Пьем горелку, як воду.

Невеста сидела за перегородкой до поры до времени, а когда вывели напоказ — застеснялась, прикрыла свою большую грудь яркой хусткой.

Сладили. После трех заговорных рюмок хозяйка на полдороге от печи до стола притопнула ногой, переводя беседу в менее прагматичное русло; притопнула другой, приговаривая:

Худо-худо на чужой стороне,
Там не любять чужаницу — мяне.
Надо, надо им горелки купить,
Можа, будуть чужаницу любить.

Сват не утерпел, выскочил из-за стола:

Тупу-тупу каля дежечки,
Уродили сыроежечки.
То ли нам сыроежечки брать,
То ли нам молодицу искать?..

Стал Лёдик жить в Кальчицах. Первое время теща не могла им нахвалиться. Говорила бабам в поле:

— Зять вельма ж хороший попался. Чарка в чарку пье со мной.

Потом зять принялся наводить в тещином доме свои порядки. Да не рассчитал. До него тут люди дольше вместе жили, были друг другу ближе. И когда Лёдик сильно зарвался, его молодая жена, мужем до того не битая, детей не рожавшая, здоровьечка не тратившая, развернулась по-молодецки и саданула ему раскрытой пятерней в нос. Из глаз сначала звезды посыпались, следом слезы полились, из носа — кровь ручьем, и пока ослепленный Лёдик вытирал кровь и ругался, она пихнула его что есть мочи в грудь, сшибла на пол. Там подмяла под тяжелый, литой зад, зажала между ядреными коленями и отдубасила кулаком по взлохмаченной макушке так, что голова Лёдика два дня гудела пустым чугуном.

Теща в это время подло обрабатывала его задницу — ремешком, ремешком, ремешком из супони. Лишь тесть никакого участия в карательной акции не принимал, сохранял нейтралитет, от которого Лёдику было не легче — спокойно курил самосад в углу комнаты.

Вылузавшись из тугих колен-клещей жены недозволенным приемом, Лёдик, не оглянувшись, лягнул тещу и, поднявшись, подошел к тестю, с достоинством пожал ему руку. После этого за минуту сгреб в крупноячеистую авоську свои небогатые пожитки, сказал запыхавшимся бабам «У-у, падлы!» и двинул из примов назад, в Яковину Гряду. Или в Красную Сторонку, кому как нравится. Шел и всю дорогу горланил на разные лады один и тот же запев. Короткий, но, как ему казалось, очень правдивый:

— Примач-чий хлеб — собач-чий. При-их-матчий хлеб — со-бач-чий.

В Красной Сторонке на перекрестке улиц стояли мужики. Узнали Лёдика еще издали, как только он начал спускаться с погорка. Свояк свояка видит издалека. Подошел — спросили:

— Куды выпрямился? К мамке за крошками?

— Дак примачий хлеб — собачий, — коротко пояснил Лёдик, угостил всех белой семечкой и пошел здоровкаться с родной мамой. Вслед ему бросили:

— А ты не верил.

Мать пыталась их помирить. Не удалось, даже когда в Кальчицах родилась от Лёдика девочка. На все уговоры сын отвечал одно и то же — про собачий хлеб. Тогда мать пригрозила, что жену его с ребенком заберет к себе, приведет жить в свой дом. Лёдик встревожился, попросил:

— Не надо. У нее ноги — осьминоги. Тиски, а не ноги. Уеду. На БАМ, к едрене фене.

Запечалилась мать: Лёдика род обрывался на самом Лёдике. Его ребенок не будет греть ей душу своим щебетом, радовать уже одним тем, что жизнь продолжается внуками. Она понимала: в чужой деревне, не на глазах, внучка останется чужим для нее человеком. Повторно женить Лёдика она уже не могла — грех сиротить это дитя при живом батьке.

К семье он так и не вернулся. Алиментов с него не потребовали. Встречая изредка в городе тестя, он каждый раз ставил ему в пятой столовой бутылку белой — то ли за то, что дочь его растил, то ли за то, что когда-то не поднял на него руку.

Если тещу встречал — отворачивался. От свиданий с молодицей Бог миловал.

Письмо

Всю зиму Татьянка проболела. Сильно смутил ее своей догадкой Слыш. Для нее это стало потрясением. Сидела одиноко в доме, на улицу выходила редко. К весне, однако, приободрилась. К весне все живое крепчает, с солнышком встречи ждет.

В доме сумерки сгущались. Лишь икона в красном углу белела обкладным рушником, а лика Господнего было не различить. И только зеницы Его очей жгли ее уже третий день — ночью и днем, и в таких вот вечерних сумерках. Она всегда отзывалась душой на свет этих глаз, только нынче был он иным, иным, а она не поняла, что не случайно нашел Господь ее своим взглядом среди тысяч других людей. Не поняла призыва и лежала спокойная, умиротворенная, устав бороться с жизнью, но и не желая торопить ее уход. Рассматривала стоящую на подоконнике шкатулку, сшитую кем-то из дочерей из открыток — толстыми мохнатыми цветными нитками, крупным стежком, вылинявшую давно, но она к ней привыкла и выбросить не позволяла. Думала о своих детях, ей жаль было их покидать одних. Хотя она слабо вмешивалась в их жизнь, однако молилась за них, а когда за человека молятся, ему намного легче жить на свете.

Вспоминала их маленькими, беззащитными, держала их опять на своих руках — голопопых, широкоротых, сопливых. И разговаривала с ними и с собой.

За окном слышны были несмелые птицы, но ей больше нравились цикады, и она хотела бы их дождаться. Летом цикады звенят долго, почти всю

ночь, и умолкают к утру, когда сон сморит, наконец, и ее. Всю жизнь цикады, как и ветер, были долгими ночами ее собеседниками. Не люди, а цикады и ветер.

Да нет, она не мучила себя присказками, ей это ничего не стоило — повторять, что само всплывало из глубин памяти. Она думала о своем, а все эти считалочки, забавки, слова из песен ее деревушки текли сами собой, как мелодия из накрученного патефона.

За поросшими сизым мхом стенами старенькой скособоченной хатки угасал еще один день, неотвратимо уходил медленными шажками в какие-то дальние недоступные дали, к другим людям, и нес им солнечный свет и новые надежды. А на что было надеяться ей? На легкую смерть? На добрую людскую память? На горькие слезы детей над ее телом?

Странно было слышать в затемненном, сумеречном, глухом доме скрипучий старушечий говорок. Было бы кому удивляться — непременно послушал бы и удивился. И сжалось бы сердце человека от жалости к одинокой этой душе.

В сенях кто-то завозился, вытирая ноги о половик. Нет, не Лёдик, подумала она, Лёдик обувь никогда не вытирает. Какая есть, в такой и сунется к образам.

В просвете двери вырисовалась худенькая фигурка необычайно подвижного человека. Человек привычно пошарил рукой по стене и щелкнул выключателем. У матери на сердце легло что-то горячее, тяжелое. Она молчала и смотрела на почтальонку, пока та, поздоровкавшись, озабоченно рылась в своей жеребной сумке, а потом явно неохотно расставалась с ярко-синим, узким и длинным конвертом. Почтальонка была своя, местная. Всегда, прежде чем отдать человеку письмо, она непременно прочитывала его дома, даже если для этого приходилось придержать письмо на вечер или два. И разносила чужие новости по селу в собственной аранжировке, вместе с газетами. Часто свежую новость о своих детях бабы прежде узнавали у колодца, и только потом она подтверждалась опоздавшим письмом.

Этот конверт с зарубежными штемпелями письмоносица вскрывать поостереглась, хотя и очень хотелось.

— О, баба, табе уже иноссранные кавалеры пишуть, — съязвила она, вымещая досаду. — Раньше посадили бы нас на пару с тобой у гнилую кутузку.

Татьянка слишком долго дожидалась весточки, чтобы разговаривать на эту тему с чужим человеком. А она почему-то была уверена, что пришло, наконец, то самое ПИСЬМО, которого она ждала ВСЮ СВОЮ нескладную ЖИЗНЬ.

Протянув руку, старуха молчала. Когда ей подали, наконец, конверт, стала считать минуты, пока почтальонка уйдет. А та опустилась на скамейку у ведра с водой, положила на колени свою жеребную сумку и тоже ожидала, когда письмо начнут читать. Молчали. Почтальонка спросила:

— Может, прочитать тебе, баба?

Была она маленькая, из-за сумки виднелась одна бестолковая куриная головка, наглухо укутанная серым шерстяным платком, и старуха подумала, что если швырнуть в нее клюкой, то вряд ли толком попадешь.

— Я сама, помаленьку. А ты иди, Зина, дальше. Иди с Богом. Тольки свет не гаси.

— Ну, баба, икона у тебя сегодня светится... И лампочка Ильича не нужна.

Почтальонша вышла не прощаясь. Во дворе, под окном, она зычно высморкалась.

«Татьяне Метельской. Яковина Гряда, Слуцк. Белоруссия.

Здравствуй, Таня. Надеюсь очень, что ты еще живешь на этом свете, как живу и я. Но даже если тебя нет, а это могло случиться много раз за все долгие годы, я должен поговорить с тобой. Это нужно мне самому. И дети мои, кто из них живет, могут узнать кое-что обо мне. Ведь они мои дети.

Это я, Тодор...»

Татьянка отвела от глаз руку с письмом. Она сразу поняла, кто такой этот Тодор. Так я и знала, подумала она. Так я и знала, он живой. Этот Хитрик все бесконечно долгие годы был жив, слава Богу, а она так боялась за него. И даже забрался не куда-нибудь, а в самую Америку, чтобы получше спрятаться от нее и их детей. Ну и...

Она хотела его выругать и даже не читать письмо дальше. Но с удивлением обнаружила, что в душе не накопилась злость на мужа. Она прислушалась к себе и не обнаружила какого-то особого смятения чувств. Она была, пожалуй, слишком спокойна. Она ведь всегда убеждала себя, что Федор должен быть живой. И вот теперь она просто получила этому подтверждение. Что ж, судьба поступила по отношению к ней милосердно. Было бы обидно умереть, так и не узнав, что случилось, что произошло много лет назад, что сталось с ее Федором. А узнать необходимо, чтобы подвести жизни итог, только и всего.

Значит, Америка. И не Канада, где у него дядья со своими большими семьями. И не Германия, где доживают век искалеченные солдаты. А она за свой собственный век не выбралась даже в область. Сразу — хотелось, было любопытно, потом стало боязно, потом — стыдно за свои простые одежды. А потом уже и не надо. Один раз проехалась по белому свету, когда старшего сына выручала. Но тогда с испугу она мало что увидела.

Она собралась с духом и принялась читать дальше, с трудом разбирая слова. Что ни говори, а писем он не писал ей никогда.

«Это я, Тодор.

Я понимаю, что у тебя есть право не читать это письмо. Возможно, оно тебе уже просто не интересно — столько лет прошло, кому интересна жизнь человека, ставшего чужим? Может, ты и замуж еще раз вышла, и родила новых детей, и я для тебя совсем посторонний человек. Будешь долго вспоминать, кто это такой. Но я тебя прошу, я прошу всех вас: прочтите несколько страничек. Это очень нужно мне, вашему старому мужу и отцу. Пришла пора собираться, как у нас в деревне когда-то говорили старики, «домой». Запомнил на всю жизнь надпись на камне на погосте в Яковиной Гряде: «Не гордись, прохожий, навестить мой прах. Я уже дома, а ты еще в гостях».

Тогда, в 1937 году, когда меня забирали милиционер Шилович с солдатами, «хапун» был повальный, и моему конвою нужно было арестовать еще кого-то. Помню, Шилович по этому поводу ругался, что-то ему не нравилось. Жаловался товарищам, что лично он не управляется таскать «гадовье». Странно, но этот служивый человек с лошадиной головой и длинными, до колен, руками, одетый в потертую кожанку, из-под которой выглядывал маузер в деревянной кобуре, не стеснялся при мне и солдатах ругать свое начальство. Наверное, он был очень заслуженным работником.

Заехали, кажется, в Козловичи. А иногда мне думается, что это были Лесуны, которые хорошо видны из нашего огорода. Остановились около совсем маленькой хаточки. Просто одна комната с окошком и порогом. Все пошли во двор, а самого молодого оставили караулить меня. Когда они вошли, в этой хатке крепко зашумели. Мой конвоир соскочил с воза и отошел к забору, стал

через окно вглядываться внутрь дома, где светилась керосинка. В это время там заголосила баба и, похоже, солдаты начали кого-то бить. Загремели ведра, хряснуло (видите, какие слова я помню?) что-то деревянное. Потом сшибли керосинку, в домике стало темно, там громко закричали.

И вот тогда мне стало страшно. До этого я особенно не волновался. Я знал, что на мне нет вины, я ведь никого на тех хуторах не убивал, и бояться мне нечего. А когда там началась драка и стало темно, а еще заголосила баба — дико заголосила, как по убиваемому при ней родному человеку, мне стало жутко.

Я тут же вспомнил о мужиках, которых Шилович со своей командой уже забрал в нашем селе раньше. Всегда почему-то забирал именно Шилович. И больше о судьбе мужиков никто никогда не слышал. Это могло означать только одно — что их нет в живых.

Я недолго колебался. Ты ведь знаешь, Таня, молодой я был отчаянный. Тихонько спустил ноги с повозки, отошел к забору, в его тень, развязал поясок на портках, словно по малой нужде, а потом оглянулся и — вприсядку, вприсядку отбежал в темноту, уже совсем густую. Успел с улицы перелезть через забор в огороды, пока мой конвойный, отвлеченный на время шумом в доме, хватился меня. Когда он начал стрелять во все стороны и кричать, чтобы я, растакую мою мать, немедленно вернулся, а то он выпустит из меня «все кишки вместе с говном», я уже бежал в темноте по огородам. И в тот миг начинал понимать, что меня никто не видит и догнать вряд ли сможет. И бежать старался нешумно, чтобы не привлечь внимание собак, которых в деревне было полно, и не выдать себя. Они и так устроили настоящую собачью свадьбу. За минуту все сделалось — мое решение и мой побег, я к этому специально не готовился, так вышло само собой. Обо мне чудным образом позаботился Всевышний. С той минуты я стал верующим человеком, и это спасало меня всю мою дальнейшую жизнь.

Я часто думал потом и сейчас думаю, что было бы, не случись этой благословенной минуты. Скорее всего, давно сгнил бы в большой братской могиле в слуцких лесах, остался бы один белый череп с дыркой во лбу или в затылке — вот и все варианты.

Наверное, своим побегом я здорово навредил тем людям в хате, и солдаты, скорее всего, посадили на воз их всех. А может, кого-то и убили под горячую руку. Навредил, думаю, и вам. Но так случилось, взвешивать свои поступки мне было некогда.

Когда я убедился, что им меня не поймать, сел в лесу на землю, приткнулся к дереву, чтобы обезопасить себя со спины, и стал думать, что делать. Мне очень хотелось вернуться домой, к вам, и забыть этот кошмар. Я, взрослый здоровый мужик, наплодивший кучу детей, полночи плакал, так хотелось домой. Мне очень хотелось к вам — к тебе и детям. Это была ситуация из тех, когда человек знает, что нельзя, и все же идет. Но я хорошо понимал: своим побегом теперь уж точно нарушил законы, которые придумали и защищали люди, что приезжали за мной на телеге. И дорога домой, пока они при власти, мне заказана. В ушах долго стояли звуки борьбы, вспыхнувшей в маленькой хатке, когда погасла керосинка. Возможно, сам хозяин и сшиб ее — хотел убежать, только у него не получилось. А у меня получилось, я был на свободе.

Вокруг стоял глухой ночной лес, я на время потерял ориентацию и не представлял, в какую сторону мне безопаснее идти. Я вообще пока не знал, куда идти и что делать».

Однако, подумала Татьянка, как же давно это было: «вокруг стоял глухой лес». Нынче в тех местах только голое поле, лес темнеет узкой полоской у далекого горизонта, за железной дорогой. Ближе и не ищи.

«Я хотел остаться в живых сам и не хотел подводить никого из вас. Ни тебя, ни детей, ни родственников, которых было много по окрестным селам. К ним я тоже пойти не мог. Не знаю, где они теперь, имена и лица не вспомню. Как и не знаю, где мои собственные дети.

В конце концов я тогда решил, что мне лучше уходить на Запад. В этой стране меня все равно бы нашли. А в Западной Белоруссии, подумалось, буду и от дома близко, и, если повезет, в относительной безопасности.

Дождавшись зыбкого рассвета, разгляделся и пошагал мокрым от росы бором в сторону Клецка. Там, если ты не забыла, в ту пору была граница с поляками.

Еще до нашей с тобой свадьбы у нас дома работал Стась, поляк с хутора из-под Клецка. Приходил он с котомкой каждую весну и оставался на лето и осень. Осенью мы всегда давали ему телегу, на которую грузили все, что он заработал — мешки с зерном и картошкой, сало и другие продукты для его семьи. И я ехал с ним на его хутор, чтобы забрать назад лошадь и телегу. Тот человек хорошо ко мне относился. И несколько раз за выпивкой по секрету говорил, что у него в Польше живут родственники.

Он мне помог.

С первой попытки перейти через границу нам не удалось: утром на болота осел густой туман, и мы не рискнули лезть в трясину на ощупь. Легко было заблудиться и пропасть. Вернулись на хутор, я отсиделся на чердаке сарая, и уже назавтра перешли кордон по болоту. Стась привел меня в какую-то приграничную польскую деревеньку, передал своякам, а они следующей ночью переправили на лошадях дальше, на Белостотчину. Через неделю я вообще очутился чуть ли не под Люблином, и там, на одном из хуторов, прожил тихо и незаметно до самого начала войны. Работал, на люди не лез. Мои хозяева отвечали на вопросы соседей, что наняли работника с Кресов Всходних. Да я и был у них работником, только бесплатным.

В сентябре 39-го, когда Германия и СССР разделили между собой Польшу, я оказался на той ее части, которую заняли немцы, и должен был бояться уже не дефензивы, а гестапо. Ведь я жил в этой стране нелегально. Однажды на хутор приехали на велосипедах немецкие жандармы. Поговорили с хозяевами, те вскоре позвали меня. Оказалось, немцы явились по мою душу. Сказано было сесть на хозяйский велосипед и ехать с ними. Крутил педали впереди, швабы катили следом.

Встречаются же совпадения: старший немец был похож на нашего слуцкого милиционера Шиловича. Такая же крупная, лошадиная голова, такие же длинные, ухватистые руки. Правильно говорят, что все палачи с одной печи. «Все ка́ты — з едной хаты».

Когда приехали в немецкую управу, меня отвели к следователю. Тот сразу заявил: им известно, что я русский, и он не советует мне этого скрывать. Оказалось, кто-то сообщил немцам, что на хуторе прячется русский.

Я потом много об этом размышлял. Люди не выдали меня своим властям, что было бы вполне понятно, а выдали чужим. Поляки не могли простить соседям еще одного раздела их родины, поэтому досталось и невиновному. Кстати, я сразу почувствовал тогда, в 39-м, как вокруг изменилось к худшему отношение ко мне — на мельнице, на лесопилке.

Так вот, я не стал запираться. Удивительно, но меня отпустили. Вероятно, для них я оказался человеком, который был в серьезном конфликте со своими

властями. Немцы уже тогда знали, с кем они очень скоро будут воевать, и прибрегали себе помощников.

И я продолжал жить на хуторе в той же роли работника. Правда, хозяева предприняли шаги, чтобы изменить эту мою роль. С началом войны на хутора вернулась из городов молодежь, из Люблина приехала и их дочка. Хозяева очень беспокоились за свою молодую незамужнюю цурку, это значит дочку. Ее трудно было бы защитить, появись на хуторе немецкие солдаты. И они сначала намеками, а потом и прямо предложили мне жениться на ней. Но тогда я еще слишком хорошо помнил тебя, Татьяна, и всех вас. Ответил, что рассчитываю вернуться домой. Они не обиделись, это были разумные люди. Но два или три раза к хутору сворачивали с дороги грузовики, на которых немецкие интенданты заготавливали продукты. И каждый раз хозяйскую дочку прятали на чердаке. Дальше так продолжаться не могло, и я согласился.

Хозяева пошли на это, чтобы спасти своего ребенка. А зачем то надо было мне, можете спросить вы. Просто я всегда помнил, что они спасли меня. Вполне можно сказать, что спасли — от тюрьмы, от голодной смерти. И я должен был в свою очередь выручить их...

После войны я очень опасался, что Польша окажется в сфере влияния Советов (а так потом и вышло) и меня скоро достанут на тихом польском хуторе. Тогда шла массовая агитация за выезд в Штаты, и я решил убраться подальше от всех наших запутанных славянских проблем. Тереза поехала со мной. Старые родители, у которых не осталось помощников, сначала прокляли ее, потом благословили.

Так я попал в Америку и прожил здесь всю остальную жизнь. Работал сначала на чужой ферме, потом скопили денег и купили свою. Еще раз прости, Таня, но к тому времени я точно знал, что вместе нам уже не быть.

У меня есть дети. Взрослые американские дети от жены-польки. Очень хотелось бы увидеть тебя и наших с тобой детей. Все ли они живы? Я помню не каждое их имя. Напишите мне об этом. И пришлите фотографии. Я сам вряд ли смогу приехать, даже в гости, после войны здоровья осталось совсем мало, и годы уже какие. А вот вас к себе в гости приглашаю и очень буду ждать. Детей моих и внуков. Напишите мне сразу, на чье имя выслать приглашение. Моя американская семья все о вас знает и относится к вам хорошо. Почти так же, как и я. Так что рады будем, очень рады.

А если меня вы уже не застанете, дети мои вас встретят и примут. Не сомневайтесь.

Жалко, что наши страны то ссорятся, то мирятся, и все эти годы я боялся писать вам, чтобы не навредить.

Вот я и рассказал вам о себе все. Хочу теперь знать о вас. Сколько вас осталось и какие вы. Постараюсь дождаться ответа.

Всех обнимаю. Ваш муж, отец и, надеюсь, дед — Тодор Метельских, хозяин фермы в штате Оклахома. Мой адрес...» Дальше было написано на незнакомом языке.

Она лежала с широко раскрытыми глазами, переживая в себе судьбу близкого человека. И осмысливая ее. Разговаривала тихонько с Федором, отвечала ему.

«...Ты спрашиваешь, вышла ли я замуж. Не вышла. Не сватались особенно, кто ж на пятерых детей пойдет? Нету дурных. Правда и то, что мало мужиков осталось после войны, мало их домой пришло. А тех, кто пришел, не подпускала я к себе. Один только Сила Морозов взял силою, и то мокрую, в сажалке. От себя его отогнала — дак к дочке нашей подлез, кровушку мою пил.

И тебя не могла забыть. Думаешь, легко с новым человеком снюхаться, к его поту и дыханию привыкнуть? Я к твоему привыкла. Ты был для меня

мужем, хозяином, никто больше. Когда думала о тебе, а о тебе я думала всегда, то вспоминала первую нашу ночь, на Щедреца, в санях...»

Пришел Лёдик. Она молча подала ему письмо. Лёдик повертел в руках конверт, посмотрел на подпись в конце письма, сказал удивленно «Ё-моё!» и полез в тумбочку. Достал недопитую бутылку самогона и проглотил мутноватую жидкость. И только после этого, не закусывая, осмелился читать. Мать терпеливо смотрела на него, на тени, пробегавшие по лицу, на нахмуренный лоб. Лёдик был тот еще грамотей, но наконец осилил письмо и он, и теперь сидел, опустив голову на руки. Кажется, Лёдика потрясла эта неожиданная находка, и он плакал.

А она плакать уже не могла. Отплакала свое на этом свете. Или ее не затронула по-настоящему история мужа, и она восприняла ее немного отстраненно, как историю чужого человека, а сын — по-другому?

Назавтра было воскресенье. Весть о письме из Америки почтальон разнесла по селу еще накануне, вместе с районной газетой. И чуть ли не с утра читать его пришла соседка Настя Грищиха с непременной гармошкой. Пришли брат с дальнего конца села, норовистая Катька и бывший ее супружник Андрюшка Рыжий, который отаборился теперь у вдовы Тимаевой. Позвонили в город, и из города приехали Алексей и даже Мышка со своей маленькой злой женой. Был еще кто-то. По случаю общего сбора убрали в доме, и женщины испекли большой пирог со смородиной. Рыжий принес пятилитровый графин «вишневки», ее и смаковали. Налили матери. Она по-прежнему лежала, но была оживленная, вся какая-то светлая. Решали между делом, кому ехать в гости в ту далекую и страшную Америку. Ехать хотелось всем.

Мать смотрела на своих детей из угла и радовалась. Все были люди, все были не очень кривые, если не считать Лёдика, и не очень косые. Одна подняла их, одна, без Федора. Его жизнь помыкала, но и ей не меньше досталось. Уходит их век. Пусть уходит. Может, у молодых новый будет ласковее, добрее.

Они редко баловали ее таким большим сбором. И она во все глаза смотрела на них из своего угла, вглядывалась в лицо каждому, чтобы надолго наглядеться. Их всех роднила эта необычная новость, у всех было приподнятое настроение. Разговор то уходил в сторону, то опять возвращался к письму. О Федоре сначала как-то вскользь говорили, потом все смелее начали называть его дедом. А вот о его польской жене молчали, пока Татьянка сама не отозвалась о ней добрым словом. Не в этой женщине было дело, а в детях Федора — здешних и тех, американских. Татьянка не могла проявить свою обиду и бросить хотя бы тень на новых детей Федора — всем их детям жить на этой земле вместе. Ей, конечно, хотелось бы поглядеть на ту паненку, которая отняла у нее мужа. Но она, возможно, и спасла его — сначала на хуторе, потом была опорой в нелегкой жизни. Так что сегодня им делить было нечего, прожитую жизнь не вернешь и не переделаешь.

Ветры буйные закружилися

Одно открытие, сделанное в себе, ее поразило. А открыла она, что всю жизнь прожила в страхе. Всю жизнь за кого-нибудь да боялась. Чего-то всегда обязательно боялась. Не было ни дня, чтобы не боялась.

Странно, когда Федора брали, она не испугалась. Ни за него, ни за детей. Верила, что разберутся и отпустят, дома скоро будет. Жизнь еще не показала

ей тогда ни глубины своей мудрости, ни абсурдности своей. Бояться она начала после того, как пришла к ним с проклятием старуха с хуторов, мать забитых шомполами Аксени и Параски. Проклятие сильно испугало ее, столько в нем было нечеловеческой злобы, звериной лютости. Вот с той поры она и тряслась, всего на свете страшилась — людей, болезней, войны, драк, скандалов в семье и среди соседей, наговора, пожара, зверя лесного, машины на дороге, грома и молнии, налогового инспектора, пьяного старого бригадира, жары, холода, голода...

Боже милосердный, вся ее жизнь была омрачена вечным страхом, постоянным ожиданием беды. Причем боялась она не за себя, а за детей и Федора, за Федора и детей, после уже за внуков и детей, и опять за Федора. Могла ли она меньше бояться? Могла, наверное, но тогда наверняка несчастий с ними приключилось бы больше.

Этот страх был унаследован ею от язычников-пращуров, добывавших себе пищу с палицей в руках, в диких лесах и обогревавшихся у пущанских костров. Она была прямой наследницей древней женщины, поддерживавшей огонь в холодном сыром лесу, укрывавшей своим телом голодных полуголых детенышей и терпеливо ожидавшей ушедшего на охоту мужа. А тот не возвращался, и однажды она поняла, что его растоптали или съели дикие животные или не менее дикие соплеменники. А вокруг ходили и рыкали голодные звери, и сгущалась ночь, а небосвод над всем окружающим миром раскалывал непонятный гром, и сверкала непонятная молния...

Ей теперь, на закате дней, стало обидно, что вся жизнь прошла в страхе, что этот страх отравил ей душу, он пропитал все вокруг нее — старенький дом, в котором не было хозяина, ее отношения с людьми, среди которых у нее не было опоры, отношения с природой. Постоянная боязнь — хоть бы дети не натворили ничего дурного, хоть бы никто из них не заболел, никто не набросился на них с кулаками, хватило муки и картошки до лета, хоть бы...

А теперь что? В ее годы — что? Чего она сегодня боится? Смерти?

Все правильно, уже много лет она боится смерти. Состарилась и давно понимает: это может случиться в любое время. А не хочется...

А Вольгочке хотелось? Да и кому охота в земельку сырую ложиться, хоть в молодые годы, хоть в старые.

Детей своих учила всего бояться — зачем она их этому выучила?

Она была очень недовольна собой, сделалась угрюмой, неразговорчивой.

На Радоницу, когда вся Яковина Гряда ушла на кладбище, попросила и она Лёдика:

— Последний раз хочу своими ногами там потупать. А то скоро чужими понесут.

Лёдик сказал Рыжему, и тот сделал одолжение, отвез бывшую тещу в коляске мотоцикла. Смешная она была в мотоциклетном красном шлеме и одновременно трогательная, так непривычно смотрелась дробненькая старческая фигурка на фоне громоздкого БМВ.

Когда подъехали, на кладбище собралась чуть ли не вся деревня. Кто выгребал березовым веником листовую прель из оградок, кто подкрашивал саму оградку или поправлял кисточкой надписи на памятнике. А те, кто успел навести порядок по закону — еще вчера, расстелили на маленьких столиках внутри оградки или прямо на дорогих могилках газету, а то и клеенку, выставили на них вино и нехитрую закуску. Наливали в полустаканчики вино и сверху клали хлеб для тех, кого пришли помянуть, и начиналась тихая семейная беседа. Умершим рассказывали, как живется живым и кто за зиму перебрался из села сюда, на вечный покой...

Прислонившись к крашенной оградке, молчала печальная Настя Грищиха, дети ее на Радоницу не приехали из города навестить отца, опять ее душа маялась в горячечном одиночестве. Председатель колхоза Литвинчук с полной, больной женой пололи траву, стоя на коленях; Литвинчук издали кивнул ей и опять занялся делом. Федор Вовруха уже трижды помянул и что-то обсуждал в родственном кругу, чистил на газету белое яйцо. Везде был слышен праздный, негромкий разговор, через оградки переговаривались соседи. Подходили с рейсового автобуса городские свояки, и поднималась новая волна разговоров, потом все расходились по «своим» могилкам. Мало кто плакал, но никто и не смеялся.

Рыжий потарахтел назад в село, а Татьянка, опираясь на кий, медленно шла рядами, здоровкаясь с людьми. Ей отвечали — кто удивленно, кто уважительно. С половины кладбища тянулись ряды могил без оградок, сами могилы здесь досмотрены меньше, но на поросших коротким зеленым мхом камнях почти всегда можно разобрать, кто под ними покоится.

У двух поставленных рядом серых камней согбенно сидел на скамеечке старик. Увидел ее — выпрямился, издали встретил спокойным взглядом.

— Как это ты доползла, сестра?

— А то! Спарцменка... Андрей на мотоциклетке привез.

— Ну садись, помянем старых.

— Мы и сами уже старыя. Тоже туда пора.

— Не спеши, сестрица, успеем. Тебе вина налью? — брат кивнул на поллитровку.

Она обмакнула губы в вино и вылила его на отцовский холмик.

— Ты мне, Кузьма, на неделе домовину сделай.

— Совсем помирать собралась? Потерпела б еще. Не хочу один оставаться.

— Потерплю. Я только привыкну к ней.

— А Лёдю не напужаем?

— Спасибо тебе. Спасибо за все. И вам, — повернулась она к двум осевшим холмикам, поросшим плотным дерном, — тоже спасибо. Скоро встретимся. Много расскажу вам всякой всячины...Ты живот свой береги, Кузьма. Пришли кого за травами. Дам, покуда есть. И покуда сама живая. Дай я тебя пацалую.

Она поцеловала небритую щеку неловко подавшегося к ней брата, и Кузьма беспомощно заплакал, и снова попросил:

— Ты не помирай, а, Татьянка? Неохота мне крайним оставаться.

— Не понимаю я ужо этой жизни, трудно мне.

— А что табе? Ты ж не депутатка. Кректи помаленьку. Жуй хлебок.

— Я постараюся. Пошли к Вольгочке моей сходим. Сколько лежит ужо здесь, горетница.

Она с великим трудом поднялась, поклонилась, как могла, двум холмикам.

— Грех. В один день и могилки убирают, и чарку берут. Усё некогда.

Постояла с минуту и потащилась назад, на те ряды, где были оградки.

Новенькую домовину Кузьма привез в конце недели, поздним темным вечером, да еще укрыл брезентом, чтобы люди не видели. Как ни ругался Лёдик, а вдвоем с Татьянкой они заставили его занести деревянный «тулуп» в дом и поставить под образа. У Татьянки все уже было приготовлено — солома на дно, белая простыня на солому, подушечка в голову. С помощью Кузьмы она обустроила домовину, приставила низенькую скамеечку и влезла в нее.

Придерживаясь рукой за стену, улеглась медленно, затем осторожно выпрямилась.

— Ну что, принимаешь работу? — поинтересовался Кузьма. Нервы у него, как и у сестры, были крепкие.

— Принимаю. Я тут и переночую. Накиньте одеялом в клетку.

Лёдик покрутил пальцем у виска, но послушался. Было в поступках матери в последние дни что-то такое, от чего он переставал понимать не только ее, но и себя самого.

Ночью лежала Татьянка в своем новом домике смирно, на спине, сложив руки под одеялом на животе, и только водила глазами по освещенной зыбким лунным светом комнате. Думала: а могла ли ее жизнь сложиться иначе? А могла она прожить ее по-другому? Быть грамотной, работать бухгалтеркой, жить с другим мужиком, есть не хлеб с кислой капустой, а городские присмаки? Наверное, могла. Если бы Федор не сбарабанил на вечеринке ручкой нагана. Хотя — время было такое, что все равно нашли бы к чему придраться. Все равно они были обречены на недобрую долю, потому что прокляла их старая хуторянка. Зачем понадобились Федору ее девки, которых потом запороли шомполами солдаты? Старуха с хутора считала, что виноват в этом Федор, а почему? Ездил к ним? Агитацию кулацкую проводил? Знает Татьянка ту кобелиную агитацию, будто дома ему не хватало. Ничего же в письме об этом не пишет, только коротко — «я не виноват». Но хуторянка что-то знала, раз пришла, не поленилась нести свое проклятие пять километров глухим лесом. Грех какой, проклясть живых людей, женщину с малыми неповинными детьми! Какое сердце надо иметь! Или от сердца материнского одни угольки остались: взрослых дочерей лишиться ни за что ни про что? Какое время было Иродово... Господи, прости людей грешных, поедом друг друга ели, как собака падаль подзаборную.

Завозился за стенкой Лёдик. Покашлял. Слышно было — пошарил рукой по тумбочке рядом с кроватью, нашел папиросы и закурил. Накинул на себя рубашку и вышел в темноте в сени. Пусть бы уж лучше в доме курил, простудится.

Лёдик скоро вернулся — ночь была по-весеннему холодная, едва ли не с морозцем. Сбросил сапоги, прошел к ней. Она сидела и расчесывалась.

— Ото, посмотрите, красоту наводит. А я хотел поглядеть, живая хоть?

— Куришь по ночам, Лёдя...

— С тобой не тольки закуришь. Нашла себе забаву.

— Какая разница, где ночевать? И там, и тут не сплю.

— Скажи мне, что ты такое вытворяешь? Я скоро чокнусь от этих фокусов. В домовине окопалась...

— Привыкаю. Не хочу ее бояться. Надоело бояться.

— Кого?

— Всего. Вот, гроба.

— По-моему, ты его и так не боишься. Если б боялась, то не подошла бы и близко. Вылазь. А то жутко. И самогонка кончилася.

— Ничего, и ты привыкай. Полежу ешчо.

Она улеглась и натянула на себя домотканое одеяльце.

— А завтра людей позови, пусть смотрят, какая я красивая. А то помру — нехорошая стану.

— Нет, людей звать не буду. Село разбежится к едрене бабушке. Ладно, пойду я на сено спать. Тут с тобой ни за что не засну. Будешь вылазить — не опрокинься.

Утром принесли пенсию. Почтальонка еще с порога окликнула хозяев, никто не отозвался, и она прошла в дом. Татьянка ее услышала, но быстро выбраться из своего гнездышка не могла, боялась разбиться, поэтому притихла, надеясь, что до нее не доберутся. Напрасно. Почтальонка сунула голову в дверь зала, охнула и испуганно вошла.

— А я и не знала, баба, что ты померла, — растерянно проговорила она. — Кали ж ты померла, бедненькая?

— А вчера, — машинально ответила Татьянка. — Садись посиди.

— Спасибо, — поблагодарила почтальонка, не понимая, что происходит. И по инерции продолжала разговор: — Я вам с Лёдей пенсю принесла. А кто ж теперь распишется?

— Давай я, — приободрилась Татьянка. Но почтальонка возразила, что ее подпись теперь недействительна, вежливо извинилась, попятилась и притворила за собой дверь. Под окнами растерянно прошлепали ее резиновые сапоги на два размера больше.

Татьянка представила, что сейчас начнется на селе — еще бы, покойник заговорил. Перевернулась, спустила осторожно одну ногу в вязаном носке, нащупала ею низкую скамеечку, потом опустила другую ногу, выбралась наружу и пошла в хлевы искать Лёдика.

Тот и правда спал на сеновале, с трудом дозвалась. В лазе над лестницей показалась его взлохмаченная голова в сенной трухе.

— О, воскреснула. Ну, жарь яичницу.

— Вынеси гроб. Здыхля эта, почтальонка, приходила, а я там разлеглася, как царица. Сейчас село прощаться пойдет.

Лёдик плюнул с досады, слез с сеновала и пошел прятать домовину. Пристроил ее за дровами, а она из-за поленницы выглядывает. Прикрыл корытом — все равно торчит. Отнес за дом — там соседские окна в упор смотрят. Носился с ней по усадьбе, как кот с мышью, чесал в затылке, потом психанул, взял топор и за минуту покрошил домовину на мелкие щепки. Сложил их горкой и сверху дровами закидал. Вошел в дом.

— Что ты там громил?

— Все, мать, придется тебе долго жить. Расхвостал я этот ящик. Куды ни поставь, везде мешает.

— Заругает дядька.

— Может, помиримся. Свояки же. Ну, пойду за ворота, а то народ уже и на велосипедах ко двору подъезжает. Сейчас почтальонку дураковатой выставлю. Как же по-другому? Кто-то из вас двоих — того... Тю-тю на Воркутю.

Ждали Троицу. Мать накануне украсила дом молодыми ветками березы. На полу настелила аира. Утром должны были прийти ее дети. Они всегда собирались на Пасху и Троицу.

...Гостей назавтра встречал Лёдик. С утра он сидел за столом, нарезал тонкими кружочками лук в миску, вылущивал из кружочков прозрачные дольки и перемешивал с солью. Дверь в светлую часть дома была прикрыта.

Когда прошумел автобус из города и в дом вошел Алексей, Лёдик встал из-за стола и подал ему, вытерев о штанину, пропахшую луком руку. Мышка приехал тоже, но первым делом побежал отметиться за сарай. Когда вошел, Лёдик утруждать себя не стал, подал руку сидя. Вскоре пришла и Катька. Гости были рады, что они дома, сели, как после долгой дороги, — Алексей на табурет за столом, рядом с Лёдиком, стал помогать ему вылущивать дольки из луковиц. Катька опустилась на притороченные к печи полати, нашла в боковой печурке холщовый мешочек с семечками тыквы — гарбузиками, и

лузгала, выбрасывая шелуху из кулака в помойное ведро у двери. Угостила братьев. Один Мышка, важно прохаживаясь по передней половине избы, где они собрались, от семечек отказался. Его мучил вопрос, оставит ли им американский отец хоть какое-то наследство. Над Мышкой подтрунивали: «Оставит тебе макухи, там ее много». Ждали, когда проснется мать.

Потом Катька отмахнулась от Лёдика, постоянно предупреждавшего, чтоб не галдели, — что-то ее затревожило. Открыла фанерную дверь во вторую половину дома. Изменившись в лице, молча вглядывалась в ту комнату, и все подошли к ней. Они стояли и боялись переступить порог.

— Ночью она звала: «Федор, Федор», — сказал Лёдик.

— Ты подходил? — спросил, не отводя взгляда от кровати, на которой лежала мать, Алексей.

— Я ж не Федор. Я подумал, она во сне, — оправдывался младший.

— Мамо, — позвал Алексей. — Вы спите?

— Мамка, — подождав, подала голос Катька. — Авоечки! Божа!

— Мать, — фальцетом окликнул и Мышка. Каждый надеялся, что именно ему отзовется мать.

— Эй, — вторил эхом Лёдик, — старая. Ты ж меня не подводи. А то — недоглядел, выходит.

Не было им ответа.

Одни остались перед жизнью. Случись что — и пожалеть по-настоящему некому.

— Мамка, — повторила Катя. — Мамка!

— Мне страшно, — вдруг сказал Лёдик. — Не к кому теперь прислониться.

— Не надо, — тихо проговорил Алексей. — Давай без этих... бабских штучек. Если на Троицу померла — значит, святая. Пошли.

Друг за другом, по старшинству, как были приучены ею, они переступили узкую планку порога и вошли в чистую комнату, к ней.

Понимая, что ей скоро держать ответ перед Богом, встали на колени. Не все, только Алексей и Катя. Лёдик и Мышка остались стоять.

В углу светилась икона. Лик Господа был печален.

Январь 2007 года.
Минск





ВЛАДИМИР МОЗГО

Волнует сердце новизна

Рогнеда

Ты приходишь из давних веков,
Столь земная
и полная света.
В звездах — искрах
из-под подков
Имя высечено — Рогнеда.

Как икону,
тебя намолю,
Светлый образ,
подаренный Богом.
Ты к земному
сошла алтарю
Нашей памяти
звездной дорогой.

Только мельком замечу твой взгляд,
Как печаль исчезает куда-то.
Я любовью
твоею богат,
И иного
богатства не надо.

Снова искрами из-под подков
Имя-песня
летит над планетой,
Дароносица давних веков,
Словно ангел спасенья,
Рогнеда.

Сынковичская церковь

Плывут облаков острова,
Как церкви Сынковичской свита,
Что некогда чествовал Витовт,
А после —
и вся Литва.

Всевышний
творил чудеса
Руками земных рабочих,
Чтоб смог
неизвестный нам
зодчий
Храм вознести к небесам.

В щербинах
залеченных ран
Всплывают забытые лица,
И пристально смотрят бойницы
В глаза
молодых прихожан.

И слышно, как время течет,
Века в эти стены вмещая,
Где нашим потомкам еще
Молиться,
от зла защищаясь.

* * *

Гремят колеса дней.
Признать пора наспела:
В душе —
еще юнец,
А на пороге —
зрелость.

Как рельсы,
жизнь звенит,
Творя свои сюжеты.
А время —
проводник —
Нам раздает билеты:

Кому —
пора сойти
На свой перрон настала,
Кому-то —
перейти
В другой вагон состава.

Гремят колеса дней:
Мосты,
тоннели,
склоны…
И верится,
что нет
Последнего вагона…

Снежное преданье

Деревня ищет Снежная
Названью оправданье —
Морозно-неизбежное
Студеное преданье.

Во тьму поземкой стелется,
Чтоб с ветром обручиться,
И голосит метелица
Голодною волчицей.

И все мешает снегопад
День отличить от ночи:
Заснеженные окна хат —
Зажмуренные очи,

Что отыскали в белизне
Названью оправданье.
И падал,
Падал,
Падал снег,
Творя свое преданье.

Проводница

Молодая проводница
И на диво строгая
Приглашает породниться
С ветром и дорогою.

Взгляд случайно перехватит —
Мига хватит малого:
Словно солнце на закате,
Щечки рдеют алые.

А состав стрелою мчится,
И поет зеленый май.
Молодая проводница
Разлила душистый чай.

Ненароком отмечаю,
Что открыться ей хочу:
За горячий запах чая
Поцелуем заплачу.

Улыбнется ненароком,
Будто что-то вспомнилось,
Чтобы в будущем далеком
Светом сердце полнилось.

Еще долго будет сниться
Музыка вагонная,
Молодая проводница,
С ветром обрученная.

* * *

За чередою холодов
Весенние проталины
Нас возвращают
В глубь годов,
Давно вдали оставленных.

Сердца пытаются согреть
Горячими искусами.
И нам не хочется стареть,
Пока мы дружим с музами.

Пока еще в душе звучат
Стихи
И песни вешние,
Мы вновь
Пытаемся начать
Все начинанья прежние.

Волнует сердце новизна
Богатая,
Крылатая…
Пятидесятая весна.
А жаль,
Что не двадцатая…

Слепой дождь

Шагают
Дачники гурьбой,
А день —
Почти в зените.
Навстречу
Дождь идет слепой:
Куда —
Совсем не видит.

Ни поля
Толком не полил,
Ни даже
Малой грядки,
А все дороги
Запылил,
Когда пошел
Вприсядку.

По полю
Поперек борозд
Рванул —
И рухнул наземь,
О радуги
Споткнувшись мост,
Что сам же и раскрасил.

Виртуальные люди

Замечаешь подчас
(То ли далее
Будет!)
Что живут
Среди нас
Виртуальные люди.

Радость хлынет рекой,
Стоит взять передышку
И нащупать
Рукой
От компьютера мышку.

Заглянуть в Интернет —
И забыть
Путь обратный,
Променяв
Белый свет
На цветастые пятна.

Что им
Голос беды?
Мира пульс
Неспокойный?..
В их сознаньи «круты»
Только звездные войны.

Поиск новых друзей,
Как они,
Виртуальных:
Фантастических фей
И героев астральных.

Не хватает идей:
Так откуда же будут
Брать реальных детей
Виртуальные люди?..

Перевод с белорусского Андрея Тявловского.





АНДРЕЙ ДЕМКИН

«Что, милой, заплутал?»

Рассказ

Васька жил на первом этаже клиники госпитальной хирургии, что на Боткинской улице, той самой, что была основана знаменитым хирургом Пироговым еще в 1841 году. В память об основателе клиники на втором этаже имелась его крашеная в яркую бронзу гипсовая статуя, а за спиной статуи, в аудитории с легким ажурным амфитеатром скамей, на стене висели настоящие литографические камни, на которых были гравированы изображения из анатомического атласа, составленного Пироговым.

Впрочем, в аудиторию Васька заходил редко, хотя в нее прямо из курсантского гардероба на первом этаже вела отдельная лестница. Но, в самом деле, что может быть интересно коту в холодной с метлахской плиткой на полу и железными переплетами скамеек аудитории? Да, Васька был именно котом. Обычным, впрочем, немного крупнее обычного, рыжим полосатым котом с разорванным в какой-то битве левым ухом. Первый этаж и подвал клиники для Васьки были намного интереснее. Вероятно, еще и потому, что контракт, безмолвно заключенный между начальником клиники и Васькой, содержал пункт о том, что Ваське дозволялось отлавливать серых хвостатых грызунов в подвале и вдобавок иметь гарантированную плошку остатков еды из кухни на первом этаже. Ваське запрещалось показываться на людях в дневное время и строго-настрого воспрещалось, даже ночью, подниматься на второй этаж клиники. Новый начальник принял Ваську вместе с клиникой от предыдущего начальника. А тот и сам уже не мог сказать, когда именно здесь появился кот.

Васька иногда мог поиграть с очередным солдатиком из бывших больных, оставленным в клинике в добровольное «рабство», что всяко было для солдатика приятнее, чем несение повседневной службы в части. Солдатику дозволялось аккуратно почесывать Ваську между ушей, и если настроение у кота было благодушным, то и по краешку носа, которым Васька поддевал солдатскую руку, требуя продолжения ласки. Кое-кто попробовал фамильярничать с ним и пытался запустить руку в меховой живот. Но Васька никогда не царапал и не кусал обидчиков. Он, вырвавшись из «плена», смотрел на солдатика долгим взглядом и уходил. Больше к нему он никогда не приближался, и солдат вынужден был нести свою ночную службу, не скрашенную тихим раскатистым мурлыканьем кота. Впрочем, все знали, что кот фамильярности не выносит, и старались быть с ним настолько на равных, насколько это может быть в отношениях человека с котом.

Больные покидали клинику по-разному. Кому-то выпадала счастливая доля уходить после лечения и больше никогда не возвращаться, кто-то был вынужден становиться частым гостем, чтоб продлить годы или месяцы жизни,

а кто-то покидал клинику вместе со всем белым светом, навсегда. Васька, обитавший на первом этаже, знал, что таких людей вывозили на каталке через старую заднюю дверь, во двор, где их грузили в машину, почти такую же, как и ту, на которой привозили больных в клинику, только гораздо более темного цвета — как старая пожухлая трава осенью в старинном парке через дорогу, куда пробраться можно только ночью, когда по дороге, разделявшей парк и клинику, переставали проноситься машины.

Виноградов теперь был частым гостем в клинике. Операция за операцией лишь оттягивали приближение последней черты, но все — и врачи, и сам Виноградов — продолжали бороться за его жизнь. Врачи — потому что таково призвание этих людей — выступать ходатаями перед высшими силами за жизнь человека, выполняя свои сложные многодневные ритуалы. Сам Виноградов боролся за жизнь, потому что научился радоваться свету каждого нового дня, порции пресной каши или просто успешному походу в туалет. Всего несколько лет назад он думал, что такие простые радости не стоят его внимания, что настоящая радость может быть только результатом чего-то по-настоящему большого, а обычные дни лишь пролистываются, не оставаясь в памяти, как когда-то в детстве, когда дням вели счет разграфленными страничками дневника. Эти графы с записями домашних заданий, отметками были чем-то ненастоящим. Настоящим казался лишь день полной, своей собственной жизни, который остался за пределами строчек — в дневнике в каждой неделе было лишь шесть дней. Почти бесконечным праздником приходили каникулы, особенно летние. Казалось, что жизнь в деревне, за городом, и есть та самая, настоящая жизнь — со свежим утренним воздухом, пением птиц, запахом дерева, разогретого солнцем, шелестом листвы на ветру. Когда ты можешь перебираться взором от крыши старой часовенки к пышным шапкам сосен за речкой и далее по полоскам полей, вплоть до горизонта, пройдя который, можно было наслаждаться постоянной игрой рвущихся ветром облаков. Можно было лечь на спину и смотреть, смотреть, впитывать в себя и пронзительную лазурь высокого летнего неба, и ослепительную белизну облаков.

Пролетели школьные годы, казавшиеся тогда столетием, годы военного училища, когда жизнь текла лишь в увольнениях, а затем наступило время службы. Всегда казалось, что настоящая жизнь вот-вот должна наступить: или после женитьбы и рождения сына, или после получения второго просвета на погонах, или после защиты диссертации и назначения на преподавательскую должность в училище. Однако любое новое достижение вскоре — через месяц, два или через год — все равно становилось для Виноградова обыденностью. Однажды, уже уволившись в запас на шестом десятке, Виноградов с удивлением понял, что из всей прошедшей жизни его память удивительным образом согревают лишь совсем незначительные моменты. Это были такие мимолетные ощущения, как тепло от серого в мелкую белую крапинку валуна, разогретого солнцем, на который удалось прилечь после марш-броска, или вкус лесной земляники.

Было и множество других приятных мелочей, при воспоминании о которых по телу разливалось тепло и становилось легко на душе. Другие же «настоящие» большие воспоминания — как ни странно, были совершенно холодными, такими, как, например, чьи-то чужие воспоминания, прочитанные в книге. Как все изменилось с годами...

Теперь же взгляду Виноградова был доступен лишь побеленный известкой потолок в палате с разбегающимися в разные стороны, как русла рек на карте местности, трещинками да край окна, где можно, если повезет в хмурую петербургскую погоду, увидеть яркий кусочек неба. Опускать глаза ниже совсем не хотелось. Реальность мира ниже напоминала Виноградову о том, что поезд его жизни, говоря языком военного железнодорожника, уже вскоре прибудет на свою конечную станцию, где состав, скорее всего, будет полностью расформирован.

Большую часть времени, если краешек неба в окне был сер от облачной мглы, Виноградов лежал с закрытыми глазами. Так, если смотреть сквозь опущенные веки на лампочку, можно рассматривать движения маленьких темных точек на красном фоне век — небольшое, а все же развлечение. Сил смотреть телевизор или слушать радио уже не было. Каждый посторонний звук, каждое новое движение вокруг вызывало странный особый вид боли — не ту, что ощущаешь в теле и к которой уже привык, — а где-то глубоко внутри головы.

Однажды Виноградов проснулся среди ночи от нового странного звука. Точнее, это был даже не звук, а что-то среднее между звуком и глубокой низкой вибрацией, которая ощущалась всем телом. Виноградов не спешил открывать глаза. Когда почти все его чувства выбрались из-под глухой пелены сна, он почувствовал еще и какую-то тяжесть в области груди. Точнее, даже не в груди, а на груди. Что-то увесистое прижимало его грудную клетку сверху и при этом очень приятно вибрировало. Виноградов решил открыть глаза. В палате никогда не было темно ночью. В осеннее и зимнее время ее освещали снаружи уличные фонари, а в весеннее или летнее время — акварельные краски светлых ночей. Открыв глаза, Виноградов увидел прямо перед собой два выпуклых больших блестящих глаза. Вслед за глазами из пелены сна постепенно проступили очертания широкой морды с пышными усами и округлыми ушками, одно из которых просвечивало насквозь острым треугольным клинышком — словно метка на ухе у породистой коровы. Так и есть — на груди у Виноградова лежал, аккуратно подобрав под себя лапки, большой рыжий кот с зелеными глазищами. Увидев, что Виноградов открыл глаза, кот прикрыл свои, но не до конца, а так, чтобы от них остались две раскосые щелочки, и продолжил мурлыкать как ни в чем не бывало. Хотя Виноградов был уже слаб, тяжесть кота не показалась ему обременительной, а даже наоборот, приятной. Такой приятной, как это бывало в детстве, когда тебя накрывали тяжелым стеганым одеялом и ты умиротворенно проваливался в сон под его ватной тяжестью. Кот спокойно возлежал на редких невысоких волнах дыхания Виноградова и словно не обращал на него никакого внимания. Тяжесть и тепло от тельца кота было совершенно новым, приятным ощущением. И уж тем более новым ощущением были глубокие вибрации мурлыканья. Они были настолько сильны, что вскоре поглотили все чувства Виноградова. Вскоре он, следуя их ритму, забылся глубоким сном, больше не просыпаясь до самого утра, что было в последнее время совсем необычным делом. С утра Виноградов почувствовал в теле непривычную легкость, почти как раньше, когда он был еще здоров и ночной сон приносил желанное обновление.

Через пару ночей дежурная сестра заметила, что Васька по ночам поднимается на второй этаж и спит на груди у больного Виноградова. Несколько дней ночные походы Васьки оставались неизвестными для врачей. Но однаж-

ды дежурный врач, заглянув ночью в палату, увидел кота на груди у больного. Врач хотел снять кота, но рыжий зверек словно прирос к телу Виноградова — такой неподъемной тяжестью он показался для врача.

Начальник отделения, которому доложили о ночном визитере, рассудил, что в данной ситуации, учитывая жизненный прогноз Виноградова, не стоит препятствовать визитам кота, тем более что кот посещает его только ночью — и то на непродолжительное время и, по словам врача, положительно влияет на эмоциональный настрой больного.

Интересно, почему кот выбрал его в друзья? Виноградов задумался. Он никогда не увлекался кошками. В детстве ему всегда больше хотелось завести собаку, которой, впрочем, у него так никогда и не было. Кошки — они всегда представлялись либо живыми мягкими игрушками для девчонок, либо абсолютно недоступными для общения самостоятельными существами, живущими рядом с человеком своей особой параллельной жизнью.

Чем же он угодил этому коту? Все что он мог дать ему — лишь немного почесать его за ухом или под челюстью да погладить по голове. Ясно, что такие ласки кот мог получить от кого угодно, если он вообще нуждался в них. Общение? Трудно назвать это общением. Было видно, что кот все время остается сам по себе, что мысли его находятся где-то глубоко внутри или, скорее всего, где-то совсем далеко. Даже в те ночи, когда мучительные спазмы сжимали живот изнутри и кот, словно чувствуя боль Виноградова издалека, прибегал и устраивался делать массаж передними лапами через тонкое одеяло, отчего его когти слегка касались кожи живота. Невозможно было сказать, что невидимая дистанция между ним и котом исчезала. Нет, все так же кот был совершенно отстранен и даже иногда мог оттолкнуть его руку когтистой лапой, когда Виноградов пытался его погладить.

Но однажды в их отношениях что-то изменилось. В то утро, когда Виноградов открыл глаза, он впервые увидел своего кота при свете дня. Кот лежал на его груди и, казалось, не собирался уходить. Когда он увидел, что человек открыл глаза, кот отрывисто мурлыкнул и, потянувшись головой к лицу Виноградова, старательно его обнюхал. Виноградов погладил кота по голове. Кот довольно заурчал и, привстав, стал сильно тереться мордой о лицо человека. После он встал, сложился дугой, потянулся, затем размял одну заднюю лапу, потом другую и, тяжело ступая по одеялу, перешел в ноги больного, где и устроился, подобрав под себя лапы.

— Ну, ты и наглец, Васька, — изумилась постовая сестра, зайдя в палату, — а ну брысь отсюда! Вот врач увидит — тебе задаст, да и мне тоже, — она подтолкнула кота с кровати. Васька от толчка спрыгнул, но не ушел, а забрался в дальний угол, под тумбочку. А как только сестра ушла, он выбрался из своего укрытия и опять забрался на грудь Виноградову.

Позже заглянул врач, посмотрел на больного, покачал головой, глядя на кота, но сгонять его не стал.

Виноградов опустил кисть руки на спину животному. Ладонь и пальцы погрузились в густой, очень приятный на ощупь, шелковистый мех. Он стал тихонько, лишь одним указательным пальцем поглаживать кота вдоль спины. Кот довольно заурчал, а потом неожиданно повернулся на бок и, обхватив руку Виноградова передними лапами, стал ее тихонько покусывать. Больно не было. Когтей кот не выпускал, лишь прижимая кожу руки мягкими теплыми подушечками своих лап. Вдоволь наигравшись с рукой, кот развернулся спиной к больному и стал пошевеливать хвостом, так что кончик пушистого

хвоста задевал кончик носа Виноградова. Неожиданно в его памяти всплыло размытое воспоминание из далекого-далекого детства, когда мать играла с ним, лежащим в кровати, щекоча кончик носа, щеки и ушки чем-то пушистым, похожим на меховую кисточку.

От этого воспоминания стало очень тепло и хорошо на душе у старика. Перед глазами возникали другие сцены из жизни, которые становились все ярче и яснее, как будто Виноградов и в самом деле переживал их заново. Что-то было особенно приятное, за кое-что другое становилось невыносимо стыдно. Вспомнив несколько особенно трогательных моментов, Виноградов почувствовал, как из уголков его глаз потекли маленькие капельки влаги, щекоча сухую кожу на скулах. Через мгновение он ощутил, что плотный шершавый язычок старательно вылизывает его слезы. Виноградов сделал над собой усилие, поднял обе руки и прижал к себе кота — сильно-сильно, насколько позволяли его ослабевшие руки. Так в детстве ребенок прижимается к матери или к любимой мягкой игрушке, чтобы выразить всю глубину охватившего его чувства.

Кот вылежал некоторое время в объятиях, а затем, пятясь назад, выбрался и спрыгнул с кровати на пол.

«Ну вот, ушел мой дружок», — только и успел подумать Виноградов, прежде чем ощутил, что кто-то стягивает с него одеяло. Он повернул голову. Кот встал на задние лапы и, зацепив когтями край пододеяльника, тянул его на себя. Потом он запустил лапу под одеяло и начал, мяукая, поддевать ногу старика когтями, словно выцарапывая его из-под одеяла.

— Ты что, дурашка, хочешь, чтобы я встал? — спросил Виноградов у кота. — Слаб я уже, иди, гуляй сам.

Однако кот продолжал мяукать, то возвращаясь к постели больного, то отходя в сторону двери и оглядываясь, словно проверяя, идет ли человек за ним. Неожиданно старик почувствовал, что привычная тяжесть и ватность тела исчезла. Он осторожно поднял одну руку перед собой, еще выше — ого! — получилось! Поднял вторую — обе руки взмыли над головой, как раньше, когда он в молодости потягивался с утра в постели. Виноградов подтянул к себе ноги и неожиданно понял, что может самостоятельно присесть в кровати. Это было так здорово! Он ощупал себя руками — казалось, мышцы вновь обрели прежнюю силу, конечно, не такую, как в молодости, но вполне достаточную для того, чтобы спустить ноги с кровати. Виноградов осторожно, помогая себе руками, спустил вниз одну ногу, затем вторую.

Кот, довольно урча, тут же подошел к нему и стал тереться о его ноги, захватывая их крючком вытянутого вверх хвоста. Было видно, что он радуется успехам своего друга.

— Ты думаешь, я смогу встать? — обратился Виноградов к Ваське, хотя и сам уже был уверен, что сможет не только встать, но и даже пройти — как минимум до двери в палате, а там уж — как повезет.

Кот вновь направился к двери, оглядываясь на человека. Старик опустил ноги в тапочки, которые давно стояли без дела под кроватью, и встал на ноги. «Стою! И смогу идти!» Он был уверен в этом. «Надо одеться...» Он взял с вешалки госпитальный халат, накинул его на себя и подпоясался. «Вперед!» Виноградов осторожно сделал несколько шагов к двери. Его не шатало, и ноги хорошо слушались. А о болях в животе он уже и думать забыл.

Маленькими шажками он подошел к двери, осторожно приоткрыл ее. Кот сразу выскользнул наружу. За дверью текла обычная госпитальная жизнь:

сестра беседовала с врачом у поста; сновали туда-сюда курсанты; кого-то везли на процедуры в коляске.

«Как здорово! — подумалось Виноградову. — Я могу ходить! Представляете, ходить! Сам!» Он открыл дверь и сделал шаг в коридор клиники. Потом другой, третий, — а после считать шаги уже не было смысла, он уверенно пошагал по коридору. Боже, какая это радость! Какое тихое наслаждение — ходить! Так может быть... Может, и в туалет удастся сходить как раньше?

Однако в туалет он не пошел, хотя и был уверен, что все у него получится естественным образом. Кот вновь потерся о его ноги и пошел вперед — мимо поста — к центральному вестибюлю клиники, все время оглядываясь, проверяя, идет ли человек за ним.

Виноградов нерешительно шагнул вслед — все-таки впереди пост — что скажет сестра? Но как ни странно, сестра взглянула на него совершенно равнодушно, так, словно он не был уже почти месяц лежачим больным, а считался обычным ходячим, гуляющим себе преспокойно по коридору. Может быть, взглянула она даже излишне равнодушно — как бы вскользь. Но какая разница, если можешь вновь ходить сам, как на тебя смотрит постовая сестра.

Толкнув стеклянную дверь в вестибюль, где стоял крашеный бронзовой краской памятник, Виноградов пропустил вперед кота. Тот, гордо задрав хвост, прошествовал вперед и свернул налево, мимо кабинета помощника начальника клиники к лестнице, ведущий вниз на первый этаж.

Удастся или нет спуститься вниз по лестнице, Виноградов уже не сомневался. Для страховки он, правда, придерживался за широченные перила парадной лестницы. Внизу, в центральном вестибюле кот, встав на задние лапы, стал старательно царапать дубовую дверь тамбура, ведущего к двери на улицу.

Это уже было слишком! Больным выход на улицу строго-настрого запрещался. Виноградов подошел к двери и взял кота на руки. Кот заурчал еще в воздухе, пока старик поднимал его на вытянутых руках. Когда Васька устроился на плече, Виноградов хотел повернуться и отнести его обратно. Однако... что значит для человека, пролежавшего месяц в палате, выйти на свежий воздух, на улицу, тем более что там, за стенами уже, кажется, наступила весна. Виноградов огляделся по сторонам. Никто на него не смотрел. Бабка-гардеробщица, судя по звукам, смотрела телевизор в своем закутке, а на бельведере второго этажа никого видно не было. «Эх, была не была!» Старик потянул ручку двери на себя, и массивная дверь поддалась его усилиям. Он открыл и входную дверь и вышел на улицу. Кот, сидя на руках, стал усиленно втягивать носом воздух. Действительно, после больничных запахов было к чему принюхаться: весна уже вступила в свои права, и молодая зелень дарила городу пьянящий радостный аромат. Особенно хороши были огромные старые липы в парке через дорогу. А, семь бед один ответ! Подобрав полы халата, Виноградов покрепче прижал к себе кота, дождался, когда поток машин на Боткинской улице спадет, и быстрым, насколько это возможно, шагом перешел улицу. По счастью, калитка в парк оказалась открытой. Виноградов проскользнул в нее, прошел мимо будки с собакой, которая не преминула обдать их с котом заливистым лаем. Васька, впрочем, даже ухом не повел. Пройдя немного вперед, Виноградов опустил кота на свежую траву газона. Кот деловито обнюхал все травинки вокруг и стал грызть какой-то стебелек.

Виноградов поднял голову. Как он соскучился по этому вечному виду: огромная масса свежей листвы, шумящая под легким весенним ветерком, и высокое чистое голубое небо. Как же мало надо для настоящего счастья!

Они пошли вдоль главной аллеи парка. Слева, в небольшом пруду бил фонтан, справа, в глубине парка виднелся старинный бронзовый памятник. Навстречу то и дело попадались спешащие курсанты и степенно шествующие военные врачи. Казалось, никто не был удивлен видом гуляющего больного с котом. В самом деле, если человек может выгуливать свою собаку, то почему бы ему не выгулять кота.

Виноградов никогда не был в этих местах. Там — за парком — должны находиться еще клиники академии, а за ними — набережная Невы. Ему нестерпимо захотелось посмотреть на большую воду. Кот по-прежнему шел с ним рядом, как собака на прогулке. Вот Васька! Поплутав немного во дворах клиник, Виноградов обнаружил, что выйти на набережную можно лишь пройдя одну из клиник насквозь, мимо приемного отделения. Он поднял кота с земли, распахнул халат и спрятал его у себя за пазухой. Поднявшись на несколько ступенек вверх, он быстро прошел через вестибюль клиники и, спустившись по широкой мраморной лестнице, распахнул дубовые двери и оказался на набережной.

Он ожидал увидеть поток машин на набережной, тянущийся от Литейного моста к гостинице «Санкт-Петербург», но, к своему удивлению, не обнаружил ни моста, ни самой гранитной набережной, ни тем более машин. Погода также сменилась — небо заволокло тучами и поднялся ветер. К удивлению старика, вместо набережной вдоль всей клиники шел длинный бревенчатый пирс, у которого чуть поодаль стоял небольшой парусник. На том месте, где должна возвышаться гостиница, шумели невские волны. Не было видно ни крейсера «Авроры», ни Нахимовского училища, ни купола Исаакиевского собора. Только шпиль Петропавловской крепости одиноко вздымался вдали.

— Что, милой, заплутал? — впервые за все время его приключения с котом кто-то обратился к Виноградову. Внизу, из-за края пирса выглядывал мужичок и улыбался, глядя на него. Виноградов подошел к краю. На воде, в небольшой лодке стоял осанистый человек в одежде, похожей на больничный халат Виноградова, но почему-то в лаптях.

— Что, милой, заплутал? — еще раз повторил мужичок. — Так ты не пужайся, спускайся ко мне. Я тебя на тот берег перевезу. Мне уж не впервой — сколько при морской гошпитале при перевозе служу...

— Да зачем мне на тот берег-то? — спросил его Виноградов. — И не один я, а с котом. Вот он у меня.

Виноградов почему-то подумал, что очень важно показать мужичку в лодке кота. Он распахнул ворот и выпустил мурлыку на бревенчатый помост. Васька вначале изогнул спину, потянулся, размявшись, и вдруг прыгнул прямо в лодку. Мужичок погладил кота.

— Вот видишь, кот твой уже здесь, так и ты давай не зевай — спускайся, а я тебе руку подам.

Да уж, каким бы странным ни было все происходящее, сегодняшний день показал, что интуиции кота определенно можно доверять. С помощью мужичка Виноградов устроился в лодке на корме. Кот расположился рядом. Старик положил на кота сверху руку — на Неве волнение — как бы не улетел дружок за борт.

Кто бы мог подумать, что с воды Нева покажется такой широкой. Мужичок все греб и греб, пересекая реку наискосок, — таким сильным было течение. Ближе к тому берегу лодка попала в туман. Туман был такой густой, что морской госпиталь совершенно скрылся из виду.

— Ну вот, теперь уже скоро, — произнес мужичок, которому, видно, были известны одному ему ведомые приметы. И действительно, туман вскоре расступился и совсем неподалеку показался залитый солнцем берег. Удивительно, как быстро меняется на Неве погода. Впрочем, приглядевшись, Виноградов понял, что тот берег принадлежит вовсе не Неве. Это был берег той старой реки из детства, где на небольшом косогоре стоял дом его бабушки и где он проводил в детстве самые счастливые месяцы. Кот приподнялся, спрыгнул на дно лодки и, проскочив под ногами гребца, устроился на ее носу.

— А ну, приглядись, милой, — произнес мужичок, не оборачиваясь, — поди, встречают тебя.

Уже не задумываясь о том, как мужичок мог об этом знать, Виноградов привстал и приложил руку ко лбу, закрывая глаза от яркого солнечного света. Его сердце забилось часто-часто: с берега приветственно махала рукой его любимая бабушка, рядом стоял улыбающийся дед и еще много-много людей, которых Виноградов не смог бы назвать по именам, но определенно знал, что это были не чужие ему люди...

В отделении, где лежал Виноградов, было непривычно тихо. Дверь в его палату была открыта. Около койки Виноградова стояли его лечащий врач, начальник отделения и ординаторы, а сестры и курсанты сгрудились у двери.

Врач аккуратно отвел в сторону одну еще мягкую руку Виноградова, затем вторую и осторожно приподнял с его груди безвольно обмякшее рыжее пушистое тельце. Он поднес мордочку кота к уху, словно еще раз хотел проверить, не будет ли слышно дыхания. Обернувшись, он секунду-другую помедлил, не зная, что делать дальше. Затем решительно шагнул ко второй, свободной койке в палате и, уложив Ваську поверх одеяла, накрыл его белым вафельным полотенцем.





ЮЛИЯ ЧЕРНЯВСКАЯ

Душа и судьба

Лето в Королищевичах

Ю. Д.

Знаешь, в том мире, которого нет уже,
В доме дощатом, который еще не смят
Пришлым бульдозером, на втором этаже —
Те же картины. И там же они висят.

Темные фоны. Тяжелый, унывный штиль,
И одинаковых ликов помпезный бред.
Живописанье, стертое, словно пыль,
С жизни. И слава Богу, что его нет.

А на дорожке сбоку — клубы корней.
Щупальцами ухватят — обрушат влет.
Не было боли больше, и солоней
Не было крови. И пытки — страшней, чем йод.

Те же тропинки, исхоженные дотла,
Что никуда уже не ведут сейчас.
Я не печалюсь, что ты! Я б отдала
Все это даром. Идите туда без нас!

Помнишь ольшины дикой молочный плод?
Помнишь медянки встреченной лютый взгляд?
Помнишь, какой над лесом вставал восход?
Помнишь, какой над домом стоял закат?

Тоже — потери! Да я не таких потерь
Уж натерялась... И не таких утрат.
Я и сама — как забитая глухо дверь.
Я и сама нипочем не хочу назад.

Впрочем, последнее. Чтоб довершить главу...
Помнишь, как на веранде включали свет?
Бликом квадратным он согревал траву,
Словно пуховый плат, а быть может, плед.

Сгинуло — будто не было. И бредем,
Ловко минуя все пузыри земли.
Желтый квадрат на черной траве, а в нем —
Бывшие дети, что из него ушли.

* * *

Как уходит из ног ходьба,
Из души уходит судьба —
Прощелыга, трепло, трусиха.
Или это
Из судьбы уходит душа —
Приживалка, пискля, левша?
Тихо-тихо.
Без слез и света.

* * *

Что остается, о чем еще стоит плакать?
Снежный арбузный запах. И эта мякоть —
Наспех прикрытое зимней корою грубой
Сердце земли под колючей овчинной шубой.

Что остается?
Быть может, мой друг бродяжий,
Города белого выгнутый стан лебяжий?
Грог подслащенный? Миндаль, на углях печеный?
Отблеск огня — тигриный, неприрученный?

Что остается, во что еще можно верить?
В нашу смешную рать, потайную челядь,
Что, охромев, замерзнув, плетется сзади?
Строчки, цитаты, буквы — и все некстати.

Этот потешный полк до того потешен!
Пусть посмеется тот, кто вовек безгрешен
В этих обочинах, в этих дурных привычках —
В точках и многоточьях... в тире... в кавычках.

Город — гостиный двор. Мы бредем гостями.
Все, что не сталось с нами, — все стало нами.
Что не сбылось со мною — сбылось с тобою.
Это для простоты и зовут судьбою.

Горечь да гордость. Надменная моя совесть.
Это ли то, что мне присудили помнить?
Разве что мелочи. Привкус во рту миндальный,
Сладкую горечь грога да сон печальный,

Странную жалость к ушедшему злому веку,
Странную нежность к странному человеку,
Странную рать, арбузного снега мякоть —
Словом, все то, о чем не пристало плакать.

Тогда, тридцать лет тому...

1

Заявилась незваной. Светится
Лик ее сквозь шторы и ставни.
Что ей надо — былой советчице,
Подговорщице стародавней?

Поиграть? Потерзать? Припомниться?
Отомстить ли за то, за это?
То-то пляшет врасхлест по комнате
Саломея с лицом из света!

Все давно у меня как надобно.
Все навек у меня забыто.
Все, что прожито было начерно,
Переписано, перешито.

С головою укроюсь начисто
И не стану смотреть устало,
Как она переводит в «начерно»
То, что белым за годы стало.

И как белым, шутя, оцветила
Бесприютную, злую память...

...Хорошо, что я Вас не встретила —
Вам меня никогда не оставить.

2

Тогда, тридцать лет тому, весна начиналась
Быстрее, чем я ловила ее приметы,
Застенчивые приветы... Опоминалась —
Лишь когда наступало лето.

Я так никогда не узнала ее начала
И никогда уследить за ней не сумела,
И тихих ее намеков не замечала —
Усмешливых и несмелых.

А ветки были окутаны поволокой
Грядущей листвы, и в пролеске играли дети.

Носились собаки. Трещала в саду сорока.
А ты не любил, как умел, —
Лучше всех на свете.

3

Я так молчала тогда. До того молчала,
Что это молчанье меня на себе качало —
Как будто в автобусе тридцать втором и прочих.
Тогда они были, а нынче в маршрутах прочерк,
Дыра, многоточие, рытвина. И измята
Та старая карта, что новой была когда-то.

А знаешь, он был. Он по улицам брел куда-то,
Рыжий «икарус», гармошкою черной сжатый
Посередине. И только на поворотах
Она раскрывалась, словно перед полетом
Крылья нетопыря. И под снегом тайно
Жила, о тебе не зная, моя окрайна.

О беглой твоей улыбке, брошенной наспех,
Как белый билет пробитый, летящий н**а** снег,
Как сам этот белый снег. Как его нерадость,
Когда век от века его заставляют падать.
И век от века нехотя укрывает
Он тайную жизнь окраин и молча тает.

А он, может быть, не хотел расставаться с небом!
А он, может быть, не хотел становиться снегом?
Прятать заборы, и крыши домов, и пашни,
И рыжий «икарус» — давешний, завчерашний,
Залетошний и зазимний. И вновь сначала —
Тридцать второй, где я о тебе молчала.

Маятник

Едва судьба моя очнется —
Судья латунный, он качнется
Назад. В который раз —
                                        в седьмой?
Шесть тайн осердятся, но позже,
Ропща, седьмую примут тоже
К себе, чтоб тоже стала мной.

А может статься, жизнь в девятый
Очнется раз? И циферблатом
Проступит оттиск немоты,
Поскольку мой судья суровый
Проговорить не даст и слова...
Мы никогда с тобой «на ты»

Не будем...
Верный соглядатай,
Он не допустит. Как завзятый
Педант, он знай себе кует
Обычай жизни друг без друга.
Хрипя, стеная, глухо, туго —
Но дозволенья не дает

Ни на молвленье, ни на почерк,
Ни на пузатый абрис почек,
Ни на последний отсвет льда.
Надежда — влево, мука — вправо...
О ты, судейская забава:
Туда-сюда, туда-сюда.

Ах эти точки отклоненья —
Ни отступленья, ни сомненья!
Богами дан ему наказ —
Служить судьбой в тяжелой раме...
Мы никогда не станем «нами»...
Впервые. В самый первый раз.

Огуречник

Я бежала когда-то по топкой траве —
Шорох влажного леса блуждал в голове.
За травой огуречной мерцала вода
Обещанием вечным — мол, все навсегда.
И прилежною стайкой ползли муравьи
Возводить на века зиккураты свои.

А потом долго снилось, как будто иду
Я по черному насту, по белому льду,
Что цепляюсь за колкие кости ветвей,
За суставы оскольчатой жизни своей.

Я когда-нибудь снова туда прибреду —
Пусть по черному насту, про белому льду,
Пусть с раскроенным лбом, пусть с дырою в груди,
Лишь бы с присказкой детской, что все впереди.

Упаду я тогда в огуречник-траву —
Хоть еще не пойму, что уже не живу.
И наполнится солнцем моя голова,
И обнимет меня огуречник-трава.
И отрадою млечной заплещет вода:
Этой правдою вечной — что все навсегда.



ТАТЬЯНА КРИВОШЕЕВА

Когда дождь

Рассказы

Два зонта

После затяжной зимы начались дожди — это было предзнаменованием настоящей весны. Кроме того, Татьяна нашла предлог, чтобы приехать к Павлу, — зонтик: он забыл зонтик. Машина, конечно, защитит от дождя, но нужно дойти до стоянки или добежать до двери здания. Ей и самой пришлось раскрыть свой зонт, когда вышла из метро. Шелестел дождь. Тихий, теплый, бархатный.

Было около семи, люди возвращались с работы, и она тоже слилась бы в своем длинном черном пальто с демисезонной толпой, если бы не новый золотисто-оранжевый зонт.

Гармошка длинного автобуса скрипела и лязгала на поворотах, Татьяна сжимала мокрый зонтик рукой, влага проникала сквозь тонкую кожаную перчатку, сквозь раскрывавшиеся на остановках двери и, казалось, пробиралась к самому сердцу — умягчала его.

Предусмотрительно выйдя из дому засветло, на нужной остановке оказалась уже в сумерках, но она не боялась заблудиться в этом весеннем дожде, хотя район ей был совершенно незнаком.

Номер дома она нашла быстро, но у дома оказалось несколько корпусов, и Татьяна в поисках нужного с какой-то нараставшей в груди радостью то поднималась вверх, то опускалась вниз по лестницам. Удивительно, но спросить было не у кого: толпа из метро, попутчики по автобусу, просто прохожие словно растворились в мягком мраке, вертикально прорезанном желтыми силуэтами фонарей. Была только она, весенний дождь и вот, наконец, — дом, который приютил его.

У нужной двери, ни на секунду не останавливаясь, не сдерживая участившегося дыхания и сердца, позвонила!

Не спрашивая, кто, быстро, словно стоял у двери в ожидании, открыл Павел. Счастливо-растерянный, такой, как тогда, когда привел ее впервые к себе домой. Матери дома не оказалось, и отец бросился на кухню чистить и жарить картошку, а они, осоловевшие от счастья, сидели на диване в ожидании пира.

— Все-таки приехала! Давай зонтик. Проходи. Могу предложить свои тапочки.

— Не надо, я так.

Татьяна не имела представления о съемных квартирах, поэтому однокомнатная квартира сразу сразила ее.

В прихожей были ярко и безвкусно разрисованы «под дерево» двери встроенного шкафа. Павел открыл его, чтобы повесить пальто Татьяны, и она увидела среди пустых вешалок его вещи. Раскрытый Татьянин зонт занял половину прихожей.

Правая сторона комнаты была загромождена очень темной старой секцией с приоткрытыми, наверное, просто плохо закрывавшимися дверцами. Несмотря на слабое освещение, в глаза бросился диван, потому что он был накрыт (одно из последних приобретений Павла) развернутым спальным мешком очень приятной расцветки — зеленым, в мелкие цветочки. У дивана, на самом краю столика, стоял знакомый будильник, большой, круглый, допотопный. Кажется, она избавилась от него, когда переезжали на новую квартиру. Заметив Татьянин взгляд, Павел сказал:

— Нашел в гараже. Боюсь проспать на работу.

Проходя на кухню, Татьяна увидела в ванной на веревке их большое банное полотенце — голубое с красными полосами. В этой чужой обстановке вещи из их дома были ее союзниками.

В кухне он усадил ее на табурет, из холодильника достал нехитрую еду («посоветовали рыбу, а когда жарил, вся развалилась») и неполную бутылку шампанского.

Если бы он достал пиво, водку, коньяк — все было бы просто, к месту, хотя, понятно, и не дамское угощение. Стало не по себе, тревожно.

Павел придвинул табуретку к столу, очень довольный, сказал:

— Вот не ожидал тебя увидеть!

— Звал, а теперь говоришь — не ожидал.

Он был совсем рядом, ее муж, они были подогнаны друг к другу почти тремя десятилетиями совместной жизни. Светло-русые мелкие кудряшки волос едва просматривались в вырезе футболки на груди (сколько раз на ней лежала ее голова). Близкий и чужой. «Забыть, все забыть! И верить только неподдельной радости его сегодняшних глаз».

Павел налил шампанское ей и себе в чашки, привстал, как подобает говорящему тост.

Взгляд Татьяны упал на раковину, рыжую, с облезшей эмалью, от стены вокруг нее отстали обои.

— За тебя! — Павел смотрел ей в глаза ласково, неотрывно. — Извини, что нет хрустальных фужеров, роз. Ты не предупредила. Но все равно — за тебя!

Он **видел** ее. Вся настороженная, с поджатыми под себя ногами, но **это она** отражалась в его узких зрачках. **Это они были вдвоем**, пусть даже не дома, а на этой съемной квартире. Татьяна смогла вытащить себя из забвения. Через боль. Но по-другому никак не получалось.

— Таня, что ты делаешь! Остановись! — пыталась образумить мать, когда Павел воротился с середины дороги, не доехав до съемной квартиры. — Разреши ему остаться.

— Нет, мама, пусть уходит, пусть уходит.

Сжавшись в комочек, Татьяна сидела на закруглении дивана, обхватив руками плечи, не поднимая глаз. Он уехал — и она включила адажио Альбинони.

Татьяна пристрастилась к Альбинони, вообще к классике, длинными одинокими вечерами: лучше слушать музыку, чем лифт, развозящий после полуночи припозднившихся жильцов многоквартирного подъезда.

В последней части Адажио явственно слышался мерный стук похоронных дрог, и Татьяна шла за ними, покорно склонив голову.

В куртке и шапке Павел опустился на корточки возле дивана, сжал ее руки, пытался заглянуть в глаза.

…А Татьяна, измотанная, обессилевшая, сжав распухшие губы, все шла и шла, подвластная музыке, и боялась только одного — споткнуться.

Это была не ее идея — «разъехаться, чтобы проверить свои чувства», а один из советов психолога Татьяне, у мужа которой служебный роман.

— Да ты не слышишь меня, — его голос вернул ее в счастливую реальность. — Расскажи, как вы живете.

Чувствуя его неподдельную заинтересованность, Татьяна стала рассказывать о детях, о матери, не упуская мельчайших подробностей. Она даже рассказала о приключениях сегодняшней ночи: у них на десятом этаже появились мышата. Разбуженная беготней кошки, Татьяна в темноте наступила босой ногой на полуживого мышонка.

— Ты, наверное, даже не закричала.

— Ты хотел, чтобы я разбудила всех?

— Смелая женщина, не боишься ни мышей, ни собак, ни змей.

— Неправда, змей боюсь. Помнишь, как собирали клюкву на Воздвижение. Страшно было, особенно после того, как ты показал пень, весь облепленный гадюками. Было не до ягод, несколько раз осматривала место, прежде чем протянуть руку за ягодками.

— Все равно ты набрала больше всех.

— В лесу совершалось таинство, а мы были совсем не ко времени со своими ягодами.

— Как это сказать, ты чувствовала, понимала лес. Настоящая лесная царевна.

Татьяна усмехнулась:

— Где мой венок из папоротника с гроздьями черной бузины и красной калины?

— Первый гриб всегда твой. Только разойдемся — и уже звенит твой голосок.

— А ты несешься, как лось, ломая ветки, с другой стороны леса, бросаешься на колени, ползаешь вокруг боровика, роешь мох вокруг на полкилометра.

— Так за боровик — поцелуй! А в лесу поцелуи самые сладкие. За день так накалишься!

Беседа продолжалась, казалось, они не могли наговориться, избегая лишь приближаться к тому, что происходило в течение последнего года, к тому, что случилось месяц назад. Павел подливал в чашки шампанское, уговаривал:

— Выпей, твое любимое — полусладкое.

Теперь Татьяна старалась не видеть убогую чужую мебель, кособокую раковину, выщербленную посуду. Настольная лампа отбрасывала круг света. И Татьяна пыталась укрыться в том круге света, что лился из глаз мужа.

Все же в какой-то момент она подошла к окну, очертания домов, дождливый мягкий мрак должны были вновь связать Татьяну с реальным миром, но Павел обнял ее со спины, прикоснулся губами к шее, задохнулся:

— Как я соскучился! Ты ведь останешься, правда?

Она не стала лукавить сама с собой. Ради чего ехала? Смогла выдержать только месяц после разлуки.

— Откуда можно позвонить маме? Я не сказала, куда поехала.

Мгновенно был подхвачен золотисто-оранжевый зонт, и они понеслись по лестницам, по ступенькам вверх — вниз, вниз — вверх к вожделенному таксофону.

По-прежнему шел дождь, теплый, тихий, бархатный. Никто этого не замечал.

Павел уснул мгновенно, повернувшись на левый бок, и по привычке приоткрытая ладонь левой руки осталась за спиной. Татьяна вложила свою руку в его ладонь, как делала это всегда, и тут же почувствовала ответное пожатие: ладонь, как цветок, закрылась. Это был его жест, жест любви и близости.

Утро было окутано холодным молочным туманом, словно изморозью. К стоянке шли молча мимо домов частного сектора. Вокруг безлюдно. Благоустроенные особняки не подавали никаких признаков жизни.

Павел спешил на работу, потому подвез Татьяну только до метро. Когда машина остановилась, она спросила:

— Ты ведь вернешься сегодня домой?

— Не знаю... Мне нужно подумать.

Выйдя из метро и оказавшись в своем районе, защищенная от всего чужого, Татьяна не пересела, как обычно, в автобус. Она пошла пешком через парк в сторону своего дома.

Утренняя свежесть холодила щеки, обжигала шею, уши, руки — Татьяна ничего не чувствовала. Черные деревья молча сопровождали ее до конца аллеи. Но как только она вышла из-под их укрытия, ветер подхватил полы ее черного пальто, колючие иголки дождя впились в лицо.

Татьяна легко могла справиться с дождем: достаточно было нажать на кнопку своего золотисто-оранжевого зонта или достать из сумки другой — черный, мужской…

Для нее это было лишено смысла: ведь когда дождь, можно плакать, не сдерживая себя.

Гимназические этюды

I

Частная гимназия находилась в помещении бывшего детского сада, с трех сторон обрамленного старыми разросшимися деревьями. Арендованные вместе со зданием, они были вольны, как гимназисты. Никакие циркуляры не касались деревьев: их не прореживали, не подстригали, например, к какому-нибудь смотру-конкурсу дизайна прилегающей к учреждению образования территории.

Деревья в запущенности жили своей естественной жизнью. Другой мир. Прерывалось время, когда глаз во время урока оказывался за окном: предложение не дописывалось, фраза не договаривалась.

В сентябре, идя на уроки, я спотыкалась о полудикие яблоки, раскатившиеся в великом множестве, хотя был неурожайный год, по двору. Мелкие, разбившиеся при падении, они были опасны как липкий мусор: можно поскользнуться, можно принести на шпильке.

Но когда я однажды вышла на балкончик второго этажа, то увидела совсем другие яблоки: они выглядывали красными боками с кудрявой яблони, у которой ни веток, ни ствола не было видно, только зелень листвы да багряное свечение плодов.

Сказочная яблоня с молодильными яблоками!

И в памяти ожил шестнадцатилетний влюбленный мальчик, который говорил: «Ты у меня как яблочко!» — и целовал в тугие румяные щеки.

Яблоня, дай молодильное яблоко, верни меня в мою весну!

II

После нескольких холодных туманных ночей в городе поселился листопад. Уже в автомобильной пробке на проспекте Пушкина я узнаю об этом, потому что позади меня едет «Mazda», переднее стекло и капот которой облеплены мелкими желтыми листочками. Хотя я живу в безлиственном районе, какой-то листочек-мотылек бьется и в мое ветровое стекло.

Неужто осыпались и деревья вокруг гимназии?

Не осыпались. Стоят разноцветной стеной.

Подходя к гимназическим воротам, вижу старшеклассников, играющих во время СП (самоподготовки) в футбол.

Вот Никита принимает пас, ведет мяч, с силой размахивается — удар!

И разом рухнула вниз желто-красная листьев лавина.

А мяч все летит, летит в противоположную сторону, выше ворот, выше ограды…

Ну и Никита!

III

Зимой я спешила оказаться в помещении восьмого класса. Отсюда на фоне белого неба вырисовывались необыкновенные деревья, названия которых не знала. Ясени ли, вязы?

В черноте их стволов и обнаженных веток была застывшая пластика пантомимы, выполненная с помощью графики и видимая только зимой, когда нет ни единого листа.

Плавными глубокими волнами разбегались от ствола ветви, ряд за рядом, изумительно красиво очерченные. Ни единого острого угла, вертикальной линии, только гибкие волны-сучья, переходящие с одного дерева на другое. В некоторых ветвях, опущенных вниз, просматривалась округлость ладоней, взволнованность пальцев, готовых в любой момент прийти в движение и дать возможность зазвенеть всему дереву.

Из окна не было видно, что одному из деревьев уже пришлось найти опору в виде крыши здания. О подступающей немощи ни слова.

Только застывшая красота.

Ее час — зима.

IV

Весной именно старшеклассники первыми открывали окна в сад, но они не любовались ни зефировым маревом вишни, ни простым полосатым котом, греющимся на безопасном подоконнике. Они сами были часть весны. Веро-

ника приходила в белом кружевном, не по погоде надетом платье; Костя вовсе не приходил, на его месте лежали аккуратно сложенные учебники и тетради. Юра по секрету всем, кто мог посочувствовать, рассказывал о безответной любви.

Перед уроком литературы кто-то поставил в вазу на учительский стол ветку сирени.

Войдя, я замерла. Не сразу смогла сказать привычное: «Здравствуйте! Садитесь».

Крупные, тяжелые гроздья с махровыми фиолетово-малиновыми соцветьями свесились до самого стола…

Вопреки времени, разлуке, судьбе, в них, оказывается, жила моя любовь.

Такую же ветку сирени я принесла в больничную палату, куда из реанимации перевели мужа. Перевели неожиданно. После долгих суток ожидания. Такой был добрый знак.

Помню свой полет по длинному коридору. Сначала налево, потом направо и прямо, прямо…

В палате стояло очень много высоких кроватей с больными. Я не видела среди них мужа. Поникшая, не двигалась с порога палаты — и цветочные кисти дрожали в моей руке. Пока он не позвал…

Позови меня!

V

Подобно волнам-сучьям, переходящим с одного дерева на другое, затрепещут прекрасные деревья, оживет ветка сирени, зазвучит в памяти голос — и всему будет продолжение: молодости, красоте, любви.

И мыслится, что там,

на краю жизни,

тоже будет продолжение…





Впервые в «Нёмане»

ВАЛЕНТИНА БОРИСОВА

Две дороги

* * *

Любовь с годами будто убывает —
Цвет жизни всей и мука, и краса!
И все-таки она не исчезает —
Возносится любовь на небеса.

Душа томится, будто бы в неволе,
И в ясный день под клекот журавлей
Уходит в небо за своей любовью,
Чтоб навсегда соединиться с ней!

Две дороги

Для чего совпадают
Две дороги мои —
Место первых свиданий
И последней любви!..

Чтоб пришлось в одночасье
Мне, оставшейся жить,
Навсегда свое счастье
Здесь живым схоронить,

Вздрогнут сосны от боли
И замрут, чуть дыша…
Погрубела бы, что ли,
От потери душа!

* * *

Лето свой этюд последний
Набросало мне в тетрадь,
Дальше золотом и медью
Будет осень рисовать…

Подарить что осень может? —
Раньше спрашивала я.

А теперь вопрос построже:
С чем иду я к ней сама?..

Может, я сейчас, волнуясь,
На ее печальный суд,
Как на плаху золотую,
Свою голову несу?..

* * *

Любовь на земле — это высшее счастье,
След Божий на поле коварства и лжи,
Порыв и полет в бесконечном пространстве
Широкой, взволнованной, нежной души.

И если сорвемся с немыслимой дали —
Порой высоту соблюсти тяжело, —
То не потому, что любовь потеряли,
А чтобы любимым подставить крыло.

* * *

То впадаю в унынье,
То не в меру смеюсь:
Сотворил Бог счастливой,
А я счастья боюсь.

Сердце рвется на части
И пощады не ждет.
Запоздалое счастье,
Ты — несчастье мое!

Разговор с кошкой

Мойся, Катюша, мойся,
Только «намой» мне гостя —
Милого друга ли давнего,
Знакомого ли случайного,
Близкого ли, захожего,
Только чтоб очень хорошего,
Можно и некрасивого,
Только чтоб очень сильного,
И хорошо б любимого!..
Если не выйдет, милая,
Зови и нелюбимого в дом —
Я полюблю потом.

ВЛАДИМИР СТЕПАН



Высокий берег

Портрет художника на фоне рисующих детей

Повесть

Сергей Петрович Катков родился 1 октября 1911 года в селе Скрипицино Пензенской губернии. В октябре 2011 года будет сто лет с того дня.

Многих, кто родился тогда, уже забыли. Неудивительно — сто лет большой срок. А вот Сергея Петровича помнят. Он был художником и учителем. Оставил картины и учеников.

Я пытаюсь создать его портрет из осколков, из отражений, из картин, рисунков, фотографий, воспоминаний, писем, черно-белых кинокадров... Фрагменты иногда складываются, как пазлы, а бывает, что вступают в противоречие, начинают спорить, и моя работа останавливается.

Понимаю, что все написанное — слова, что это только мое субъективное видение человека, с которым и пересекался в реальной жизни только дважды. Один раз, осенью 1973 года, Сергей Петрович пожал мне руку на улице рядом с Дворцом пионеров и спросил, как меня зовут. Второй раз, весной 1974 года, я видел его под колонами художественного училища. Катков разговаривал с моим преподавателем Кимом Шестовским, который когда-то ходил к Сергею Петровичу в изостудию.

Уверен, что он мое имя, один раз услышанное, и не вспомнил бы. А вот я Каткова запомнил.

Наверняка Сергей Петрович много раз давал своим ученикам задание нарисовать пейзаж или портрет «по памяти», а композицию «по воображению». То, чем я сейчас занимаюсь, и будет выполнением двух заданий: портрет «по памяти» и «по воображению».

Набережная Сены

Геннадий Хацкевич, один из учеников Каткова, сказал, глядя мне в глаза, что Сергей Петрович не умер...

Я взрогнул и напрягся, ведь Хацкевич говорил абсолютно серьезно. Так истинно верующий говорит о Боге. Наверное, по выражению лица он уловил мою растерянность и добавил: «Я лично видел Сергея Петровича прогуливающимся по Парижу, по набережной Сены, рядом со старым мостом...»

Именно в Париж, по мнению Гены Хацкевича, переносятся после земной жизни все хорошие художники. Именно Париж становится тем святым местом, где обитают настоящие живописцы.

Ни о поэтах, ни о писателях с музыкантами, ни об артистах и архитекторах, а только о настоящих художниках сказал Хацкевич.

Эта метафора, очень ярко рисующая образ художника двадцатого века, это высказывание ученика об учителе застряло в моей памяти. Я не знаю, мечтал ли Сергей Петрович побывать в Париже. Возможно, что мечтал, даже скорее всего мечтал, и может быть, обмолвился в каком-нибудь не очень обязательном разговоре с детьми, стоя на высоком берегу Березины, раскладывая этюдник, выдавливая на палитру краски, что хочет увидеть Париж... А по свинцовой Березине, вздувшейся после дождей, в это время маленький буксир тащил смолисто-черную баржу, полную ошкуренных желтых бревен. И четыре волны тянулись за ним, как нитки за иголкой.

Ученик запомнил слова, оброненные учителем, а потом, когда сам стал взрослым, подарил любимому учителю его мечту. Перенес его в Париж, в город художников, и там поселил... Мне кажется, что это настоящая благодарность — непритворная, искренняя, детская...

Сергей Петрович похоронен на Северном кладбище в Минске, в городе, где прожил большую часть жизни.

Талая вода

В доме Сергея Петровича есть небольшая живописная работа. Холст висит на той же стене, что и две старинные иконы, но в некотором отдалении. Иконы красно-коричневые, а пейзаж Каткова — серебристо-жемчужный. Простой и незатейливый. Вода реки, пятна снега, темные деревья, серое небо. Возможно, это случайное совпадение, что иконы висят у входа в комнату, а пейзаж — в углу. На том месте, где должны быть иконы.

Я всегда, бывая в доме, смотрю на этот пейзаж. Иногда долго и внимательно всматриваюсь, а иногда лишь скольжу взглядом по матовой поверхности, боясь углубиться во влажный весенний воздух, боясь переступить тусклое золото старинной рамы и оказаться там, где можно промочить ноги в холодной и темной талой воде.

Мужское занятие

Если мужчина любит наряжать елку, если он считает такое дело важным и ответственным, если он не жалеет на это времени... Значит, он и в чудеса продолжает верить, хотя даже своим детям в этом не признается. Наверное, только потому, что стесняется.

Сергей Петрович любил наряжать елку, любил возиться с хрупкими стеклянными игрушками, с простецкими картонными... Сочинял сказочные композиции и истории. Спорил, доказывая, какая игрушка на какой ветке должна висеть.

Теперь елку наряжает его дочка Света.

У нее много «старинных» елочных игрушек. Есть верхушки, похожие на сосульки, есть и очень нарядные звезды, и шары, и фонарики, и шишки, и куклы... Их еще Сергей Петрович покупал.

В этом году Света «старинные» игрушки на елку не вешала, может, разбить боялась?

Премия

Илья Репин написал картину, где изображен молодой черно-кучерявый Александр Пушкин, читающий свои стихи перед самим Гавриилом Романовичем Державиным. Дело происходит в одном из залов Царскосельского лицея. «...старик Державин нас приметил и, в гроб сходя, благословил», — спустя годы напишет Пушкин, вспоминая тот зимний день. Строфы посвятит друзьям лицеистам.

Мне попалось и другое воспоминание о приезде старика Державина в знаменитый Царскосельский лицей на экзамены по русской словесности. Его оставил молодой Дельвиг. Была зима, январь месяц. Подъехала карета. Из кареты с трудом выбрался старенький и тщедушный поэт Державин — он же бывший министр юстиции, — в тяжелой шубе, накинутой на плечи. К великому поэту подлетел восторженный, балующийся стихами, молодой Дельвиг, чтобы преклонить колено и поцеловать руку. Хотел что-то восторженное пролепетать, но старик Державин, утомленный дорогой, нетерпеливо осадил его самым прозаическим и жизненным вопросом: «Братец, а где у вас тут нужник?»

Разговаривая с учениками Сергея Петровича, слушая их воспоминания, не раз ловил себя на мысли, что дети помнят как свой восторг и удивление от величия наставника, так и то, что учитель был человеком обыкновенным, добрым, не лишенным слабостей.

Однажды, еще семиклассником, Сергей Катков выставил два этюда. Работы заметили, и молодой художник получил одну из девяти поощрительных премий. Такую же премию получил на той же выставке АХРРа в Пензе и художник Иван Силыч Горюшкин-Сорокопудов. Именно он станет преподавать у Сергея Каткова, когда тот, через год, поступит в Пензенское художественное училище на педагогическое отделение.

Кстати, учителем Горюшкина-Сорокопудова был знаменитый Илья Ефимович Репин.

Подрамники и рамы

Где-то года за два до смерти Сергей Петрович принялся перебирать свои работы. Их было много. Большие, маленькие, на холсте, на картоне, на бумаге. Дело это хлопотное, а здоровья уже не было, чтобы выдергивать гвозди, которыми холст прибит к подрамнику. Он попросил сына помочь. Вдвоем за несколько дней они разобрались со всей живописью, хранившейся в мастерской. Холсты были сняты со старых подрамников и свернуты в рулоны. Стеллаж и мастерская на втором этаже дома опустели. Наверное, мастерская стала казаться большой. Словно комната, из которой вынесли мебель. Скажешь слово, кашлянешь, вздохнешь тяжело — эхо появляется и чувство одиночества...

Те рулоны с работами положили под стену, в маленький чулан, рядом с мастерской, а сверху свалили старые рамы, подрамники, планшеты, рейки. Там они и лежали больше тридцати лет.

Нашла отцовские работы дочка Светлана. Кстати, фамилию она себе оставила отцовскую — Каткова. Посмотрела и удивилась. Работы стоящие, настоящие, честные.

Некоторые холсты пришлось чистить, мыть... Старых подрамников, тех, на которых когда-то были холсты, давным-давно уже не было. Начались обмеры. Предстояло сделать почти сто подрамников и рам. Светлана заказала

мастерам. Сделали, привезли, и как часто бывает, много чего перепутали. К одним работам подрамники не подходили, а к другим — рамы.

Получилось, что после того, как все работы к выставке были подготовлены, осталось много рам и подрамников.

Если бы я был мистиком, верил в Провидение, то подумал бы, что рамы и подрамники остались не случайно. Что это Сергей Петрович передает дочке привет и говорит, чтобы она писала вместо него. А может, не только Светлане, но и внучке Зое таким образом шлет напутствие.

Но я не мистик, к сожалению...

Дети

Молодых художниц Свету Каткову и Зою Литвинову, которые делали на холстах и картоне что-то не совсем понятное, но привлекавшее его внимание и вызывающее постоянный интерес, Сергей Петрович обзывал «ведьмами».

Вот так! Ни много ни мало. Маленькая Света была его дочкой, а высокая Зоя — ее подругой. Кажется, уже тогда он угадал, что они будут колдовать в своей живописи, как две «ведьмы».

Натура

Даже если бы я и не знал, что все пейзажи и натюрморты Каткова написаны с натуры, то я все равно понял бы это. По мазкам краски, положенным так, как растут на дереве листья, по ряби волн, по непонятному цвету горизонта. В мастерской, без натуры, художник нарисовал бы горизонт монотонно голубым, да еще и размазанным...

Мне радостно от того, что и Сергей Петрович считал, что выразительнее натуры ничего нет.

Фотография

Летом в село Андросовка Куйбышевской области, где находилась семья Каткова, пришло очередное письмо. Кроме вчетверо сложенной странички в конверте было и еще что-то. Там была узкая фотография. На ней Сергей Катков в гимнастерке и с букетиком белых полевых цветов. Ромашки и пастушья сумка. На первый взгляд кажется, что фотография напрочь лишена военной суровости и мужественности. Молоденький солдат и цветы. Мне не доводилось видеть таких фотографий. Совсем мирный снимок. А дата и подпись страшные: «10 июля 1942 года. Действующая армия».

Кто-то может сказать, что это сентиментальный снимок. Циник обзовет его пошлым. А я скажу, что фотография мужественная и суровая.

Может, и на эту фотографию смотрела его дочка в той далекой Андросовке, когда мать рассказывала ей об отце...

Детские рисунки

Все рисунки своей внучки Сергей Петрович собирал, складывал, а потом наклеивал на большие листы бумаги и подписывал. Так же поступал и с сотнями, тысячами рисунков своих учеников. Он, как никто другой, знал им

цену. Понимал, что если сейчас их не сохранить, все они рано или поздно окажутся в мусорной корзине. И уже никогда, никто их не увидит, не восхитится, не заблестят глаза и не задрожат руки известного белорусского художника, архитектора, врача, ученого... Они не смогут даже на пару минут стать теми школьниками, маленькими художниками, для которых беличья кисточка — настоящее богатство. А если к такой кисточке еще альбом и коробка красок, то... Догадались?.. Это и называется счастьем.

Катков сохранял счастье.

И другая, не менее важная, чисто педагогическая цель была в таком страстном и пунктуальном коллекционировании. Сергей Петрович готовил книжки, по которым дети смогут учиться рисовать. Ведь не у каждого есть такие учителя, как он.

Написать их не успел.

Секрет

Берешь акварельные краски, бумагу, воду и кисточку. Больше ничего и не надо. Кисточка прикасается к воде, к краске, а затем к бумаге. Происходит чудо, или фокус, тут как кому нравится. На бумаге возникают кучерявые облака, растревоженные ветром деревья, небо, вода. Яблоко, похожее на пушечное ядро, груша, напоминающая пудовую гирю. Появляются, словно из ниоткуда: красная кружка и синий кувшин, цветок и апельсин, парашютист и охотник, краб и кит, пятнистый ягуар и огненный тигр.

Звезда, буква, волна, радуга, кровь...

Да все что угодно, список бесконечен.

Тот, кто покажет это чудо ребенку, сразу же в его глазах станет значительным, не таким, как все. Волшебником, если хотите. Не хотите волшебником, тогда — фокусником...

А если тот фокусник или волшебник еще и ребенка научит создавать на бумаге мир, то он из человека значительного сразу же превратится в великого.

Именно это и произошло с Катковым. Все его ученики говорят о нем как о великом человеке. А ведь Сергей Петрович научил их всего только правильно держать в руке кисточку, бережно прикасаться к краске, не забывать макать кисточку в банку с водой и не брать кисточку в рот.

Испачкаешься — все будут смеяться.

Кто там?

Было у Сергея Петровича удивительное качество. Для современных педагогов очень редкое. Заключалось оно в том, что Катков приходил в дом своих учеников и разговаривал с родителями о будущем их ребенка, своего ученика. По себе знаю, как это непросто. Время для такого серьезного разговора надо выкроить, да и немало. А результата может и не быть. Ведь родители всегда считают, что они лучше всех знают, какую профессию надо выбрать для ребенка, чтобы его жизнь была счастливой и безбедной. Но учитель рисования всегда находил время. Мог ведь плюнуть на все, взять холст и пойти на этюды, или в мастерской закрыться и писать-рисовать свое. Да в конце концов, мог посидеть с друзьями, выпить, поговорить «за жизнь»...

А он ехал на другой конец города. В трамвае трясся, автобус на остановке ждал... Приходил и долго убеждал родителей, что из их сына или дочки может

получиться художник. Катков понимал, что потом, через несколько лет, уже ничего не исправишь, назад не повернешь и жизнь не переделаешь. Понимал и то, что человек должен заниматься тем, к чему у него лежит душа.

Чаще всего родители Сергея Петровича слушали: он умел убеждать, так как сам верил. И не мешали ребенку идти в художественное училище, школу, институт.

Что ему с того?

На одного художника становилось больше! На одного человека, разочарованного и недовольного жизнью, меньше.

Интересно, вспоминают ли сегодня именитые художники, как в их квартиру позвонил, а может, негромко постучал в дверь невысокий учитель рисования?

Подумал ли тогда хоть кто-нибудь, что это «судьба стучится в дверь»?

Латинская надпись

Из всех дел, которыми занимался Катков на протяжении своей не очень долгой жизни, главным были дети. Сначала я думал, что столько много художников вышло из его изостудии потому, что она была единственной в Минске. Потом, разговаривая с учениками, понял, что ошибаюсь. Изостудии и кружки в городе работали, и его изостудия во Дворце пионеров не была единственной. Кружки были, преподаватели — тоже, но вот Сергей Петрович являлся личностью уникальной и на других непохожей. Шли именно к нему, тянулись к нему.

Знаете, что на серебряном долларе написано? «Единственный из многих».

Альбом для рисования

Катков учил детей рисовать правдиво.

У меня есть старый альбомчик для рисования. Маленький, в картонном переплете, затрепанный и потертый. На серо-зеленой обложке нарисована акварельной краской рамка, орнамент и два флажка. Написано, как и положено на настоящей книге, заглавие: «Праздник в Минске». А на последней странице, совсем «по-взрослому» написано печатными буквами: «Минский Дворец пионеров». Читается, как название издательства.

Из этого альбомчика я узнаю о празднике в городе больше, чем из самого развернутого фоторепортажа на страницах журнала или газеты тех лет. Да и не только о самом празднике, но и о жизни людей. Двенадцать акварельных картинок Родевича Валентина, ученика четвертого класса 60-й школы.

Вот маршируют солдаты, развеваются красные флаги, едут по улице танки, над Домом Правительства — салют, похожий на малость увядшие цветы гвоздики. Такой же салют, только гвоздики белые, над гостиницей «Беларусь». Вот зеленые грузовики пушки тащат, а в кузове, как пешки на шахматной доске, солдаты в зеленых касках...

Есть два изображения памятника Ленину на площади. Рядом, как гусеница, проползает колонна демонстрантов с флагами.

На одном из рисунков изображена студия. Это мой любимый рисунок. Два окна, на подоконниках чучела птиц, тумба с темной скульптурой лошади, четыре мольберта, за ними сидят дети. Над их головами большая торжественная люстра. Нарисовано так, что мне кажется, можно услышать,

как шуршат карандаши по бумаге, как сопят дети. Наверное, если бы лист в альбоме был большим, то и студийцев, и мольбертов поместилось бы на лист много. Может, и своего наставника Валентин нарисовал бы. Эх, жаль, маловат альбом!

А последняя картинка совершенно потрясающая. Она как завершающий аккорд звучит. В комнате, за столом, сидят на табуретках мужчина и женщина. Они пьют водку. Большая и прозрачная бутылка в руке мужчины зависла над рюмкой. На тумбочке патефон, на стене — радио и зеркало.

За последний рисунок поставлена рукой Сергея Петровича «пятерка». Альбомчик 1952 года.

Вот такой социалистический реализм!

Родина

Я не могу спросить у Сергея Петровича, что для него — Родина? Если бы такая возможность была, то думаю, что ответом на этот короткий вопрос, оказалось бы молчание. Во всяком случае, в разговоре возникла бы пауза. Не знаю, как долго бы художник молчал, подбирая нужные слова. Может, мне стало бы неудобно за некорректный и в чем-то очень интимный вопрос.

Хотя ответ я знаю. Для человека, русского по рождению и воспитанию, по мировоззрению, по жизненному опыту, по...

У меня есть много писем Сергея Петровича, есть его блокноты с записями разных лет, есть его фотографии...

Самое главное, что у меня есть компьютерный диск, на котором собрано больше сотни живописных работ. Если его просмотреть быстро, так, словно листаешь книгу, когда одна картинка сменяет другую, когда изображение накладывается одно на другое и пейзажи возникают друг из друга, то увидишь ответ на вопрос. Увидишь Родину Каткова. Там будут озера и реки, улицы Минска и холмы Логойщины, пляжи Паланги и горы Крыма, реки Сибири, полевые цветы, яблоки, грибы и виноград, маленькие реки и большие, мосты и мостики...

Там будет Родина. Катков почти всегда писал то, что ему нравилось, то, что любил и что его волновало.

Хотя, если бы я спросил, за что он воевал, то про Родину Сергей Петрович мог бы и не сказать. Из писем понятно, что воевал он за жену Татьяну, за дочку Светлану, за разбомбленный дом на привокзальной улице, в котором жил до войны, и за тот дом, который мечтал построить.

О чем не говорят, вспоминая Каткова

О том, что он иногда бывал сильно пьян и озлоблен на советскую власть и глупость, этой властью творимую. Правда, он молчал, не жаловался, никого своими проблемами не «грузил».

О том, что он не любил вранья художников, чувствовал себя перед ним обезоруженным и беспомощным. Как на словах, так и на холстах.

О том, что ему нравились крупные женщины. Что в их присутствии он таял и готов был прощать им любые глупости. У каждого есть слабости.

О том, что Катков русский и родился в Пензенской губернии, что не принимал деление художников по национальному признаку. А если и делил, то только по таланту и заслугам.

О том, что все дети, независимо от того, кто у них родители, для него равно любимые. Ни национальность ребенка, ни социальное положение его родителей для Сергея Петровича значения не имели.

О том не говорят, что Катков сделал для белорусского искусства больше, чем многие народные и заслуженные. Больше, чем академики, профессора и доценты... Будучи всего лишь учителем, руководителем изостудии во Дворце пионеров.

Фикус и пальма

Я часто прохожу по улице Кирова. Там почтовое отделение, где я получаю посылки, бандероли и денежные переводы. Хорошая тихая улица Минска. На ней, напротив почтового отделения — Дворец пионеров. Тот самый, где была знаменитая изостудия Сергея Петровича. В нее ходило очень много моих знакомых. Теперь они художники, архитекторы, врачи, писатели — некоторые известные. Дворец пионеров сменил вывеску. Прямо над входом соорудили что-то из стекла и металла. За стеклом стоят большущий фикус и пальма. Раньше они стояли в вестибюле и были хорошо видны с улицы.

Они, наверное, помнят Сергея Петровича. Может, проходя по вестибюлю, одетый в белый военный тулуп, обутый в валенки, мужчина останавливался. Сжимал в левой руке зимнюю шапку, а правой прикасался к темному и плотному, словно клеенчатому листу фикуса. Щурил глаза и шел к детям.

Я видел несколько детских рисунков фикуса. Тогда он таким большим еще не был.

Где-то в Париже

Архитектор Леонид Левин рассказывал, как в Париже, в мастерской Бориса Заборова, они выпивали за Сергея Петровича. Оба его ученики, ходили в студию сразу после войны.

Все мастерские художников очень похожи. И не важно, в каком городе, в какой стране и даже в каком времени та мастерская находится. Я эту картинку представляю легко.

Думаю, что не только Леонид Левин и Борис Заборов вспоминают своего первого учителя, изостудию, простенькие мольберты, бумагу на четырех канцелярских кнопках, запах краски и голос Сергея Петровича.

Мастерские у художников похожие, а вот пейзажи за окном всегда разные.

Письма

Не знаю, есть ли хоть один человек, который думает о том, что через много-много лет его письма будут читать. Когда не будет уже ни его, ни того, кому адресованы письма. Нормальные люди об этом не думают.

Читать чужие письма опасно. Они могут легко разрушить сложившийся образ человека. В приватной переписке чересчур много личного. Читая, всегда ощущаешь себя тем печально знаменитым «третьим лишним». Мне чтение чужих писем напоминает чтение медицинского диагноза: узнаешь, что у человека болит, что его беспокоит, на что он жалуется, какие надежды имеет.

Да, образ сильного и уверенного мужчины разрушается, но от этого Каткова начинаешь уважать еще больше. Ведь и у него болит так же, как и у тебя. И он не знает, чем эту боль заглушить, как от нее избавиться, где от нее спрятаться... И он хочет, чтобы поскорей все плохое закончилось, хочет в Минск, к жене и ребенку, которого даже не видел... Но боль свою он скрывает, бодрится, верит, что написанным словом удастся поддержать и близких. Ведь и им плохо, голодно и тяжко жить. И тогда он пишет о чем-нибудь легком и веселом, приятном. Рассказывает, как его накормили трофейной тушенкой и шоколадом. Пишет, что после такого угощения неделю не будет есть...

Вечер. Тишина. На столе, наспех сколоченном из досок, листок мятой бумаги и карандаш. Катков сидит на ящике от снарядов. Он смертельно устал, хочется есть и спать. Но правая рука берет карандаш, левая прижимает бумагу, появляются первые слова: «Здравствуй, моя дорогая Танюша...»

Хорошо, что почти все фронтовые письма Сергея Каткова сохранились.

На сопках Маньчжурии

Война закончилась. Германия капитулировала. Победа. Солдаты едут домой. Они радуются, что остались живы, пьют водку, спирт, вино из железных кружек, а то и прямо из горлышка. Закусывают, курят. На гимнастерках бренчат медали.

Их ждут. Все везут подарки: женам, невестам, родителям, детям... И Сергей Катков едет из Кенигсберга в Минск. Только так случилось, что нет у него подарка для пятилетней дочки. Засуетился, распереживался, что с пустыми руками в Минск явится. Приятель-попутчик выручил. Вытащил из своего вещмешка брезентового что-то большое и дал Каткову. Оказалось — часы трофейные, с гирями. Повеселел солдат: теперь и он везет дочке подарок, да не лишь бы что, а часы с кукушкой...

Недолго пробудет он в Минске, всего пару часов, а потом эшелон пойдет на Восток. Для Каткова война в мае 45-го не закончится. Ему еще в Маньчжурию надо... Но передать подарок он успеет. И часы с кукушкой будут в Минске ждать, когда жена с дочкой вернутся из эвакуации.

А Сергей Катков будет смотреть на плавные изгибы сопок, на цветущую сакуру, на кривые сосны, на па́годы, будет пытаться их рисовать. Где-то рядом, может, на сливе, станет невидимая кукушка монотонно считать дни.

Когда в Маньчжурии утро, в Минске ночь. И там кукушка на часах выглянет из домика. Пятилетняя дочка проснется.

Когда я это представляю, мне становится радостно.

Блокноты

Мелким и очень убористым почерком, чернильной ручкой, в дешевых блокнотах сотни записей. Записи о том, как надо учить детей рисовать. Каждая запись конкретная.

Сергей Петрович был уверен, что успеет подготовить и издать несколько небольших книг. Рисунки были собраны и классифицированы по разделам, осталось только написать текст. А точнее — собрать разрозненные записи из дневников и блокнотов.

«...почему именно ребенок может изобразить то, что он никогда не видел, не знал? Может быть, потому, что ребенок — часть человеческого рода, и в

этом его связь с огромным человеческим коллективом. Ребенку помогает в этом предыдущая работа целого рода, всех ушедших поколений?

Бессознательно ли ребенок рисует? Как человек с закрытыми глазами, или?

Каковы возможности и пределы детского творчества?»

Не успел...

В том, что такие книги нужны детям и учителям, он не сомневался никогда. К сожалению, разобрать записи и сложить из них книгу уже никто не сможет.

Да и нужны ли сейчас такие книги?

Купола

Катков договорился по поводу автобуса и объявил студийцам, что через неделю все желающие могут поехать на этюды в город Полоцк. Волнение и радостные сборы. Дети, в отличие от взрослых, собираются быстро. А мальчишки — быстрее, чем девочки.

Автобус подъехал к Дворцу пионеров, и началась погрузка этюдников, планшетов, папок, картонок, сумок. Борьба и споры за лучшие места. Так всегда бывает, кто-то у окна хочет сидеть, а кто-то впереди. Кто-то с другом на заднем сидении, а кто-то рядом с учителем... Разобрались, успокоились, и автобус покатился из Минска. Сразу за городом и небо сделалось высоким, а горизонт распахнулся, словно шторы открылись.

Я хорошо знаю дорогу на Полоцк. Она самая извилистая и самая красивая в Беларуси. Логойск, Плещеницы, Бегомль... Березину переехали, остановились, попили воды из родника. Побегали, покричали, водой холодной мальчишки девчонок облили, проверили, все ли пассажиры собрались, и опять поехали.

В Полоцке — Софийский собор над Двиной и Спасо-Евфросиниевская церковь, купол которой тогда голубой краской был покрашен. Их дети и рисовали. И Сергей Петрович работал вместе со своими учениками. Несколько дней с утра до вечера по Полоцку ходили и рисовали минские дети со своим наставником. Карандашом и кисточкой пропорции соборов измеряли. Старались, чтобы похоже получилось.

После поездки, как и положено у настоящих художников, сделали отчетную выставку во Дворце пионеров. Радовались.

Вот после выставки все и началось. Пришли чиновники, глянули и за голову схватились. На детских картинах церкви, да еще с крестами. Выставку быстро сняли, на Каткова письма давай строчить. Обвинения в религиозной агитации посыпались...

Это теперь подобные обвинения смешными кажутся. Это теперь чиновники из Министерства образования сами в церковь ходят и со свечками стоят. А тогда, в 1967 году от рождества Христова, пришлось коммунисту Каткову объяснительные в разные кабинеты носить, глупости выслушивать и доказывать. Терпел, а что сделаешь?

Детям, что в Полоцк ездили и церкви с крестами рисовали, Катков и слова не сказал. За выставку поощрил. Кому кисточку, кому альбом, а кому и коробку красок подарил.

Саженцы

Построив собственный дом в Сморговском переулке...

Нет! Не так надо начать эту историю.

Говорят, что каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Так вот и дочка, и сын уже были. И большой дом в 1956 году Сергей Петрович строить начал. Правда, по сегодняшним меркам, дом маленький, но кто тогда так далеко в будущее заглядывал. Оставалось посадить деревья. Этим он и занялся. Сам выбирал саженцы, сам копал ямы и сам сажал. Саженцы выбирал самые лучшие. Деревья прижились. Весной на одной яблоньке появились цветы. Деревце маленькое, и крохотных бело-розовых цветов всего несколько. Но и это радовало хозяина. Вскоре лепестки облетели, появилась завязь и стали расти яблоки. К концу лета на яблоньке висело четыре красивых яблока. Девятилетний сын художника Сашка ходил вокруг дерева и смотрел на эти недозревшие яблоки. И казались они ему такими вкусными, что слюна заполняла рот, говорить мешала. Он бы, конечно, сорвал, но отец запретил. Хотел дать плодам созреть, соком налиться. Хотел убедиться, что правильное деревце выбрал, что не ошибся...

Но разве мальчишку удержишь, разве пацан может устоять перед соблазном, нахально висящим перед глазами. Саша решил не нарушать отцовский запрет и яблоко не срывать. Притащил табуретку, забрался на нее и откусил кусок яблока.

Не знаю, сладкое оно было или кислое. Сергей Петрович увидел на следующий день то надкушенное яблоко. Показал своему приятелю, детскому поэту. Посмеялись, а мальчишку даже ругать не стали.

Возле дома растет высокая груша, посаженная Сергеем Петровичем. Осенью тяжелые коричнево-золотистые плоды шумно падают в поздние увядающие цветы, в траву, а иногда и на первый снег.

Саша, теребя седые усы, уже не может вспомнить вкус того яблока.

Цветущие деревья

У Петра Каткова, отца Сергея Петровича, была очень большая семья — одиннадцать детей. Когда рождался сын, то отец сажал яблоню или грушу, а когда дочка, то сливу или вишню. Со временем получился большой фруктовый сад. Много деревьев, а чтобы они хорошо росли, за ними надо и ухаживать как следует: поливать, обрезать, землю рыхлить...

Это только городские думают, что яблоки и вишни на деревьях сами растут. Петр Катков нанял одного деревенского, чтобы тот помогал ему за садом ухаживать. Тот помогал. Но когда пришла в село Скрипицыно Пензенской губернии коллективизация, то злые и бедные завистники сказали, что Петр Катков — эксплуататор, а по-простому — кулак.

Отца будущего художника судили и отправили туда, где и положено находиться враждебному советской власти элементу, то есть — в тюрьму. Уже никто не помнит, сколько он там отсидел-отработал, пока разобрались, что осудили многодетного крестьянина зря. Отпустили. Худой и изможденный «эксплуататор» добрел до родной сестры. Та жила при больнице, в Пензе. Она усадила брата за стол, принялась угощать. Поел, но после тюремного недоедания помер от заворота кишок.

Эту выразительную и жутковатую историю про своего деда Петра рассказал мне Саша Катков, а ему рассказал отец. Я пересмотрел почти все кар-

тины и рисунки Сергея Петровича, но нигде не увидел, что бы он восхвалял Советскую власть, коммунистов, коллективизацию...

А вот яблони, груши, вишни и сливы очень любил писать.

Зависть

Знаете, какую работу я считаю хорошей? Такую, о которой хочется сказать или подумать: «Жаль, что ее написал не я»... У Сергея Каткова такие пейзажи есть.

Мольберт

Мы разбирали со Светланой уже готовые к юбилейной выставке картины Сергея Петровича. Придумывали названия, переписывали размеры. Пришлось отодвинуть мольберт, который стоял у стены и мешал снимать со стеллажа работы. Светлана сказала, что это мольберт Сергея Петровича.

Я продолжал работать, измерять холсты, разговаривать. Но говорить стал чуть тише, словно в мастерской был еще кто-то.

Невидимый, но живой.

Детский журнал

Белорусский поэт Василь Витка работал главным редактором детского журнала «Вясёлка». Он захотел улучшить оформление своего журнала и пригласил на должность художественного редактора Сергея Петровича Каткова.

Сергей Петрович мог отказаться, сославшись на занятость: изостудия, дом надо достраивать, свои картины писать, преподавать в художественном училище и так далее, и тому подобное. Все причины настоящие, невыдуманные.

Но Катков согласился! С его приходом в «Вясёлку» на страницах журнала начали появляться детские рисунки — живые и непосредственные.

Не знаю, радовало ли это редакцию, но то, что это очень радовало детей, чьи работы там печатали, это — точно.

Вполне возможно, дети и не знали, что своей славой обязаны Сергею Петровичу.

Самая шоколадная конфета

Художники, даже когда становятся бородатыми дядями и пестро одетыми тетями, остаются в чем-то детьми. Руководить такими сложно. Художники почти неуправляемы. Очень тяжко с ними ладить. Каждый мнит себя гением, а свою работу считает исключительной. И тут не важно, что это за работа: графический лист с пионерами или пейзаж с новостройками. Портрет передовика производства, механизатора, животновода, ткачихи, ученого или планшет с социалистическими обязательствами...

Вроде все давно знакомы между собой, все «братья по оружию» и братья по крови, все работники одного цеха... Но заказы и деньги каждый получает отдельно и в бухгалтерской ведомости каждый ставит свою личную подпись, как на картине.

Много лет Сергей Петрович был председателем совета художественно-производственного комбината Союза художников БССР. Собачья работа, если подумать. Врагов наживаешь мгновенно. Каждому не угодишь... Но Сергея Петровича выбирали на эту ответственную должность снова и снова.

И не только потому, что многие из тех, кто получал на комбинате заказы и выполнял их, были учениками Каткова. Хотя и это свою роль играло: знали, доверяли. Думаю, что главным и решающим было то, что Катков умел работать с детьми. Умел с ними ладить, учитывать и видеть индивидуальность каждого, умел руководить ватагой вольнолюбивых и непослушных детей.

Ну, а распределять деньги — это как конфеты делить: всегда сложно, и всегда будут те, кто посчитает, что именно ему недодали, а вот тому рыжему дали лишнюю или самую шоколадную.

Тихим голосом

В 1970 году Сергей Петрович получил мастерскую на улице Первомайской, на самом последнем этаже, на десятом. Выше только небо. Мастерская Каткова оказалась через стену, делила коридор с мастерской Виталия Цвирко. Шумного, веселого и обласканного властями живописца. Художники дружили, и Цвирко часто звал Каткова на этюды. У Цвирко была машина и шофер. Художники, сложив в багажник все необходимое, отправлялись за город. Находили место и писали.

Виталий Цвирко пейзажист очень хороший. Быстрый, смелый, широкий, с яркой индивидуальностью, с художественной дерзостью.

Катков спокойнее, осторожнее и тише.

Теперь я сравниваю работы этих двух мастеров, писавших иногда одни и те же пейзажи, стоявших всего в нескольких шагах друг от друга. Работы Каткова мне ближе. Есть в них детский восторг перед природой, тот восторг и восхищение, которые невозможно подделать, который не заменят ни мастерство, ни эффектность, ни смелость.

Я не знаю, какую молитву услышит Бог первой — произнесенную громовым, густым басом или промолвленную тихим шепотом, где некоторые слова и звучат неразборчиво?

После этюдов, уже в мастерской, художники иногда выпивали и говорили о чем-то абсолютно нестоящем...

За окнами было видно только небо. Иногда на его голубом фоне дрожал маленький крестик ласточки.

Саша Кищенко

Сергей Петрович дружил с художниками Евгением Красовским и Николаем Тарасиковым. Но эти пейзажисты были его ровесниками, разница в несколько лет не считается. И такая дружба мне понятна. Она на похожих жизненных ценностях держится, на похожих фактах биографии.

Частым гостем в доме Каткова был и Александр Кищенко. Сергей Петрович называл его Сашей. Хоть и разница в возрасте приличная, и взгляды на искусство разные, а они дружили. Выпивали, много говорили, и не только про искусство, смеялись, а выпив, иногда за собакой по двору бегали. Чтобы обнять песика и продемонстрировать, как они его любят. Кто сильнее и горячее! Забавно, но художники, они — такие, даже в проявлении своих чувств.

Может, Сергей Петрович хотел, чтобы Саша Кищенко стал его зятем? Ну, если не Свету взял в жены, то Зою Литвинову, которая Каткову как дочка была. А может, глядя на молодого художника, он себя вспоминал в его возрасте, свои планы несбывшиеся...

Александр Кищенко написал большой портрет Сергея Петровича. Когда я тот портрет вспоминаю, то сразу же и другая работа Кищенко возникает перед глазами — «Портрет матери».

Похожие чувства рукой художника водили, когда он эти портреты писал, очень похожие.

Домовая книга

В доме номер шесть по Сморговскому переулку всегда много народу проживало. Дети, близкие родственники, дальние, родственники родственников, друзья детей, гости, художники с семьями и люди от искусства далекие... Всем хватало места.

Если открыть домовую книгу, заведенную в 1959 году, то ахнешь. Количество тех, кто был прописан в разные времена в доме номер шесть, поражает.

Сергей Петрович не мог отказать и почти всем давал согласие.

Птичка вылетела

Есть фотография, на которой молодой Сергей Катков и его жена Татьяна. Плечо к плечу, смотрят в объектив. Очень серьезные молодые супруги.

Дети, Светлана и Саша, когда сидят за столом, молчат или разговаривают, спорят или переругиваются... Очень похожи на родителей. Смотрю на них, вспоминаю черно-белую довоенную фотографию и понимаю, что в тот момент, когда фотограф щелкнул, — «птичка вылетела».

Черный рояль

Позвонила Светлана Каткова и пригласила на открытие выставки Сергея Петровича в исторический музей.

Я перепутал время, и мы всей семьей пришли на два часа позже. Дверь музея закрыта, в вестибюле сторож в накинутом на плечи армейском бушлате. И жена, и дочка меня обругали, обвинив во всех смертных грехах... Но через несколько дней мы уже ходили по просторному и светлому залу, по тому самому, где недавно была выставлена коллекция знаменитых слуцких поясов...

В углу стоял концертный рояль. На нем небольшой портрет Сергея Петровича, написанный Зоей Литвиновой, кажется, и свечка была рядом с портретом. Да, точно, была, вспомнил.

Я удивился, как много работ сохранилось и в каком они хорошем состоянии. Потом уже узнал, чего стоила Светлане подготовка выставки, сколько времени, нервов, средств... Зрителей в тот вечер оказалось мало, и я даже обрадовался, что пропустил торжественное и шумное открытие. Теперь ничто не отвлекало от картин.

Несколько работ вспомнил, видел почти сорок лет назад на разных республиканских выставках. Остальные удивленно рассматривал, переходя от одной к другой, читая подписи.

Уходя из музея, подумал, что Сергею Петровичу повезло с дочкой. Потом подумал, что и Светлане повезло с отцом.

В черной крышке концертного рояля, как в ночной спокойной воде, отражался портрет Каткова и несколько лампочек дрожали, как звезды. Нет, как ярко-желтые кувшинки, которые так любил изображать художник.

Исповедь

Один художник, уже пожилой, зажав коленями ладони, рассказал такое. Говорил и смотрел в заляпанный краской пол своей мастерской. Говорил тихо, как себе. Хотя зачем человек станет рассказывать что-то себе самому, он и так это знает.

Так вот художник рассказал, как через неделю беспробудного пьянства, после бессонной ночи, ноги сами привели его на улицу Кирова к Дворцу пионеров. Он не был там лет пятнадцать. Как поступил в художественное училище, а потом и институт закончил, так и не заходил к своему учителю. А тут ноги сами привели. Потоптался, шапку снял и пошел в изостудию. Несколько ребят сидели за мольбертами и рисовали натюрморт с гипсовой головой.

Сергей Петрович его встретил так, словно они вчера расстались, так, будто этот тридцатилетний мужчина на занятия пришел. Проговорили до самого вечера. Вина выпили три бутылки. Потом пешком домой к Сергею Петровичу пошли. Шел дождь, а они шли и за жизнь говорили. Вернее, говорил тот художник, а Катков только слушал. Добрели до Сморговского переулка.

Катков повел своего бывшего ученика к себе домой. Накормил, спать уложил. Ночью несколько раз вставал, как к больному ребенку.

А чего тот художник к Каткову приходил? Да жить не хотел, жена с ребенком ушла. В своем таланте разочаровался. Вообще, как он мне сказал, глядя в пол и хмыкая, то заходил к Сергею Петровичу попрощаться.

Тот художник и сейчас жив, картины пишет.

Запах краски

1971 год. Светлана Каткова с дочкой Зоей на руках поднимается на десятый этаж. Лифт не всегда работает, вот и приходится идти вверх. Зоя и ходить научилась в мастерской. Топала между холстами, планшетами, вдыхала запах масляных красок, лаков, растворителей... Иногда она спала на большом балконе в коляске, а мама Света с крестной мамой Зоей Литвиновой работали.

Потом Зойка маленькая просыпалась и ее кормили.

Неудивительно, что и она стала художницей. Это как в цирковых семьях, когда дети вырастают рядом с ареной, окруженные гимнастами, жонглерами, дрессировщиками, цирковыми животными, запахами арены и мельканием ярких и пестрых костюмов... Или дети театральных актеров, начинающих жизнь за пыльным бархатом кулис.

Кем станет и что будет делать внучка Сергея Петровича Каткова — Зоя Луцевич, было предопределено.

Да и куда ты денешься с такими генами?

Бумажный кораблик

Сергей Петрович очень любил рисовать корабли, кораблики, лодки, катера, пароходы, буксиры, байдарки, парусники... Если изображена панорама

реки, озера, то обязательно и лодки там будут. Что это за река, если лодки на ней нет?

Не спрашивал, но уверен, что из листа бумаги Сергей Петрович мог запросто сделать не только шапку, чтобы ребенку на этюдах в голову солнце не пекло, но и самолетик с замысловатым хвостом, и конечно же, кораблик...

Стоит у ручья учитель, а рядом ученики-дети. Весна, солнце яркое светит, на крыше сарая бахрома сосулек сверкает, тени на снегу ультрамариновые, синющие, капельки сыплются... Учитель и дети смотрят, как течение уносит белый бумажный кораблик. Вот он и исчез за поворотом.

Теперь и про невидимую линию горизонта можно рассказать детям, про ту самую, где все параллельные линии в одну точку сходятся...

А кораблик плывет...

Мечта

У Сергея Петровича была мечта.

Он очень хотел создать в Минске музей детского рисунка. Есть же такой в столице Армении...

Мне кажется, что в нем всегда было бы шумно и весело. А самое главное, что экспозицию можно менять хоть каждую неделю. Ведь дети рисуют и рисуют, а денег за свои работы не требуют.

Гордость

Сергей Петрович гордился своими учителями. Особенно известным русским художником Иваном Силычем Горюшкиным-Сорокопудовым. Узнал я это от учеников Каткова, которые гордились своим учителем — известным белорусским художником Сергеем Петровичем Катковым.

Беларусь

Катков приехал в Беларусь молодым человеком. Служил здесь в армии. Остался. Женился. Жил. Работал. Здесь и похоронен.

На вопрос, почему остался, у меня есть ответ. Думаю, что Сергей Петрович Катков влюбился в Беларусь. Если кто-то мне не верит, то пусть смотрит работы. Все, от довоенных, до самых последних. Там это видно.

И своих учеников-студийцев он ненавязчиво, без нравоучений и пафоса, без красивых слов учил любить Беларусь. Понимал, что без любви искусства не бывает.

Памятник

На краю парка Челюскинцев. За детской железной дорогой. На улице Волгоградской находится республиканская школа-интернат для одаренных детей. Школа эта носит имя Ахремчика...

Раньше этот питомник талантливой молодежи выглядел эффектно и респектабельно, окна во всю стену, стеклянные потолки в мастерских, живые цветы, гипсовые скульптуры в коридорах...

Идея создать такую школу пришла в голову Сергею Петровичу Каткову. Он, возможно, как никто другой, знал, сколько по всей Беларуси — в городах,

поселках, деревнях — талантливых детей. Знал, что многие даже не мечтают стать художником, музыкантом. Нет ни возможности такой, ни средств.

Написал Сергей Петрович бумаги, изложил свои соображения, пошел по чиновничьим кабинетам. Достучался до Машерова. Объяснил, растолковал, убедил, что надо, чтобы в республике такая школа была.

Построили! Открыли торжественно! Детей собрали со всей Беларуси. А назвали школу-интернат по фамилии народного художника Беларуси Ивана Ахремчика, который и пальцем не шевельнул, чтобы эта школа была, чтобы белорусские дети там учились.

Думаю, что сегодняшние ученики, да и вчерашние выпускники, художники и музыканты, даже и не знают, что не Ахремчика, а Сергея Петровича Каткова должны благодарить.

Грустно, но, может, это и правда, что скромность украшает лучше, чем памятник...

Параллели

У великого итальянского живописца Джотто ди Бондони есть серия фресок, рассказывающих о жизни христианского святого Франциска Ассизского. Лучшая из фресок та, на которой немолодой приземистый монах в бурых одеждах под деревьями проповедует птицам. А сюжет такой. Святой Франциск, гуляя где-то за городом, увидел множество птиц, которые собирались в стаи, чтобы лететь за море, в теплые края. Птицы громко свистели, чирикали, пели. «Птицы, сестрицы мои, если вы сказали, что хотели, дайте сказать и мне», — обратился монах к птицам. Пернатые смолкли, и монах начал проповедовать. Святой Франциск любил все живое и знал язык птиц, животных и растений. Большие и маленькие птицы слушали человека, внимали ему, вытянув шеи...

Когда я смотрю черно-белые фотографии, кадры кинохроники, на которых снят Сергей Петрович Катков со своими малолетними учениками в изостудии или на этюдах, то неизменно вспоминаю именно эту фреску Джотто из Верхней церкви Сан-Франческо в Ассизи.

Франциск верил, что его слова будут услышаны большими и маленькими птицами, а когда они улетят, то разнесут Божье слово по всему свету.

Сергей Петрович понимал язык детей.

Да и похож он на средневекового монаха невероятно.

Зерно

Уходя, художник оставляет картины. Если художник настоящий, то его работы будут продолжать жить, а вместе с ними и автор продолжает движение во времени. Многие писали свои картины и говорили, что пишут для будущего, а выяснилось, что в этом будущем они и не нужны. Другие о будущем не заботились, а писали, потому что не могли не писать. Их картины висят в музеях.

Знаю, что будущее угадать невозможно.

Но крестьянин, бросая в землю зерно, верит, что оно взойдет...

2010—2011

Перевод с белорусского Алены Маркович.



СТАНИСЛАВ ВОЛОДЬКО

Стихи о матери

Певунья

Петь матушка моя любила очень —
В наследство передался щедрый дар.
От пения ее искрились очи
И разгорался чувственный пожар.

Нас песней убаюкивала малых,
Чтоб видеть мы цветные сны могли.
В заботах вечных рано поднималась
И день будила пением молитв.

И как хлеба на поле убирали,
Нередко пенье слышалось ее;
Заслушивались пташки, замирали,
Когда в лесу, бывало, запоет.

Отец, своей певуньей восхищаясь,
Как месяц ясный, глаз не отведет
От звездочки, что, праздник украшая,
В застолье шумном песню заведет!

Сказать, что слух имею, не берусь я,
Но маме подпевал подчас как мог.
Вино мы пили песен белорусских,
Мы пили с мамой польских песен мед.

Вербным воскресеньем

Уж не со зла, наверно, —
Желая ей помочь,
Мать веточками вербы
В сердцах хлестала дочь!

Ой, била — не забила,
Обиды не тая:

— Кого ж ты полюбила,
Кровиночка моя?!

К тебе такой ведь парень
Ходил, как на парад!
Такая была пара —
Яснел у неба взгляд!

Не в пьянках, в книгах вечно —
Всего добьется сам!
Не мелочь же овечья
Его и дом, и сад!

Как вьюга на приволье,
Шумит-гудит молва:
Тебе по нраву боле
Лесная голова!

Попомни мое слово —
Его познаешь спесь.
В его саду еловом
Ты будешь шишки есть!..

— Ой, матушка-голубка,
Меня ты пожалей!
Не мил мне дом с нелюбым
И яблоневый лес!..

Уж не со зла, наверно, —
Желая ей помочь,
Мать веточками вербы
В сердцах хлестала дочь!..





ПАЛ БЕКЕШ

Семейный портрет в интерьере XX века

Жизнь Пала Бекеша, прискорбно недолгая (1956—2010), насыщена яркими и разнообразными творческими успехами. Рано осознав свое писательское призвание, он и печататься начал рано (первая книга увидела свет, когда автору было всего 23 года, а оставленное им литературное наследие насчитывает более десятка книг) и вообще не мыслил себя вне служения литературе. Так, с именем Бекеша связано проведение широкой акции «Большая книга» с целью приохотить к чтению население страны, и в первую очередь молодежь и детей, вернуть книге ее былой престиж, утвердить ее истинную культурную ценность. Поначалу дело казалось безнадежным, и не только скептикам, но даже самому инициатору и организатору акции, Бекешу: уж слишком ощутимо потеснили книгу телевидение и Интернет. Однако результат оказался поразительным. За несколько месяцев, пока проходила акция «Большая книга», в Венгрии оживилась деятельность библиотек, открылись новые — даже в отдаленных уголках страны, резко возросло число пользователей. К финальному отбору (из 100 произведений мировой и отечественной литературы) вели несколько туров, и в конечном счете победителями оказались 6 действительно Больших книг — произведения венгерской классики и мировой литературы, в том числе «Мастер и Маргарита» Булгакова. За организацию и успешное проведение акции Пал Бекеш был удостоен высшей награды страны — Бриллиантового креста Ордена Венгерской Республики.

Подлинное читательское признание и славу снискали Бекешу его романы-сказки, жанр, отточенный писателем до совершенства. По форме это сказки, сказки для детей, со всеми волшебными атрибутами: увлекательным сюжетом, «страшными» поворотами, колдовством, чудесами, превращениями и, конечно, счастливым концом, впрочем, лишенным сахарно-глазурного налета. Главная мысль, положенная в основу каждой сказки, проста и вечна: подлинные чудеса способен творить сам человек — будь то взрослый или ребенок, и таким чудесам всегда есть место в жизни. Сформулированная подобным образом идея может показаться чересчур прямолинейной и банальной, однако талант автора не вызывает такого впечатления: читать книги Бекеша увлекательно и смешно. Адресованные детям, не меньшее удовольствие они приносят и взрослым, способным оценить их литературные достоинства. Чувством юмора, иронии, самоиронии автор обладает в избытке, виртуозное владение языковыми средствами, игра слов вызывают восхищение. Не случайно каждая из сказок выдержала в Венгрии несколько изданий и была переведена на многие языки.

Российский читатель познакомился с этой стороной творчества Пала Бекеша в 2003 году, когда издательством «Радуга» был выпущен в свет «Горе-волшебник» и автор приезжал на презентацию книги. Любопытно отметить, что в беседах с ним не раз возникал вопрос о сходстве сюжетной линии «Горе-волшеб-

ника» и наводнившего мир «Гарри Поттера». И хотя есть основания полагать, что идея существования школы волшебников, своими чудесами способных скрасить повседневную, будничную жизнь людей, пустила корни на Британских островах с подачи скромного венгерского «Горе-волшебника», Бекеш на неизбежный вопрос о том, что было раньше, курица или яйцо, завоевавший мир Гарри Поттер или безвестный Жужик Шуршалкин, с неизменной улыбкой отсылал любопытствующих к датам копирайтов. И действительно, книга Пала Бекеша увидела свет в 1984 году, а Дж. Роулинг двинулась в свой триумфальный поход в 1997-м. Проводить какие бы то ни было аналогии, оспаривать первенство мысль вряд ли плодотворная. Скажем так: перед нами тот случай, когда идея, что называется, носилась в воздухе, а разрабатывать ее всяк волен по-своему. Не опасаясь упреков в предвзятости, поскольку сразу же признаюсь в своем безусловном преклонении перед талантом венгерского автора, сожалею лишь о том, что пресловутый языковой барьер и множество других привходящих обстоятельств, которые влияют на рыночный успех того или иного товара, будь то предмет ширпотреба или произведение интеллектуальной ценности, не способствовали мировому распространению книги Бекеша. Хотя нравственный императив, литературные достоинства, стилистическое изящество, виртуозная игра слов, россыпи словесных находок ставят ее в один ряд с лучшими достижениями мировой классики. Предлагаем убедиться в этом на примере отрывка из «Горе-волшебника».

Глава первая, в которой мы знакомимся с прошлой и нынешней жизнью начинающего волшебника и с тревогой заглядываем в его будущее

Никаких старомодных зачинов типа «жил-был на свете» — сразу приступаем к делу! Первое место действия нашей истории — школа волшебников, время действия — нынешнее, герой — Жужик Шуршалкин, дипломированный волшебник. Точнее говоря, в данный момент он пока еще без диплома. Его удивительные приключения начались как раз во время торжественного вручения дипломов, которым обычно завершался учебный год.

Выпускники собрались в парадном зале, чтобы выслушать напутственные слова директора школы и главного волшебника, широко известного и за пределами Сказочной страны, Великого Рододендрона.

— Вы ведь не какая-нибудь мелкая нечисть вроде домовых или заурядных леших, — гремел зычный бас директора, — не чета бездарным знахарям и шарлатанам, с которых только и станется, что пробурчать: «фокус-покус» или «абракадабра», а там уж как бес на душу положит, чудо либо произойдет, либо нет. Вы — мастера своего дела, прошедшие всестороннюю подготовку, у вас вся жизнь впереди. Творите чудеса, пробуйте, дерзайте!

Жужик Шуршалкин, сидевший в последнем ряду, преданно взирал на любимого наставника, согбенную фигуру которого окутывала парадная мантия, расшитая золотыми звездами и полумесяцами, и чувствовал, как к глазам его подступают слезы.

Красотою наш герой не отличался — нос картошкой, уши оттопыренные, и весь какой-то скособоченный; не будь на Жужике мантии до пола, было бы видно, что ноги у него косолапые, а если бы не нахлобученный на лоб колпак, волосы топорщились бы, словно иголки у ежика, и против этого бессильны были помады и подручные способы колдовства. И все бы не беда, он уже свыкся с тем, что нос расползается картошкой, уши торчат локаторами, походка косолапая, а волосы топорщатся ежиком. Другое огор-

чало Жужика Шуршалкина, а именно: словно на потеху всей школе, учение он закончил последним на курсе.

Жужик Шуршалкин был самым никудышным из всех учеников чародея, и за глаза его называли не иначе как «криворукий» да «недотепа».

Неудачи преследовали его. Что и говорить, такого горе-волшебника еще свет не видывал. Даже простейшие заклинания не застревали в его памяти. Конечно, забывчивость — не самый тяжкий грех, с кем не случается. В конце концов, нет такого врача, который бы держал в голове все хвори-болячки, и тем не менее это ничуть не мешает ему успешно лечить больных. Но в ремесле волшебника слабая память может привести к довольно неприятным последствиям.

Однажды, к примеру, на уроке элементарных заклинаний будущие волшебники учились превращать лягушку в принцессу. Поцелуем, естественно, как и положено. Великий Рододендрон запустил руку в карман своей необъятной мантии и извлек оттуда неказистую зеленую лягушку. Скороговоркой пробормотал над ней заклятие и поцеловал. Лягушка в мгновение ока обернулась раскрасавицей принцессой. Затем учитель продиктовал текст заклинания и заставил учеников повторить слова нараспев:

Колдовской реши вопрос:
Поцелуй лягушку в нос.
Раздувайся, квакша, ввысь
И в принцессу обратись!
Квак!

Вся сила заклинания сосредоточена была в заключительном «квак», но Жужик узнал об этом лишь впоследствии. Великий Рододендрон отправил учеников в сад ловить лягушек, и когда все вернулись с добычей, началась тренировка. Задавала и выскочка Квази Мир пренебрежительно пробурчал волшебные строчки себе под нос, и тут как тут перед ним очутилась принцесса — вся в веснушках-конопушках, с косичками и в очках. Стоило на нее взглянуть, и сразу становилось ясно: такую зубрилку и выскочку мог сотворить только лишь зануда.

Следующий на очереди был Толстопузик. От его поцелуя лягушка, естественно, обернулась толстушкой, до того пышной и круглобокой, что стоило Толстопузику чуть подтолкнуть ее, как она сама покатилась к Великому Рододендрону. Словом, каждый старался как мог, и принцесс в классе все прибывало — одна другой уродливее и страшнее. Но ведь первый блин всегда комом.

Настал черед Жужика. Он извлек из кармана отловленную им лягушку — самую плюгавую, самую зеленую и самую тупую на вид.

— Ну, а теперь слушай меня! — сказал ей Жужик и прочел заклинание:

Колдовской реши вопрос:
Поцелуй лягушку в нос.
Раздувайся, квакша, ввысь
И в принцессу обратись!
Крак!

— ...то есть, я хотел сказать... — ломал голову Жужик, чуя неладное, — брек!.. Вернее... бре-ке-ке!.. — Тут он совсем запутался и на всякий случай чмокнул лягушку.

Лучше бы ему этого не делать! Лягушка в тот же миг обернулась принцессой дивной красоты, а незадачливый волшебник превратился в лягушку. Распластавшись на полу перед красавицей принцессой, крохотный и совсем зеленый, он тупо моргал выпученными глазами. А сердобольная принцесса, сжалившись над горе-волшебником, решила ему помочь. Взяла уродца на руки и поцеловала его. Теперь изначальное положение было

восстановлено. Жужик в натуральную величину стоял посреди класса и горестно взирал на свою лягушонку. Ему не хотелось сдаваться, и он начал по новой. Результат оказался тот же: лягушка превратилась в принцессу, а он — в лягушку. Но и принцесса попалась упрямая: теперь она обернулась лягушкой, а Жужик — Жужиком, который снова поцеловал лягушку. Наверное, так продолжалось бы до скончания века, к вящему удовольствию кандидатов в волшебники и уродок-принцесс, которые надрывались от хохота, если бы Великий Рододендрон мановением своей волшебной палочки не положил конец этому безобразию. С той поры и прозвали Жужика горе-волшебником, а злоключения неотступно следовали за ним по пятам.

В трудные 90-е годы, отмеченные ломкой, крушением прежних устоев жизни, известность П. Бекешу принесла очередная детская сказка «Запуганное существо», смысл которой легко угадывался взрослым читателем и оказался на редкость созвучным тогдашним общественным настроениям: жить, как прежде, в постоянном страхе, влачить жалкое существование или же почувствовать себя в какой-то мере хозяином своей судьбы и стать полноправным Живым Существом? Можно ли было точнее ухватить и сформулировать смысл грядущих перемен и наших тогдашних надежд?

Третья книга из серии сказок о чудесах увидела свет в 2005 г., это «Мудрый Исправитель недостатков». «Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег...» — нам вечно чего-то недостает, вечно хочется большего, порой — сущего пустяка для полноты счастья, а иногда — самого существенного, жизненно необходимого. Вот бы встретить мудрого кудесника, который сумеет не только распознать наши запросы, но и удовлетворить их!.. Писательская фантазия Бекеша мастерски воспроизводит подобные ситуации.

Пал Бекеш пробовал себя во многих жанрах. Собственно говоря, слово «проба» здесь вряд ли уместно, поскольку каждый эксперимент оказывался удачным настолько, что любой писатель был бы вправе и в дальнейшем разрабатывать эту жилу. Драматургия, сочинение сценариев, новеллистика, крупная проза, произведения для детей, художественный перевод — все, за что бы он ни брался, у него получалось. Критики и читатели сетуют на кризис романа? Бекеш принимает вызов и пишет роман. В 2004 г. выходит в свет «Подельник», это период бума детективного направления. Однако Бекеш пишет не детектив, хотя и преступление вроде бы имело место, и сообщник, «подельник» тоже был, но... Главное для автора — психологические глубины; преступление совершается не только при убийстве человека, не обязательно становиться орудием зла, активно сея его: не сделал того, что следовало сделать, содеял зло в мыслях, предал другого человека и терзайся потом угрызениями совести до конца дней. В последнем своем романе «Чикаго», 2006 г. (русский перевод Е. Рожковой вышел в 2010-м), писатель поставил перед собой интересную задачу: описать свой Будапешт, что делали и его предшественники, и современники. Понятно, что облик, образ родного города у каждого свой, разнятся впечатления, переживания, воспоминания. П. Бекеш родился и вырос в квартале Пешта, в рекордные сроки возведенном на рубеже XIX—XX веков и получившем в обиходе название «Чикаго»: американские темпы, планомерная геометрическая застройка, прямые, без единого деревца, улицы, заселенные разношерстной публикой, а вся жизнь — во дворах-колодцах и на балконах, сплошной галереей опоясывающих каждый дом по внутреннему периметру. Балкон, галерея по-венгерски «gang», «ганг», и в подзаголовок книги автор выносит название «Ганг-роман». По

форме это сборник новелл, больших и вполне самостоятельных, не всегда связанных сюжетно или общностью персонажей. Но эти рассказы о судьбах обитателей квартала органично соединены стержнем — своей принадлежностью к «Чикаго», что определяет их характеры и развитие «линии жизни», куда бы прихоти истории ни заносили героев — в Америку, в Австралию. Повествование построено столь мастерски, что лишь перевернув последнюю страницу, ловишь себя на мысли, что перед тобой художественная хроника, история венгерского народа, его столицы чуть ли не за весь XX в. с его потрясениями и катастрофами.

Впрочем, эту задачу — воссоздать человеческую судьбу в жестких, жестоких исторических условиях по возможности предельно скупыми средствами, П. Бекеш ставил перед собой нередко. Ф. Кафка, И. Эркень — вот те высокие образцы, к которым он стремился в своем творчестве. Вслед за жанром «рассказа-минутки», признанным мастером которого является Иштван Эркень, Бекеш тоже экспериментирует с миниатюрой, дав ей название «марки»: идею романа можно изложить на обороте почтовой марки, и если сделать это умело, эффект окажется ничуть не меньшим. Собрание своих миниатюр П. Бекеш называл «коллекцией марок», а сборники рассказов составлены таким образом, что складываются в целостную картину жизни автора и его страны. Вот лучшие, на наш взгляд, миниатюры — портреты родителей, прошедших через ад лагерей, чудом выживших и сохранивших человеческое достоинство.

Очередь

Леденяще-студеным январем 1945 моя мать стояла в концлагере в очереди к уборной. В свои семнадцать лет она была лысой. Несколько месяцев назад доктор Менгеле счел газовую казнь преждевременной, и с тех пор моя мать шлифовала пропеллеры «мессершмитов». На сей раз ей неслыханно повезло: попался клочок газеты, вполне пригодный для использования. Во время ожидания она прятала клочок в ладони и украдкой заглядывала в него. На бумаге чернела фотография, неразборчивое пятно, может, и вовсе дыра. А ниже слова: БУДАПЕШТ ПОСЛЕ ОСАДЫ.

Мать не знала, что фронт докатился до Будапешта. Слез у нее уже не было, но рыдать она еще могла. Она задерживала очередь. Ее вытолкали. Она встала в самый конец.

Все это она рассказала у Рыбацкого бастиона. Был летний вечер, на ажурном каменном фронтоне, щелкая фотоаппаратами, выстроилась очередь туристов.

Рикошет

Леденяще студеным январем 1945-го моего отца казнили. Он выскочил из колонны смертников, которых гнали к берегу Дуная, но за ним погнались и настигли. С расстояния трех-четырех шагов выстрелили в голову из парабеллума. Он упал, но был еще в сознании. Последнее, что он услышал, был очередной лязг затвора и чьи-то слова: «Не трать патроны попусту, парень...» Произошла невероятная вещь: в момент выстрела голова отца дернулась, и пуля срикошетила от кости между глазом и виском.

Солдаты споткнулись об него, увидели, что он еще шевелится, и снесли в подвальный лазарет. Три дня спустя отца уже посылали за водой, поскольку ноги-то у него были целы, а через неделю над ним прокатился фронт.

Когда отец смеется, шрам виден и поныне.
Он дважды празднует день рождения.
Ему — елико возможно — хотелось ребенка; вот я и родился — в 1956-м.

Сохранить достоинство — это жизненно важно, ведь поразительным образом перенесенные страдания порождают в иных людях и стремление спекулировать на них, а то и желание извлечь выгоду из чужих мучений. Небольшой, всего в несколько строк, монолог о татуировках — именно об этом.

Татушки

Милости просим, располагайтесь, руку кладите на стол, морщин-то сколько, даже цифры не разглядеть, пожалуйста, слегка растяните кожу, хотя вообще-то лучше, если морщин много, тогда правдоподобнее, ой, да это же пигментное пятно, сейчас мы его подсветим, вы уж меня простите, но с тех пор как я татушки фотографирую, эта, пожалуй, самая удачная, зачастую ведь вопрос о компенсации решается только на основе фотографии, о-о, чудо, пусть-ка попробуют это не принять, не придерешься, не подкопаешься, видите ли, половину прошений заворачивают обратно, их тоже можно понять, кому охота платить, коли до сих пор ждали, могут еще чуток обождать, а там уж и вовсе денежки на бочку выкладывать не понадобится, да и осмотрительность соблюдать нелишне, ведь теперь, когда эти освенцимские номера стали в цене, их сплошь и рядом подделывают, ну вот, все в порядке, готово!

«Отцу хотелось ребенка — родился я». Родился в 1956-м, трагическом, роковом для Венгрии году. Обстоятельства зарождения новой жизни не уместились на обороте почтовой марки, но автор считал рассказ «Точно» очень важным для себя: автобиографический, он идеально вписывается в галерею семейных портретов и не случайно открывает последний сборник рассказов Бекеша «Ничего страшного».

Точно

Видел я уже однажды этот участок улицы. Именно тогда и именно таким. Точно? Точно. Вот только забыл. Вернее, не забыл — просто он ушел в такие глубины, что я не могу вытащить его на поверхность. Утонула лодка в Дунае, легла на дно, в усеянное мелкой галькой русло, покрываемая наносами, недвижная, никому ее не поднять, но я-то знаю, она там, на самой глубине. Точно? Точно.

Черно-белый снимок, смазанный, выполнен из окна второго этажа, с перекрестка Большого Кольца и проспекта Ракоци, сбоку величественное здание кафе «Нью-Йорк», одного шпиля не хватает, едва успели восстановить, и вновь разбили снарядами. Выжженное нутро магазинов, зияющие проемы некогда стеклянных дверей, тщательно нагроможденные по краям тротуаров обломки камней и штукатурки, точно сугробы суровой, снежной зимой. Пустые рельсы, несколько машин, видавший виды автобус, старенькая «Победа». И пешеходы, видимо-невидимо. Люди высыпали на улицу, покуда перестрелка стихла, прогуляться по проезжей части, тротуары сплошь завалены руинами, там не пройти, на людях драповые пальто, ветровки, начало ноября 56-го, вдруг это не просто временная передышка, а мир, мир окончательный, и тогда снова вернутся прогул-

ки, бесконечные гуляния, разглядывание витрин... Вот-вот. Я это видел. Точно? Точно.

Моя мать бежит со всех ног от Восточного вокзала к центру города, на руках у нее семимесячный младенец, бьется, выворачивается, но не плачет. Смотрит на мир широко раскрытыми фарфорово-голубыми глазенками. Мгновенный кадр. Экспозиция меняется.

Мать пеленала меня в большой комнате на обеденном столе, снаружи раздался шум, она подскочила к окну, на секундочку, только взглянуть, что там опять, стреляют, что ли? Снова прятаться в подвал? Я спикировал со стола на пол, головой. И наступила тишина.

«Скорая помощь»? Приедете? Как так — нет, почему? Ладно, принесу ребенка сама. Что значит — все переполнено? Но ведь в детском отделении... Как это у вас нет детского отделения? Ах, в другую больницу... Я понимаю, что по телефону не определить, но ведь на то вы и врач «скорой»... Невозможно? Нет, даже не вскрикнул. Замолк. И с тех пор молчит. Точно? Точно. Не в детское отделение? Куда же? В неврологию? Точно? Точно.

Бегом, бегом, по разбитому проспекту, по самой середине, где рельсы, один за другим мелькают перекрестки, шире всего площадь у Большого Кольца, и всюду люди, машины, развалины.

Помню я или не помню, но эта картина здесь, во мне, глубоко внутри.

Что значит «неясный случай»? Для чего, спрашивается, врачи? Подержать в больнице и понаблюдать? Как долго? Если не заплачет еще несколько недель, значит, до Рождества? А где? Вон все коридоры забиты, а больных все несут и несут.

Мать осталась в больнице с семимесячным младенцем, ей растолковали, что в такое время лучше не высовываться на улицу, а взамен прогулки можно подносить ребенка к окну.

Вместе дышали воздухом у окна моя мать и молчащий младенец, смотрели на проспект Ракоци, отсюда до Большого Кольца рукой подать... Кончилось временное перемирие, и я такого насмотрелся, что можно видеть, если свергзишься головой вниз, и явственно помню то, что... упомнить нельзя. Наведывался отец, при первой же возможности, теребил младенца за носик, но тот упорно молчал. Отец намеками дал понять, что пытается раздобыть грузовик. Здесь полная безнадега. Точно? Точно.

Иногда грохотали танки, рвались снаряды, дым, кровь, стоны, ребенок сосал грудь, дышал воздухом у окна, смотрел, слушал. И молчал.

Неужели ничего нельзя поделать, господин доктор? Наверняка существует какое-нибудь обследование, чтобы установить?.. Как это понять — в чужую голову не заглянешь? А вы попробуйте! Это вы меня спрашиваете?

Похоже, именно этот момент младенец выбрал, чтобы положить всему конец. Он вдруг разревелся. Столь же внезапно, как когда-то замолк. И орал безостановочно, с таким же упорством, с каким до этого молчал. Ну что за поганец!

Значит, у него никаких повреждений, господин доктор? Никаких-никаких? Точно? Точно.

Обратная дорога домой по проспекту Ракоци, мимо стерегущих перекрестки русских танков, втроем. Ребенок орал до посинения, мать утешала меня, счастливая уже тем, что я не унимаюсь, отец сообщил, что затея с грузовиком накрылась, да оно и к лучшему, с таким крикуном далеко не уедешь.

Поступим так, как советовал доктор в случае с ребенком: затаиться и наблюдать. Выжидать. Представится удобный случай, можно будет сбежать и потом. Точно? Точно. А может, и бежать не придется. Вдруг да и здесь жизнь наладится? Вдруг и тут наконец покоя дождемся. Точно?

Итак, начало жизни художественно задокументировано. А конец?.. Описание его Пал Бекеш не стал передоверять другим, предпочел сделать это сам, проигрывая разные варианты. Вот рассказ из сборника «Племенные отношения», 1990.

Первый день моей смерти

Окаянный выдался день, эта майская среда. Хотя начался он в точности так, как обычно по будням, но уже к полудню у меня возникло убеждение, что кончится все иначе, совсем иначе. И правда.

Под вечер я спохватился, что потерял блокнот. Обыскался всюду — на столе, в портфеле, облазил на карачках весь пол, шуровал в пыльных папках и в стопке писем, ожидающих ответа, — словом, во всех доступных и самых невообразимых местах. Блокнот как сквозь землю провалился.

Меня задело за живое. Удар, подобный стихийному бедствию. Не только потому, даже прежде всего не потому, что речь шла об уйме скопившихся за годы телефонных номеров и адресов — хотя потеря их сама по себе способна выбить почву из-под ног, — утрата была неизмеримо тяжелее. На первую страницу пухлого блокнота я вынес цитату из высказываний редактора «Encyclopedia Britannica» XIX века: «Описать мир невозможно, зато расписать по карточкам вполне достижимо»; на последние страницы блокнота, в духе вышеприведенной сентенции, я заносил свои идеи и наиболее зрелые из них даже пытался развить подробнее. Сорок шесть расписанных по карточкам ценных мыслей ждали своего окончательного оформления, а некоторые вообще были готовы, и вот вся кропотливая работа, можно сказать, псу под хвост!

Я враз почувствовал себя как в воду опущенным, буквально руки опустились. Тупо бродя по квартире, вдруг поймал себя на мысли, что потерял вовсе не блокнот, а самого себя. Или — что гораздо хуже — будто я и есть тот блокнот. И в самом деле, что я без него? Все мое прошлое, занесенное в картотеку, исчезло без следа, а стало быть, насчет будущего тоже не стоит обольщаться: за отсутствием телефонных номеров даже ни с кем не свяжешься. Пропащий человек!

Как одержимый я возобновил поиски, с отчаяния хватаясь за самые нелепые предположения. Открыл печь-голландку, порылся там. Заглянул в унитаз, после чего, взобравшись на краешек, сунул руку в бачок, опрокинул мусорное ведро и перебрал отходы, поснимал картины со стен, проверяя, не застрял ли блокнот за рамой. Нигде ничегошеньки. И наконец, не от большого ума, ткнулся в морозилку, а поскольку там было темно, принялся шарить рукой среди смерзшихся до хруста ломтиков ветчины и куриных ножек.

Этого не стоило делать. Простое движение руки привело к самым удручающим последствиям и усугубило потерю мною собственного «я» до самой что ни на есть крайней степени. То есть я скончался. В одночасье, нежданно-негаданно и случайно, без малейшего намека на роковую обреченность — словом, бездарно и банально. Совестно сказать: меня ударило током.

Противно, и вовсе не потому, что я мечтал о какой-то возвышенной, эффектной, а то и образцово-показательной кончине, отнюдь нет. Как раз наоборот, именно потому, что я не жаждал смерти, даже мысли такой не допускал и никакие варианты не прикидывал. И нате вам: смертельная судорога, мгновенная остановка сердца... по-моему, вряд ли стоит приводить здесь протокол вскрытия. Лишним и подстегивающим недостойные эмоции было бы подробно квалифицировать действия мастера, который недавно ремонтировал холодильник и с явным наплевательством отнесся к правилам

технической безопасности. Последней мыслью, отчетливо промелькнувшей в мозгу, было: мало того, что блокнот пропал, а теперь еще и это.

Всю ночь я вертелся с боку на бок, несколько раз вставал пить. Проснулся разбитый, привычные утренние занятия: умывание, переодевание и прочее — проходили в каком-то раздражающе замедленном темпе.

Первый день смерти начался изнурительно, я слонялся из угла в угол как неприкаянный, не зная, куда себя деть. Усталый, подавленный и в довершение всего мертвый.

Рассеянно окинул взглядом комнату, заваленный бумагами письменный стол, громоздящиеся на полу возле кресла книги, неубранную постель и традесканцию на верхней полке, которая, будучи ампельным растением, ни в какую не желала свисать из горшка. Все казалось лишенным смысла, чужим, далеким. Я понимал — хочешь не хочешь, а придется смириться с новым своим состоянием, и эта мысль уже готова была овладеть мною, но я сделал над собой усилие и отогнал ее. Чем терзаться бесцельными раздумьями, которые наверняка приведут к самоедству, не лучше ли малость прогуляться.

Набросив клетчатый пиджак, я наспех пригладил волосы. Даже в самых неблагоприятных обстоятельствах распускаться не следует. Я встал перед зеркалом в прихожей, но искаженная, волнистая поверхность старого стекла отражала лишь громоздкий гардероб за моей спиной. Этот факт сразил меня, однако чуть погодя я все же собрался с духом: нет уж, не дождетесь, справлюсь я со всеми неприятностями, связанными с моим новым статусом. Будь что будет!

На улице возникло странное ощущение, словно, кроме меня, во всем городе больше никто не живет. Я неспешно брел по улицам центра. Залатанный кое-как асфальт отливал серебристым блеском, ярко сияли обшарпанные дома, даже мрачные подворотни, дорожные знаки и безобразные надписи на стенах и те сверкали дивной красотой. Созерцать это зрелище было наслаждением. Шагалось легко, словно земля утратила притяжение, я без всяких усилий проделывал скачки — ни дать ни взять космонавт, разгуливающий по лунной поверхности. Мое внимание привлек гастроном на углу, и я даже остановился на миг: не отовариться ли сейчас, пока нет очередей? Но я не только не испытывал голода — сама мысль о еде казалась низменной.

Дверь Университетской церкви была распахнута настежь. Я прошелся вдоль рядов скамей до самого алтаря. Нигде ни одной живой души, кроме меня, если считать меня за душу, а вот насчет того, живая она или нет, я все еще сомневался. Пожалуй, именно любопытство и привело меня в храм. Я ждал каких-то очередных событий, хотелось получить ответ на одолевавшие меня вопросы, указания на дальнейшее или хотя бы какой-то знак. Однако понапрасну я переминался с ноги на ногу перед алтарем. Распятый по-прежнему неподвижно висел на кресте, устремив к небесам взгляд, исполненный боли. Подобное сравнение вряд ли уместно здесь, но оно в точности отражало мои тогдашние чувства: несолоно хлебавши я покинул храм.

Пока я находился в церкви, снаружи все переменилось. Вместо ослепительного сияния — клубы густого, молочного тумана, разрываемые яркими лучами, придававшими знакомым, безобидным подъездам и подворотням некий призрачный вид. Все это удивляло, однако же не повергало меня в страх. И в то же время я осознавал: будь я живым, тотчас же подхватился бы бежать отсюда без оглядки.

Свернув на улицу Михая Каройи, я перешел на другую сторону и, держась вплотную к стене Литературного музея, зашагал дальше. Клубящийся воздух сгустился еще больше, призрачная вибрация воздуха уси-

лилась, и мое смутное подозрение оформилось в четкую мысль: не иначе, как вышние силы препятствуют моим дальнейшим хождениям по улице. Первая подворотня, подвернувшаяся мне на пути странствий, подобных средневековым изображениям преддверия ада, оказалась входом в Литературный музей имени Петёфи. Я нырнул под мощные своды, куда когда-то въезжали кареты, и напоследок оглянулся. Улица в мгновение ока вновь озарилась лучезарным, волшебным сиянием, как в начале моей прогулки.

Чутье подсказало мне принять эту перемену за знак свыше. Знамение, которого я ожидал в храме, явилось мне, пусть и с запозданием. Я распознал очевидное: мне предуказано двигаться к лестнице, — и с радостью повиновался. Послушно следуя стрелкам, отмечавшим порядок осмотра, я приступил к обзору экспозиций.

Итак, первый день смерти был посвящен осмотру музея. Мне и в голову не пришло воспротивиться этому занятию, более того. В разделе литературы Эпохи реформ я дотошно изучил витрины, прочел все сопроводительные надписи и, разглядывая корешки выставленных томов, не без угрызений совести отметил, что, хотя бывал здесь не раз, никогда прежде не уделял столько внимания этим залам. Потеря, всю тяжесть которой я ощутил лишь теперь, задним числом. Знакомство с экспонатами доставляло мне удовольствие, я не испытывал усталости, зато чувствовал, как обогащаюсь духовно.

Скрупулезно изучил литературу рубежа XIX—XX веков, творчество поэтов и писателей, примыкавших к журналу «Нюгат», а под конец — всех великих и малых деятелей недавнего прошлого. Казалось, с венгерской литературой уже покончено, когда в дальней стене выставочного зала я приметил дверцу. Возле нее сидела служительница, седенькая старушка с вязаньем в руках — первый живой (!) человек, который мне повстречался после происшедшего со мной прискорбного события. На радостях я раскланялся с ней, но она никак не отреагировала на мое приветствие. Спицы в ее руках мелькали с дьявольским проворством, шла прибавка петель.

Я осторожно переступил порог, словно вторгшийся украдкой посетитель, и замер как вкопанный. То, что я увидел внутри... Но чем навешивать ярлыки и давать характеристики, предпочитаю прибегнуть к средствам бесстрастного описания.

По устройству, расположению обстановки зал больше всего напоминал храм, в котором я только что побывал, хотя, конечно, не мог сравниться с ним просторностью и высотою. В центре, против двери, естественно привлекая к себе взгляд входящего, находилось возвышение — некое подобие алтаря, а по обе стороны от него размещались бесчисленные углубления — боковые приделы? часовенки? — словом, отсеки, ниши, где посетителю вольно было уединиться со своими мыслями.

Однако все это не меняло основного характера зала. Стенды, витрины ни на миг не позволяли забыть, что ты находишься в музее.

И все же причиной моего изумления послужило другое. На экспонатах — книгах, документах, бумагах — красовались имена моих современников. Именно они были изображены на увеличенных, изящно обрамленных фотопортретах. Чудно́, право слово, чудно́!.. Какой же мерой измерять время, истекшее с момента вышеупомянутого прискорбного события? Сколькими днями, если придерживаться системы измерения, действовавшей до вчерашнего вечера, то бишь момента моей смерти? Или же мне довелось стать очевидцем некоей концентрации времени, подобно тому, как крохотная баночка томатной пасты заключает в себе гущу двух десятков помидоров?

Я обратился было за ответом к витринам с экспонатами, но тотчас и думать забыл о всех своих сомнениях, завороженный увиденным. Впереди, в самом центре алтаря, подсвеченное умело скрытыми лампами, на меня

смотрело увеличенное изображение знакомого лица. Портрет увеличен с фотографии на обложке одной из книг; стальной взор устремлен вдаль, словно придирчиво всматриваясь в будущее, — не лицо, а воплощенный дух эпохи. Какое место будет уготовано ему в свой черед, догадывался я, догадывались все, за исключением его самого: он-то знал точно.

Обходя поочередно все боковые отсеки, ниши и углубления, я разглядывал галерею портретов моих современников, растроганно вспоминал их, натыкаясь на первые издания книг, иные из которых занимают место и у меня дома, на книжных полках, к тому же — теперь могу признаться без ложной скромности — подписанные авторами. Пробежав глазами протоколы эпохальных литературных дискуссий былых времен, я задал себе коварный вопрос: отчего я сам не принял тогда в них участия. И все это время меня ни на миг не отпускало чувство благоговения перед этим застекленным пантеоном.

Я уж было повернул к выходу, как вдруг, в неприметном закутке, поодаль от главного алтаря и прилежащих к нему боковых приделов, на крохотном пространстве меж двух обращенных друг к другу задней стенкой щитов увидел нечто, практически скрытое от посторонних глаз. Увиденное пригвоздило меня к полу. Я не только дара речи лишился — не мог ни вздохнуть, ни выдохнуть. На стене, на белом картоне, выведенное черной тушью, красовалось мое имя, а ниже — слова: «Мемориальный уголок»!

Любой смертный в подобном положении склонен к определенному ретушированию собственного облика, так и я не взялся бы утверждать, будто в своей предыдущей жизни (или попросту — при жизни) я был начисто лишен всяческих проявлений самолюбования. В таком случае, с чего бы мне измениться именно теперь? Не стыжусь признаться, я был потрясен. И даже прослезился. Затем, осушив слезы, принялся придирчиво разглядывать выставленные экспонаты. Будь он хоть какой незначительный и, с точки зрения иных скептиков, всего лишь один из многих заурядных музейных закоулков, но для меня-то это *мой* мемориальный уголок!

Бордовый бархатный шнур огораживал его от нежелательного вторжения. Письменный стол у стены — точь-в-точь в таком же беспорядке, какой оставил после себя писатель; среди раскиданных бумаг — последняя, которую теперь уже не окончить: прошение в юридический отдел Министерства внутренних дел о выдаче загранпаспорта, указаны лишь первые цифры номера удостоверения личности, последние четыре владелец документа не помнил наизусть. Слева груда пыльных папок, справа ворох писем, ждущих ответа; под изящным пресс-папье квитанция прачечной: постельное белье и две рубашки. Столько сокровенных, милых сердцу пустячков!.. Там же и кресло, рядом на полу — стопка недочитанных книг. И неубранная постель — я снова не сумел сдержать слезы. Поразительно тонкое эстетическое чувство у этих музейщиков! Взамен бесстрастного подбора деталей какой-то прямо-таки душевный подход, а в результате ощущение подлинной жизни. На подушке углубление, след от покоившейся там головы, — казалось бы, пустяк, зато он красноречиво свидетельствует о высочайшем профессионализме устроителей экспозиции. На полке, пристроенной к столу с левой стороны, шеренга словарей и опубликованных книг. Я с неудовольствием отметил, что самой первой книги не хватает, в наличии только издание на словацком языке, и тотчас решил помочь музею. Правда, у меня тоже ни одного экземпляра не осталось, но если на то пошло, в лепешку расшибусь, а достану и пришлю книгу, из-за небольшого тиража ставшую библиографической редкостью. Должен же я хоть как-то позаботиться о своем мемориальном уголке!

Не в силах налюбоваться зрелищем, я вновь и вновь ласкал взглядом безупречную коллекцию вещественных доказательств ничтожности свое-

го недавнего существования, находя неисчерпаемое наслаждение даже в мельчайших деталях. С чувством незамутненной благости в душе я собрался было покинуть свой памятный уголок, как вдруг мое внимание привлек торчащий из-под ножки кресла листок бумаги. Мгновенно вспыхнувшее подозрение заставило меня перегнуться через заградительный шнур, хоть я и знал, что это строжайше воспрещается. Так и есть: я различил обрывок текста, накарябанного моею собственной рукой, РЕННИЙ ЪЕМ, ЕФОН 172... Полный текст расшифровывался с легкостью: УТРЕННИЙ ПОДЪЕМ, ТЕЛЕФОН 172-522. Молнией пронзила догадка: мой пропавший блокнот! Ну уж извините, потомкам он без надобности.

Я воровато оглянулся по сторонам. Седая служительница не обращала на меня ни малейшего внимания, в руках ее монотонно пощелкивали спицы. Легкие угрызения совести — что ни говори, а решив прихватить музейный экспонат, я посягаю на государственную собственность, и до чего же мы докатимся, ежели каждому посетителю взбредет на ум уносить на память хоть какой-нибудь пустячок, — я подавил в зародыше. Мигом перемахнул кордон, тихонько отодвинул кресло, выхватил блокнот и, загородив своим телом добычу, бегло пролистал страницы. Все оказалось в целости-сохранности: номера телефонов, заметки, а главное — картотека идей. С бешено колотящимся сердцем я вознамерился было прошмыгнуть обратно, на территорию, отведенную для посетителей, когда обнаружил, что от бдительного ока служительницы меня загораживает довольно широкий щит, и вообще... Я все забываю о своем новом качестве. Стало быть, нечего дергаться, разглядывай, изучай всласть свою находку. Само лишь прикосновение к блокноту наполнило меня счастьем. Вот уж поистине неслыханное везенье! Из списка вчерашних моих неудач одну можно вычеркнуть, да и другая теперь выглядела не в таком уж неприглядном свете.

Я облегченно вздохнул и расслабился, и тут на меня враз навалилась невероятная усталость. День оказался богат впечатлениями, да и осмотр музея затянулся, наступал вечер. Я вдруг взглянул на ситуацию под иным углом зрения. С какой стати, спрашивается, мне покидать этот уютный уголок, где благодаря профессиональному подходу музейщиков все, можно сказать, было подогнано по моей мерке? Блокнот вкупе со всей моей прошлой жизнью и планами на будущее, расписанными на карточки, опять при мне, значит, и спешить некуда. Да и где найдешь такое укромное местечко, как этот крохотный музейный закуток?

Стыдливо сняв с себя одежду, я укрыл ее в глубине кресла. Скользнул в постель, аккуратно пристроив голову во вмятине посреди подушки. Блокнот спрятал на груди под одеялом.

Недолгое время я пролежал в тишине и покое, как вдруг погас свет, послышался скрип двери и скрежет поворачиваемого в замке ключа. Седенькая служительница отбыла до утра.

Последняя моя мысль была о картотеке: как хорошо, что она нашлась! Правда, неполная и несовершенная... Однако стоит ли тщиться довести ее до полноты и совершенства? Решение этого вопроса можно отложить на завтра.

В душе воцарился мир, равновесие восстановилось, порядок вещей казался незыблемым. Ощущение невосполнимой потери больше не мучило меня. С чувством легкости и блаженства я смежил веки в своем мемориальном уголке.

Вступление и перевод с венгерского
Татьяны Воронкиной.

Вернемся еще раз к сборнику «Коллекции марок»: слишком велико желание пообильнее поделиться с читателем миниатюрами Пала Бекеша, в которых тонкий юмор соединяется с серьезностью и трагическим пафосом.

Призвание

1

Первое стихотворение Отто Балажа «Мгновение, как множество осколков...» появилось на страницах популярного журнала прямо в день его восемнадцатилетия. Счастье захлестнуло мальчишку, и в тот же вечер он напился. А на следующий день его призвали в трудбат[1].

Он не роптал; напротив, мужественно выносил все тяготы работ на руднике, да и окружение подобралось как на заказ: ученые и журналисты изо дня в день, утопая в грязи, толкали перед собой вагонетки; был среди них и Миклош Радноти. А что еще надо молодому поэту, мечтающему о будущем?

Когда колонны заключенных гнали из Сербии в Германию, Миклош Радноти был убит, а Отто Балаж выжил. Даже добрался до Бухенвальда, где провел несколько месяцев. Когда лагерь освободили, у Отто Балажа был тиф, а весил он всего тридцать семь килограммов.

Американцы отправили выживших в швейцарские санатории, чтобы там их вылечили и как следует откормили. Только немногие выдержали это усиленное питание. Отто Балаж выдержал. К моменту возвращения домой он весил уже пятьдесят четыре килограмма.

2

Захлебываясь от неизбывной радости жизни, Отто Балаж вступил в Коммунистическую партию. А поскольку был он поразительно талантлив, то недолго думая компетентные товарищи порекомендовали его на работу не куда-нибудь, а сразу в пресс-секретариат министра внутренних дел Ласло Райка[2].

В скором времени его уже избивали в доме номер 60 на проспекте Андраши[3]. Эрнё Чик, сотрудник госбезопасности, на допросе великодушно пообещал сохранить Отто Балажу вторую почку, если тот чистосердечно признается, будто бы в Швейцарии его завербовали коварные американские империалисты. Отто Балажу ничего не оставалось делать, кроме как сознаться во всех смертных грехах. На первом слушании его приговорили к смертной казни, на повторном — всего лишь к пожизненному заключению.

В тюрьме Отто Балаж писал стихи, но все бумаги у него изъяли.

Вышел он оттуда в числе последних. Потом его долго лечили в партийной больнице, и на похоронах Райка он уже был в довольно сносной форме. Там же он познакомился со своей будущей женой.

---

[1] В начале Второй мировой войны венгерские евреи отбывали трудовую повинность в так называемых трудовых батальонах, а на фронте выполняли саперные работы.

[2] Райк Ласло (1909—1949) — венгерский коммунист, политический деятель. В годы диктатуры М. Ракоши министр внутренних дел. В результате массовых репрессий казнен в 1949 году.

[3] Дом № 60 на проспекте Андраши — так называемый «дом пыток». В 1944 году «нилашисты» устроили там пыточную для евреев, а с 1945 года венгерские коммунисты в этом здании проводили свои «чистки». Сейчас там находится музей «Дом Террора», посвященный всем репрессированным XX века.

Как ни старался Отто Балаж воспроизвести стихи, написанные в тюрьме, методы Эрнё Чика по «вышибанию мозгов» сработали безупречно: не мог вспомнить ни строчки.

3

Тогда он принялся сочинять тексты песен. А поскольку талант Отто Балажа прямо-таки бросался в глаза, компетентные лица недолго думая предложили ему поработать ни больше ни меньше, как в пресс-секретариате Имре Надя[1].

Собственно говоря, там его и застало 23 октября 1956 года.

На сей раз приговорили его к пятнадцати годам. В тюрьме, как и прежде, Отто Балаж писал стихи. Как и прежде, все бумаги были конфискованы.

На свободу он вышел в числе последних. И оказался в комитете по доработке эстрадной песни: корректировал тексты песен, добавлял фразы, вычеркивал лишнее, заменял слова.

Его предшественник был недалекого ума человек и поэтому пользовался всеобщей любовью. А Отто Балаж — будучи поразительно талантливым — умел читать между строк. За что его и ненавидели. В особенности Белла Чик, певица-шансонетка, дочь директора типографии Эрнё Чика.

Прошло двадцать лет, и Отто Балаж умер от почечной недостаточности. После него всего-то и осталось, что несколько десятков строк, которые по его желанию были переписаны в шлягерах.

Благодаря Отто Балажу рефреном в памяти звучат слова: «Мгновение, как множество осколков...»

История

На площади Сена сидел человек с приплюснутым носом. Перед ним на земле лежала зеленого цвета шляпа, прицепленная картонка на полях которой гласила:

Самуэль Дёргеберци

Рассказчик историй

Каждая история — 100 форинтов за штуку

— Позвольте, это как же понимать? — поинтересовался я.

— В каком смысле?

— Глядите-ка, рассказчик историй! В том смысле, что в наши дни историй днем с огнем не сыщешь.

— Вы это, господин хороший, с чего взяли?

— Люди говорят.

— А я и ведать не ведал, — упрямился Самуэль Дёргеберци.

Дал я ему сто форинтов.

— О чем желаете историю?

— Да мне все равно.

— Э, нет, так дело не пойдет.

— Ну, тогда о цветке.

— О каком?

---

[1] Надь Имре (1896—1958) — венгерский политический и государственный деятель. Премьер-министр Венгерской Народной Республики в 1956 году. В ноябре 1956-го его вместе с соратниками обманом заманили в югославское посольство и в 1958 году казнили. Реабилитирован в 1989 году. Перезахоронение останков Имре Надя вылилось в массовую демонстрацию и ознаменовало поворот к демократическим изменениям в жизни страны.

— Вам и цветок назвать нужно?

— А как же.

— Пусть будет нарцисс.

На одном дыхании человек поведал мне семь дивных историй. Он сказал, что неспроста их было семь: ведь у нарцисса ни больше ни меньше, как семь лепестков. На что я ему возразил: у нарцисса только шесть лепестков.

Самуэль Дёргеберци вытащил сто форинтов из зеленой шляпы, протянул их мне и послал меня куда подальше.

Африка

Буры направились в глубь Африки.

Ведуны племени хоса сошлись на совет, где было решено спалить перо грифа и выпотрошить кишки змеи.

Нхаса, самый юный ведьмак, заявил во всеуслышание, что он, мол, говорил с богами, и те приказали убить всех коров. Тогда разверзнется небо и белолицым придет конец. Никто не сомневался в его словах, ведь он говорил с самими богами. Но кто-то тихонько поинтересовался: а когда разверзнутся небеса, конец придет лишь белолицым? Бунтаря немедля закололи.

Хосы поубивали всех животных. Вскоре от голода большинство людей племени отдали концы.

Нхаса ликовал: боги, дескать, были милосердны к его народу. Ведь хосы могли отправиться на войну и там бы погибли все до единого, а так несколько человек выжило. Кто-то осмелился заметить: мол, если бы животных пощадили, то уберегли бы больше людей в племени. Недовольного тут же закололи.

Долго воспевали хвалу хосы своему юному ведуну Нхасе.

Европа

В 1550 году в монастыре Вальядолида собрался Совет Четырнадцати, чтобы выслушать отцов Лас Касаса и Сепульведу и решить их спор, являются ли людьми обитатели Нового Света.

Сепульведа обосновал свою позицию так: аборигены не обладают разумом, а следовательно, на них можно охотиться точно так же, как на диких животных. На что отец Лас Касас возразил: они ведь говорят. А речь, как известно, отличительное свойство человека.

Диспут длился недели. Наконец, отец Сепульведа зачитал письмо, пришедшее на днях от Педро де Вальдивия, который опустошил Чили: «За кого нам принимать существа, у которых такой массивный череп, что наши солдаты должны изловчиться, разрубая мечом голову аборигена, чтобы мозги не брызнули им в лицо, потому как даже клинок притупляется в этих каменных башках?»

Это стало последним аргументом. Совет Четырнадцати пришел к выводу, что индейцы, несмотря на внешнее сходство с людьми, таковыми не являются. Вопрос на долгие десятилетия был снят с повестки дня. Ведь так решили Четырнадцать мудрецов Европы.

Литература

В 1960 году преподаватель литературы из Дюссельдорфа включил в школьную программу произведения Сент-Экзюпери. Нововведение он обосновывал тем, что автор «Маленького принца» — гений века.

Вскоре он не упустил случая влепить «двойку» ученику, который позабыл дату исчезновения писателя, то есть 31 июля 1941 года, когда истребитель Экзюпери растворился в море или небе у Лазурного берега.

Десять лет спустя этот учитель, будучи уже главным школьным инспектором области, ввел вопрос об Экзюпери в выпускные экзамены. Его распоряжение было воспринято с недоумением, а пресса обрушила на инспектора шквальный огонь.

После вынужденного ухода на пенсию инспектор лишь раз сделал публичное заявление.

В его жизни, скудной на события, сказал бывший учитель, был лишь один день, достойный воспоминания: 31 июля 1941 года, когда он, пилот люфтваффе, преследовал над Лазурным берегом вражеский разведывательный самолет. Он стрелял по нему, покуда тот был в поле его зрения, стрелял до тех пор, пока горящий самолет не растворился в синеве моря или неба.

Очень больно

Этот сборник венгерского поэта Аттилы Йожефа[1] я увидел в Англии.

Его хранили как зеницу ока на отдельной полке над камином.

На стершейся бумаге потускневшими от времени буквами напечатано название: *Очень больно.*

Культовая книга, вопрос в экзаменационных билетах. Школьники учат наизусть, филологи пишут докторские диссертации, оппозиция цитирует на собраниях.

Это был экземпляр, переживший бегство-эмиграцию через три континента, пронумерованный, с авторской подписью. Поблекшие, написанные от руки строки на обложке были посвящены жене хозяина. В них искрились страсть, страх, любовь. Слезы наворачивались на глаза от этих строк.

Как реликвию взял я книгу в руки и аккуратно, чтобы не повредить истлевшие страницы, перелистал ее.

Перелистал бы. Но это оказалось невозможным.

Листы сборника были не разрезаны. Девственная, нечитанная книга.

Предварительная договоренность

Смерть позвонила по телефону. На пятый раз ее наконец-то соединили с Арпадом Верховинаи. Смерть пустилась в объяснения, что, мол, осмелилась побеспокоить, не будучи лично знакомой. Затем подошла к сути. Дескать, нужно провести переговоры по неотложному делу. Вопрос, можно сказать, жизненно важный.

Верховинаи принялся извиняться, дескать, дела общественные не терпят отлагательства, его расписание забито до отказа, переговоры следуют одни за другими, словом, об аудиенции не может быть и речи. Один из собеседников настаивал на встрече, другой отделывался как мог. Оба потеряли терпение, чуть было не поругались, решая, у кого все-таки дел больше. В конце концов Верховинаи не выдержал и стукнул кулаком по столу: до отпуска встреча не представляется возможной. Смерть уступила. Так и быть. Только ей не хотелось бы сокращать заслуженный отдых своего партнера. А потому договоримся о встрече сразу после отпуска.

В первый же день после отпуска Верховинаи позвонил Смерти.

Положив трубку, он вдруг подумал, что позабыл спросить: а в чем, собственно, дело?

[1] Йожеф Аттила (1905—1937) — крупнейший венгерский поэт XX века.

Онтологическая печаль

Когда прошел слух, что в Калькуттском зоопарке в результате скрещивания самца льва с самкой тигра на свет появился живой звереныш, зоологи с четырех континентов устремились в клетку к новорожденным. Они славили нового хищника, даже имя его излучало радость: тиглев.

Молодость животного прошла триумфально: все дивились такому чуду.

Взросление происходило благополучно и казалось многообещающим. Но на третьем году жизни случилась беда.

Позвоночник оказался слабым, лапы не выдерживали веса тела, легкие дышали вполсилы, сердце работало с перебоями, половые органы были неразвиты. Полная несовместимость с жизнью и неспособность к воспроизведению.

Интерес зоологов к животному иссяк.

Скрытый от глаз посетителей, хилый тиглев в одиночестве коротает свои дни.

Ни предков, ни потомков, ничего. Неудавшееся начало, на котором поставили крест. Унизительная насмешка природы: вид, существующий лишь в одном экземпляре. Тупик.

Тиглев.

Ну и камень

Янош Гёз, 47-летний мастер по стиральным машинам, частенько прогуливается по берегу Дуная. Он одинок и в сказки уже не верит. На дороге он находит разноцветный камешек, кладет в карман в надежде, что тот принесет счастье. Не принесет. Карман-то дырявый, зашить некому, и камешек выпадает.

Анна Пеце, 40-летняя оценщица из ломбарда, тоже нередко прогуливается по набережной Дуная. Она уже смирилась с мыслью, что опоздала с материнством. Тогда нужно хотя бы путешествовать. Если бы было с кем. Она спотыкается о пестрый камень, кладет его в карман, вдруг тот принесет счастье. Нет, не принесет. Анна наступает на собачью кучу, поскальзывается и падает.

Мчится домой, с отвращением швыряет одежду в стиральную машину.

Камешек остался в кармане, машина сотрясается с диким грохотом и останавливается.

Анна со слезами звонит мастеру.

Янош Гёз, мастер по стиральным машинам, живет неподалеку, у Анны Пеце нет времени даже одеться.

Она принимает мастера в одном халате...

Перевод с венгерского Елены Рожковой.





ЖИ МУЖУН

Небо и земля любви

В раннем детстве я впервые услышал от родителей русские сказки, позднее полюбил всю русскую литературу.

Окончив Пекинский педагогический университет, я начал переводить русских и советских поэтов на китайский язык.

*Однажды мне попался сборник стихов известной поэтессы **Жи Мужун.** Меня потрясла ее поэтическая откровенность, словесная простота и необыкновенная глубина человеческих переживаний. Особенно ей удаются стихотворения о любви и вечной жизни. Чистая, наивная, глубокая любовь лирической героини тронула меня до слез.*

Прочитав все сборники Жи Мужун, я решил перевести ее необыкновенные строки на русский язык, чтобы большая аудитория русскоговорящей молодежи тоже полюбила этого чудесного поэта из Китая.

Своим переводческим трудом я хочу связать лучшие чувства молодежи двух дружественных стран.

Ли Цзо

Слухи

Если все твое бродяжничество длится по моей вине,
Как же я могу не любить твой мученический вид.

Если все горе на свете ты уже пережил из-за меня,
Как же я могу не любить твою печальную
И тоскующую душу.

Говорят, что ты уже постарел,
Стал как камень,
Что ты очень беспощаден.
Но никто не знает, что я все-таки твой
Самый нежный уголок в глубине души,
Со слезами, и нетронутый.

Юная ночь

Бывает ответ, который я могу
Преждевременно дать вам.
Но если я люблю, тогда некоторые ответы,
Может быть, я должна тянуть долгое,

Долгое время, не отвечая прямо до тех пор,
Пока эти вопросы не будут забыты.
Тогда ответить или не ответить, или что ответить
Уже станет не так и важно,
Даже если ты настойчиво хочешь знать.

Если ты все-таки хочешь знать,
Тогда прошу тебя вспомнить о прошлом,
Подробно ища
ту юную ночь,
Что вдохнулась в нашу нежную и чуткую душу.
В ту юную ночь луна была так чиста,
Чище, чем прозрачная вода.

Спутник

Ты — стремительно летящая стрела,
Я — тот самый ветерок у перьев твоего лука.
Ты — раненый орел,
А я — тот самый свет луны,
Ласкающий твою рану.
Ты — гордо стоящая сосна,
А я — та самая нежно вьющаяся по тебе глициния.

Безумно хочу, чтобы наша любовь была вечна,
Как небо и земля.
Ты вечно будешь моим спутником.
А я твоей нежной женой и на этом,
И на том свете.

Если...

Все времена года могут быть устроены
Очень бесцветно, если только солнце того пожелает...
Жизнь человека может быть устроена
Очень скучно, если только любовь того пожелает...
Я могу никогда не явиться, если только ты
Того пожелаешь...
Кроме тоски по тебе,
Милый друг, я ни на что не способна,
Однако если только ты пожелаешь,
Я моментально сделаю так, чтобы тоска
По тебе увяла и исчезла.
Если ты того пожелаешь, я готова и
Каждое зерно вырвать, каждую реку остановить,
Чтобы запущенность и иссушение продолжались
Беспредельно долго.
На этом свете и в этой своей жизни никогда
Не буду вспоминать тебя!
Кроме, кроме некоторых ночей,
Мокрых от моих слез...
Если, если ты того пожелаешь.

Короткое стихотворение

Когда все родные увидели,
Что я в одночасье постарела;
Когда все друзья увидели,
Что мои волосы покрылись снегом,

Как же я могу встретиться с тобой,
Когда в глубине твоей души еще
Остается моя цветущая молодость.
Она как будто чистая вода в реке
И зеленые деревья на склонах гор.

Скальная хризантема

Белая как снег,
Горячая как пламя,
Она растет в глубоком и глухом ущелье.

Моя страшно тайная мечта —
Это осенний последний букет
Расцветающей скальной хризантемы.

Песня о трубе

Смерть,
Может быть,
Не равна концу жизни.
Может быть, она только
Хамелеон, который переходит
С одного листа на другой,
Меняя окраску.
Как мало я знаю!
Бывает ли на том свете ветерок?
Бывает ли несколько снов, еще не забытых
При раннем утреннем смуглом свете?

Сообразительность под дождем

Если после дождя опять будут дожди,
Если после печали вновь будут печали,

Пусть я спокойно буду относиться к прощанию.
После прощания
Пусть буду продолжать с улыбкой искать тебя,
Больше не появляющегося.

Метеоритный дождь

Летней ночью
Эти молодые звезды,
Удивляясь взаимообещающему свету,

Считают, что свет с этой поры начинает существование,
А после этого будет долгая совместная жизнь.

Так что с улыбками глядя друг на друга,
Мы в это время ничего не знаем;
В действительности никто из нас не знает,
Что юная любовь на самом деле
Только метеоритный дождь...

Цветы тростникового аира

Уж очень мне хотелось встретиться с тобой,
Но не было возможности:
На том пустынном, тихом, песчаном берегу,
Когда небо темнеет, ветер становится холодным,
Когда все наши думы и действия становятся неосознанными,
Какие тогда бывают сумерки!

А в этот момент аир тростниковый своевольно расцветает
То здесь, то там — так и кустится безмерно,
Дерзко показывает окружающему миру свое возбуждение.
Его малюсенькое сердечко, от чистой белизны
До сине-фиолетового цвета,
Как будто рассказывает историю,
Которую я мечтала услышать всю свою жизнь.

Пусть души цветов умирают раньше,
Чем цветы расстаются со стеблями.
Пусть. Я задержусь тут, пока время не перейдет
От любви и жалости к тиранству.
Грань такого перехода очень мала и тонка,
А потому и крайне остра.

Тем более, что я надеялась,
Очень надеялась встретиться с тобой.

Перевод с китайского Ли Цзо.



ЮРИЙ САПОЖКОВ

Уроки Есенина

Каждый большой писатель, не говоря уже о великих, создает свою школу. Это школа отношения к жизни и творчеству, моральная и профессиональная система координат, шкала ценностей, которым следовал художник, наращивая тем самым масштаб своей личности. Читая произведения светил поэзии или прозы, мы становимся обладателями их творческого наследия и получаем представление о жизненной позиции и взглядах мастеров через героев, персонажей книг. Но есть прямые указания и поступки этих дарителей красоты, оставленные ими и пересказанные очевидцами, — мысли и дела, не облеченные в художественную форму. Собранное вместе, это не что иное, как своеобразный курс этики и мастерства, мастер-класс, как теперь стало модно говорить, свод принципов и правил жизни. Именно под таким углом зрения я перечитал воспоминания современников великого русского поэта Сергея Есенина. Думается, они особенно важны в наше время, когда поэзия, при всем невероятном обилии любителей стихотворчества, находится в таком плачевном состоянии, как никогда до сих пор. Маяки погасли и, как заметил один из последних могикан большой поэзии, «нету их и все разрешено».

«Ищи родину!»

Это один из главных заветов Есенина. Он часто повторял: «Поэт может писать только о том, с чем он органически связан». Обижался, когда критика писала о нем как о дамском угоднике, выбирая иногда выражения и покруче. Это был самый настоящий поклеп на него. Органически связан поэт был только с Родиной. «Чувство родины — основное в моем творчестве». В другой раз заявлял непонятливым: «У меня нет периодов — через все мое творчество проходит одна и та же тема: любовь к родине». Однажды его, что называется, достали сравнением с Маяковским. Известно, что отношения между ними были, мягко говоря, натянутыми. Во вражду никогда не переходили, но дружбой тоже не пахло. Ранние стихи Маяковского Есенин даже любил. «Ах, закройте, закройте глаза газет!» даже рекомендовал читать. Кстати, образ этот в незначительной интерпретации недавно вдруг встретился у Николая Зиновьева, которого в Москве считают одним из лучших поэтов наших дней. Начитанность или поэтический дубль? Так вот, когда Есенина допекли Маяковским, он высказался яснее некуда: «Знаешь, почему я — поэт, а Маяковский так себе — непонятная профессия? У меня родина есть. У меня — Рязань! Я вышел оттуда, и какой ни на есть, а приду туда же! А у него — шиш! Вот он и бродит без дорог, и ткнуться ему некуда. Хочешь добрый совет получить? Ищи родину! Найдешь — пан! Не найдешь — все псу под хвост пойдет! Нет поэта без родины». Но в другой раз, идя навстречу замечательному своему правилу быть объективным, добавил: «Что ни говори, а Маяковского не

выкинешь. Ляжет в литературе бревном. И многие о него споткнутся». Говоря о родине как о святая святых поэта, нельзя не вспомнить еще два случая из его жизни. Первый раз собираясь за границу, решал для себя — здороваться ли с Мережковским и Гиппиус. Если случайно встретит их. Пришел к выводу — нет, не поздоровается, они же бросили родину. И еще. Как-то в одном из парижских кафе бывшие белогвардейцы, служившие в кафе официантами, стали упрекать его, что продался, мол, большевикам. Есенин резко одернул их: «Вы здесь находитесь в качестве официантов! Выполняйте свои обязанности молча!»

«Примите и обогрейте»

Нет, это он не о себе так писал. Просил за других, страждущих и неимущих, в рекомендательных письмах. К более утонченным особам обращался иначе: «Я был бы рад, если бы он нашел к себе отклик в Вас». Доброта и благодарность за добро были его врожденным качеством. Никогда не забывал, что обязан Блоку, давшему ему, розовощекому сельскому пареньку, рекомендательное письмо к Городецкому. И когда имажинисты провели скандальное собрание, посвященное памяти Блока, Есенин тут же вышел из круга этих людей. Кстати, красноречивый штрих к характеру поэта. Примерно одновременно с ним из «Ордена имажинистов» вышел Рюрик Ивнев, друг Сергея Александровича. Но совсем по другой причине: за то, что товарищи по поэтическому цеху (Мариенгоф, Шершеневич, отчасти Клюев) стали оскорбительно отзываться о Маяковском, а с ним Ивнев дружил. Ситуация, в которой правило «мой друг — твой друг» дает осечку. Есенин и Ивнев остались друзьями. Конечно же, Есенин хорошо знал, что ласковый теленок двух маток сосет, чего ж на него обижаться.

Добросердие иногда подшучивало над ним. Вот что пишет по этому поводу А. Л. Миклашевская, одна из пассий поэта, которой он посвятил несколько изумительных стихов, в том числе «Заметался пожар голубой...»: «Уезжая в 1922 году за границу, Есенин просил Мариенгофа позаботиться о его сестре Кате. Выдавать ей деньги — пай Есенина в кафе поэтов и в книжной лавке на Никитской. Мариенгоф не выполнил обещания. Когда Есенин узнал об этом, они поссорились. И все-таки, когда Мариенгоф с Никритиной были за границей и долго не возвращались, Есенин пришел ко мне и попросил: «Пошлите этим дуракам деньги, а то им не на что вернуться. Деньги я дам, только чтобы они не знали, что это мои деньги». Поэт превозмог обиду.

Направляя бездомных со словами «примите и обогрейте», Есенин мысленно прикидывал, как устроить несчастного, если тот вернется ни с чем. Он никогда не имел своей квартиры, мыкался по домам друзей и знакомых, жил у своих жен. Иногда, чтобы одеться поприличнее на поэтический вечер или нанести официальный визит к совпартийному чиновнику, приходилось собирать свою одежду в разных местах Москвы. Но у него было то, что мы называем состраданием, а он стеснялся этого слова. И давал приют в той же чужой комнатенке, в которой ютился сам, под предлогом совершенно необходимого опекунства над молодым человеком как будущим гением. Однажды он сильно потеснился, чтобы поселить рядом с собой юношу, поэта Якова Овчаренко, в недавнем воевавшего в дивизии Котовского. Есенина подкупили строки Якова Приблудного (красноречивый псевдоним Овчаренко): «Не трогайте ж нас, не травите // И не спешите признавать». Молодой человек, слишком медленно развивая свой талант, зато быстро освоившись на чужом довольствии, доставил впоследствии много неприятных хлопот своему спасителю. Но через несколько лет все искупил своей мужественной смертью в застенках НКВД. Оказался

единственным из друзей Есенина, арестованных по ложному доносу, кто выдержал пытки, никого не оговорив. Перед расстрелом на стене камеры написал: «Приговорили к вышке. Яков Приблудный». Странно, что не подписался фамилией отца.

«Поют агитки Бедного Демьяна»

Вовсе не из-за трудной рифмы к слову «бедный» псевдоним Ефима Придворова выглядит таким образом в известном стихотворении: имя и фамилия поменялись местами. Нет, современники сразу заметили в этом иронию поэта. Это был синоним слов «несчастный», «бесталанный». Так, Сергей Александрович припомнил Придворову его поведение на прошумевшем на всю страну так называемом «суде четырех». Есенина и трех его друзей обвинили в антисемитизме по доносу человека, подслушавшего в кафе разговор подвыпивших поэтов. Доказать было ничего невозможно, но правоохранительные органы с усердием выполняли недавнее постановление советского правительства «О борьбе с антисемитизмом». Члены жюри оказались на высоте (среди аргументов невиновности самый убедительный: среди друзей Есенина половина, если не больше, — евреи!), но один из них, Ефим Придворов, проголосовал за наказание. А оно могло быть суровым — вплоть до расстрела. Удивлению Есенина не было предела: накануне суда он разговаривал с начальствующим собратом по перу, и тот весьма благосклонно выслушал его. И что же — Есенин проникся к Бедному злостью? Желанием отомстить? Да нет, всепрощающая христианская душа его не позволила пасть в низкие чувства. Более того, как напевал, когда находило, «Как родная меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала», так и продолжал напевать под настроение. И не один такой пример. Лип к нему в дружбу и фарисей Георгий Устинов, называвший Есенина в своих статьях «...самым неискоренимым психобандитом», — неискоренима была доверчивость поэта: мол, кто не ошибается. Впоследствии двурушник сыграет роковую роль в судьбе поэта.

«Спекулянт! Полфунта Кремля»!

Зато куда как решительно расставался он с теми, кто в искусстве видел товар, который можно менять на блага. Модный тогда Пильняк поступал именно так. И бахвалился: «Искусство у меня вот где, в кулаке зажато. Все дам, что нужно и что угодно. Лишь гоните монеты. Хотите, полфунта Кремля отпущу». Передавая эти слова Тарасову-Родионову, Есенин возмущался: «Спекулянт! Говно собачье! Полфунта Кремля!» Неприятно поразила его и просьба родной сестры Кати помочь литературной карьере ее мужа, Василия Наседкина. С сестрой поругался и помогать родственнику категорически отказался. Конечно, Катя передала разговор с братом мужу. Но тот был дипломатом. Понимал, что ссориться с Есениным невыгодно. И не просчитался. Гонорар за трехтомное собрание сочинений, которое готовил к изданию Госиздат в 1925 году — 6000 рублей, — казался Есенину вполне приличным. Однако его зять решил поторговаться и выторговал еще 4000! Это помогло решить ему и свои финансовые проблемы.

Любая коррупция в поэзии Есенину была отвратительна. Для него не существовало приятельских отношений, если требовалось оценить чье-либо произведение, отданное ему на суд. Никакого лукавства, когда идет речь о поэзии. В своем превосходном литературоведческом труде «Ключи Марии» Есенин подвергает критике стихи своего друга Николая Клюева, который к тому же был первым его учителем. По мнению поэта, образы у

Клюева статичны. Они не плывут, как ладья по воде. «Образ от плоти, — рассуждает Есенин, — можно назвать заставочным, образ от духа корабельным и третий образ от разума ангелическим». У Клюева — первый вариант. Прочитав такое, его старший коллега по перу поначалу обиделся. Но ненадолго.

Нужно ли говорить о том, как относился Есенин к политической коррупции, к попыткам властей приручить золотую птичку? «Нет, я не кенар, я — поэт»; «Конечно, мне и Ленин не икона»; «Отдам всю душу октябрю и маю, // Но только лиры милой не отдам»... Муза поэта не должна быть услужлива — еще одна заповедь великого человека.

Пишу эти строки, и грустно становится на сердце: комплиментарность нашей критики, взгляд на поэзию как на средство покомфортнее устроиться — обычное явление в литературе и общественной жизни. Попробуй кого-нибудь погладить против шерстки. Тут же идут в ход встречные меры, из которых злая эпиграмма — самая невинная. А уж усомниться печатно в художественной правоте друга — такое и в страшном сне не приснится. Не дай бог отвергнуть стихи кого-либо из власти предержащей — для них прослыть поэтом стало престижно.

И поэт, по Есенину, не должен идти в чиновники, независимо от их ранга. Когда его друг Алексей Ганин, в 1925 году расстрелянный за якобы заговор против советской власти, внес фамилию Есенина в список возможного в будущем правительства, предложив пост министра просвещения, Сергей Александрович, негодуя, попросил вычеркнуть его, объяснив, что поэт должен заниматься только поэзией. Он должен жить только для стихов. Признавался, что его жизнь длится от стихотворения к стихотворению. Этим расстоянием она исчерпывается. А все, что есть в ней другого — женщины, друзья, выпивки, — нужно лишь для того, чтобы разрядиться, снять жуткое напряжение, отвлечься от изнурительной работы ума и души (за последние два года жизни написал 100 шедевров!). У нас, совсем недавно, жил так еще один поэт, очень похожий на Сергея Есенина как сутью своего творчества, главный нерв его — Родина, так и образом жизни. Это Анатолий Сыс.

Классик за левым плечом

Каждый поэт, считал Есенин, должен иметь в ангелах своего классика. У него было их три: Пушкин, Гоголь, Фет. Блока любил, гордился знакомством с ним, цитировал, но это был современник, с ним можно было даже поспорить. Впрочем, спорил он и с Пушкиным. Об этом ниже. Литературоведы, внимательно прочитав «Балладу о двадцати шести», тут же обнаружили в ней что-то неуловимое гоголевское. Есенин не возражал: это было присутствие Гоголя на подсознательном уровне. Целые страницы из Гоголя, особенно описания природы, он мог читать наизусть. У Пушкина больше всего любил «19 октября»: «Роняет лес багряный свой убор». Упорно защищался Пушкиным от критиков, обвинявших его в упадочнических настроениях. Как свое, с воодушевлением цитировал: «Дар напрасный, дар случайный, // Жизнь, зачем ты мне дана? // Иль зачем судьбою тайной // Ты на казнь осуждена?» Он настраивал свою лиру по пушкинской. Словно ощущал за спиной дыхание любимого поэта. О его любви к нему знали все. Гроб с телом Есенина трижды обнесли вокруг памятника Пушкину.

Учиться у классиков было для него законом. Рассказывал об этом не стесняясь. «В первом издании («Радуницы». — ***Ю. С.***) у меня много местных, рязанских слов. Слушатели часто недоумевали, а мне это сначала нравилось. Потом решил, что это ни к чему. Вот и Гоголь: в «Вечерах» у него много украинских слов; целый словарь понадобилось приложить, а в

дальнейших своих малороссийских повестях он от этого отказался. Весь этот местный, рязанский колорит я из второго издания своей «Радуницы» выбросил».

Однако не всегда с великими соглашался. Работая над своим «Пугачевым» и перечитав массу исторических материалов, Есенин бросил перчатку самому Пушкину. Не могу не привести такое его высказывание: «Я несколько лет изучал материалы и убедился, что Пушкин во многом неправ. Я не говорю уже о том, что у него была своя, дворянская точка зрения. И в повести, и в истории. Например, у него найдем очень мало имен бунтовщиков, но очень много имен усмирителей или тех, кто погиб от рук пугачевцев. Я очень и очень много прочел для своей трагедии и нахожу, что многое Пушкин изобразил неверно. Прежде всего сам Пугачев. Ведь он был почти гениальным человеком, да и многие из его сподвижников были людьми крупными, яркими фигурами, а у Пушкина это как-то пропало. Еще есть одна особенность в моей трагедии. Кроме Пугачева, никто почти в трагедии не повторяется: в каждой сцене новые лица. Это придает больше движения и выдвигает основную роль Пугачева». С сомнением отнесся Есенин и к любовной интриге в «Капитанской дочке», считая, что она «не хорошо прилажена к исторической части. У меня же совсем не будет любовной интриги. Разве она так необходима? Умел же без нее обходиться Гоголь».

У Лермонтова внимательный ученик впервые заметил так называемые разноски, переносы предложения из одной строки в другую. Не понравилось. Естественное течение стиха предполагает новое содержание каждой следующей строки. «Я люблю совпадение фразы и строки». Но так не всегда получается, потому что пишется залпом, а переделывать потом все равно что перешивать уже сшитое. Мы все привыкли, как к воздуху, к строкам: «Не бродить, не мять в кустах багряных // Лебеды и не искать следа». Но Есенин был просто подавлен, что написалось именно так. По его убеждению, лебеда должна улечься в первую строку, во второй ей делать нечего. Стал переделывать. Получилось так: «Лебеды не мять в кустах багряных, // Не бродить и не искать следа». Написал и тут же почувствовал: не годится, слишком большое значение придается «лебеде». Ведь главное во фразе — «бродить». Второстепенное — «бродя, мять лебеду». Со вздохом вернулся к первому варианту. Обостренный поэтический слух не позволил совершить ошибку.

«Простей! Простей!»

Если бы собрать все, что говорил Есенин по поводу своих и чужих стихов, получилась бы книга не менее интересная и полезная, чем «Как делать стихи» Маяковского. Полезная не в смысле возможного подражания, это как раз бесполезно. Для нас важны принципы работы над стихом большого мастера. Причем на той его стадии, когда стихотворение уже написано. Потому что каждый пишет по-своему и процессу писания учиться глупо. Есенин записывал уже выношенное в голове и прочувствованное стихотворение, перед этим (если условия домашние) вымыв голову, надев чистую рубашку и поставив на пол цветы. Если стихотворение не давалось, оно отставлялось в сторону. Очевидно, чтобы не превратить святой труд в вымучивание строк. В шумах поэтического эфира звукочуткость уверенно ищет след, как опытный радиотелеграфист единственно нужные позывные. Но иногда из-за скорости происходит сбой. В «Волчьей гибели» вначале написалось: «Из черных недр кто-то спустит сейчас курки». После вслушивания и вглядывания в строку Есенин меняет эпитет «черных» на «пасмурных». «Из пасмурных недр кто-то спустит сейчас курки». И с удо-

влетворением отмечает, что так звучит лучше. И. Старцев, рассказавший этот эпизод, не одинок. У Ройзмана своя история. Он показал свой «Платан Пушкина» Есенину как будущему редактору журнала «Вольнодумец» (проект провалился) на предмет публикации в первом номере. В стихотворении было 16 строк. Есенин сделал 25 замечаний. «Пишешь: «грызут», а в следующей строке «грызню». Не годится! Потом: «И тут говорили мне Пушкин...» Мнепушкин! Замени! «Тихие всплески». Нашел новый эпитет! Или: «О милой подруге»! А уж это черт знает что: «возглас земли».

Ясность стиха — для Есенина это требование, что виза для таможенника. Модерн? — иди по красному коридору. Пушкинская традиционность — зеленый свет. «В поэзии, как на войне, надо кровь проливать». Поэзия не спектакль, хочется добавить от себя. Это сегодня выражение «традиционный стих» в устах многих современных поэтов звучит снисходительно: что, мол, за допотопное искусство? Как старые лапти в век загнутых лодочкой туфель. Отсутствие синтаксиса нынче тоже не что иное, как попытка обмануть читателя. В том, что стихи написаны на одном выдохе. Продиктованы, дескать, небесами. Нам остается только восхищаться. 500 лет назад первые книги в Армении писались ручейком, то есть слитными словами, без пробелов. Чтобы сэкономить пергамент. На одну Библию уходила кожа 100 телят. Мы приходим пока к экономии краски. Прекрасно!

А Есенин тянулся к классике и выдавал классику: «Стихи! стихи! Не очень лефте! // Простей! Простей! // Мы пили за здоровье нефти // И за гостей». Читающий эти строки, уверен, насладится не только энергетикой стиха (1 Мая), но и рифмами.

«Учись быть кратким»

Набирая портфель с материалами для «Вольнодумца», Есенин понимал: в журнале наряду с маститыми авторами должны быть представлены и молодые, неизвестные имена. Но лишь «с большим отбором и с условием, если у них есть что-нибудь за душой». Вот это последнее замечание концентрирует в себе важнейшие мысли Есенина о поэзии. «Все они думают так: вот рифма, вот — размер, вот — образ, и дело в шляпе. Мастер. Черта лысого — мастер! Этому и кобылу научить можно. Рифмы, как лакированные туфли блестят! Этим меня не удивишь. А ты сумей улыбнуться в стихе, шляпу снять, сесть, — вот тогда ты мастер». В другой раз он добавит: «Нет этого — себя не нашел! Ну а раз не нашел...» Вот что означает у Есенина «если у них есть что-нибудь за душой». При всем при этом лирическое стихотворение должно быть кратким: «иначе оно, безусловно, потеряет лирическую напряженность, оно станет бледным и водянистым». Есенин ссылается на Блока, который рекомендовал 20 строк как идеальный размер лирического стихотворения. Но ведь мало и себя найти. Нужно ощутить и понять, что вокруг. Замкнуть на себе. И. Н. Розанов вспоминает слова Есенина: «У Клюева в стихах отображение жизни. Я же в основу кладу содержание, поэтическое мироощущение». Другими словами — самую жизнь. Этой задаче у него служат все вспомогательные средства формы. «Образ для него — это гать, которую он прокладывает через болото», — находит довольно точную метафору друг Сергея Есенина по имажинизму Иван Грузинов. В 1927 году он выпустил небольшую, но не имеющую цены книгу: «С. Есенин разговаривает о литературе, искусстве». Интересно и такое его замечание: «...некоторые из его друзей считают, что в стихах образы должны быть нагромождены беспорядочной толпой. Такое беспорядочное нагромождение образов его не устраивает, толпе образов он предпочитает органический образ».

Рифмы я сравнил бы с пуговицами на костюме. Они должны быть естественными, не резать глаз, помогать общему восприятию произведения. Весьма трудно добиться этого с помощью ассонансных рифм. Этому мешает несовпадение согласных в конце слов. Найти эффектную ассонансную рифму — один из признаков таланта. Поэтому использование глагольных рифм считается слабостью поэта, говорит о недостатке его изобретательности. Поначалу так думал и Есенин. Но с возрастом осознал, что бедные (глагольные) рифмы сами по себе мало значат. Главное заключается в энергетически-смысловом поле между ними. Если волей и даром поэта оно возникает, глагольная рифма становится рифмой-невидимкой. Этим блестяще пользовался Пушкин. С возрастом пришел к пониманию сего парадокса и Есенин. Это был путь к простоте. Теперь Есенин нет-нет и цитировал Александра Сергеевича:

Вы знаете, что рифмой наглагольной
Гнушаемся мы. Почему? спрошу.
Так писывал Шихматов богомольный;
По большей части так и я пишу.
К чему? скажите; уж и так мы голы.
Отныне в рифму буду брать глаголы.

(«Домик в Коломне»)

«Сильный враг»?

Борис Пастернак писал о Есенине: «Глубоко понимая, что и сам он уходит в прошлое, предчувствуя свой конец, Есенин не принимал поэзию нового времени — поэзию, которая придет на смену его творчеству и будет устремлена в будущее:

По ночам, прижавшись к изголовью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет кровью
На мои поляны и луга.

(«Спит ковыль.
Равнина дорогая...», 1925)

В этом рассуждении Пастернака далеко не все мне кажется точным. То, что Сергей Есенин предчувствовал свой конец, думается, правда. Об этом говорят его последние стихи. И то, которое приводит Пастернак. Что жизнь уходит в прошлое — правда наполовину: «Мы умираем, // Сходим в тишь и грусть, // Но знаю я — // Нас не забудет Русь» *(«Памяти Брюсова»)*. А вот с тем, что Есенин «не принимал поэзию нового времени — поэзию, которая «придет на смену его творчеству и будет устремлена в будущее», хочется не согласиться. Не заявила о себе еще при жизни Есенина поэзия нового времени! Можно ли назвать поэзию Маяковского поэзией будущего? Нет, она закончилась со смертью Маяковского. Ни Кирсанов, ни Асеев, ни позднее Евтушенко не продлили ее. И совершенно не остерегался ее Есенин. Относился как к явлению временному. Можно ли назвать поэзию новой, то есть сделавшей шаг вперед по отношению к Есенину (а иначе какая же она новая?), поэзию Пастернака, Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой и позднейшего поколения? Нет, конечно. Есенин — впереди. И как он должен был принимать новую поэзию, если ее не было? Если она, как, противореча сам себе, пишет Пастернак, еще только «придет на смену его творчеству и будет устремлена в будущее»? Есенин оказался настолько великим, что рядом с ним, как под рязанским раскидистым дубом, если и выросло нечто заметное, то рассматривать это заметное нужно без сравнения с патриархом рода.

Под «сильным врагом» Есенин прежде всего разумел то же, что Пушкин:

...Но около корней их устарелых
(Где некогда все было пусто, голо)
Теперь младая роща разрослась,
Зеленая семья; кусты теснятся
Под сенью их как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, и вкруг него
По-прежнему все пусто.
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст...

(«Вновь я посетил...»)

Только разное настроение, вызванное иными эпохами и судьбами авторов, отличает эти два стихотворения. И здесь и там — «чужая юность», наступающее на пятки «незнакомое» поколение.

Буквально все современники Сергея Есенина, оставившие воспоминания о нем, отмечают его покровительственное внимание к чужим стихам. Был строг, но справедлив. Заучивал, цитировал, радовался вдруг найденным, услышанным у кого-то строкам. Но рядом с собой счастливцев, которых хвалил, не ставил. Читаем у Н. К. Вержбицкого: «Называя себя в стихах «первоклассным поэтом», Есенин отнюдь не возводил себя на пьедестал, а просто, как ему казалось, констатировал никем не оспариваемое обстоятельство. Добавлю к этому, что Есенин очень редко сравнивал себя с кем-нибудь из других современных ему поэтов. А то, что его окружали «середнячки», считал совершенно естественным и неизбежным явлением».

Поэтому когда Анатолий Мариенгоф ухитрился на обложке издаваемой им «Гостиницы» поставить подписи поэтов по алфавиту не фамилий, а имен, и таким образом оттеснить Есенина на задний план, а себя выпятить, Есенин сразу написал заявление об отказе участвовать в журнале.

Когда пишешь о Есенине, невольно увлекаешься. В разговоре о «сильных врагах» упускается школа, наука, пример. Но они существуют. Есенин постоянно совершенствовал свое мастерство. И кладезь его совершенствования — опять же в пристальном внимании к классикам. Кроме Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Кольцова, Некрасова (он даже хотел издавать журнал «Как Некрасов») есть еще один великий — Даль. К нему-то Есенин захаживал чаще, чем к другим. Это вытекало из его убеждения: «В поэзии нужно поступать так же, как поступает наш народ, создавая пословицы и поговорки». Народ — поэт. Он думает образно. Есенин не перестает восхищаться: «Мы все говорим: «след простыл», «глаз не оторвать», «слезу прошибло», «намозолили глаза» и тому подобное. Даже одно такое слово, как «сплетня», — сплошной образ: что-то гнусное, петлястое, лживое, плетущееся на хилых ногах из дома в дом...

А возьмем пословицы и поговорки — ведь это сплошная поэзия!»

Я задаю себе вопрос: кто еще из поэтов начала XX века (может быть, кроме Николая Клюева) с таким желанием, с такой естественностью уходил в народ и черпал в нем буйные силы? Не могу назвать ни одного имени. Были, конечно, были такие, скажем, как Николай Тряпкин. Но нет в них, кроме глубинной русскости, есенинской удали. Также свойственной русскому народу.

Завлит под диваном

Анекдот из серии былей. Идут Есенин и Всеволод Иванов мимо Малого театра, читают афиши. Вдруг им бросается в глаза, что в театре не идет ни одной современной пьесы. Только старые русские и зарубежные драмы. Возмутились. Решили зайти к завлитчастью. Приходят — так и так, почему? Ну, знаете, отвечает завлит, на новое нет спроса. Есенин тут же предлагает игру: разыгрываем подписанные фантики; если кто не прочел хотя бы одну из современных пяти пьес, тот лезет под диван. Вытереть пыль под столь редко протираемым местом выпало завлиту. А я вот думаю, когда я последний раз чем-либо возмутился, отнял у себя 15 минут ради чего-то важного для других? Вспоминается Цветаева: «Первая обязанность стихотворного критика — не писать самому плохих стихов. По крайней мере — не печатать». Хочется чуточку видоизменить эту мысль. Первая обязанность поэта да и критика — гнать от себя равнодушие, вытравливать его, как крысу, повадившуюся в закрома. Не получается — не писать стихов и о стихах.

«Машина образов»

Еще один урок Есенина: пока молод — экспериментируй. Городецкий вспоминает, как однажды застал его на полу, над россыпью мелких записок. На каждом клочке бумаги им и гостями писалось какое-то слово — название предмета, зверя, птицы, существительного, прилагательного... Потом он брал наугад ворох записок, подбрасывал и хватал первые попавшиеся. Иногда при сопоставлении двух или трех клочков, оказавшихся рядом, возникали сногсшибательные образы. Поначалу Есенин верил в возможность такой «машины образов». Смущало, правда, их бездушие, случайность. Зато этим изобретением будущий лирик преодолевал притяжение деревни. Он лечился от пастушества, как лечится кошка только ей известными травами.

До каких пор поэт молод?

Не знаю ни одного поэта, который к тридцати годам не почувствовал бы: надо торопиться. Лирика в этом возрасте выглядит как засидевшийся гость. Пусть и дорогой. Всем помнится: «Лета к суровой прозе клонят». Но Есенин само понятие лирика воспринимал иначе. Для него она не только субъективное личное чувство или настроение. А по жанру не только, скажем, романс, элегия, послание. «Говорят, лирика, нет действия, одни описания... Да знают ли они, дурачье, что «Слово о полку Игореве» — все о природе. Там природа в заговоре с человеком и заменяет ему инстинкт». Вот почему в традиционной лирике Есенину было тесно. Он был согласен с Городецким, что лирика может разрешаться в театр или эпос. Отсюда тяга к большим произведениям: «Страна негодяев», «Пугачев». Определил Есенин и предельный срок для лирического письма. «Обратите внимание (записал Иван Розанов), что ему уже за сорок. Следовательно, поэтический возраст у него прошел. И вот последняя книга его стихов уже говорит об упадке. Вообще лирический поэт не должен жить долго. Или в известном возрасте он должен перестать писать. Исключения, как мой любимый Фет, редки». Но все же бывают. Да еще какие! Сам Сергей Александрович прожил всего 30 лет, а потом, в душе народной, еще 85. И до сих пор молод!

Агагельды АЛЛАНАЗАРОВ: «Пророк появится и среди белорусов»

Осенью 2009 года большая белорусская делегация приехала в Туркменистан на Международную выставку «Золотая книга». Были в этой группе и писатели — директор РИУ «Литература и Искусство» Алесь Карлюкевич, первый заместитель директора РИУ «Литература и Искусство», главный редактор журнала «Нёман» Алесь Бадак, главный редактор журнала «Бярозка» Елена Масло. Среди тех, кто встречал, участвовал в одних с белорусскими литераторами мероприятиях, были поэты Касым Нурбадов, народный поэт Туркменистана Каюм Тангрыкулиев, народный поэт Туркменистана Атамурад Атабаев, другие мастера слова. Особенно запомнился директор Туркменской Национальной книжной палаты Агагельды Алланазаров. Поэт, прозаик, детский писатель. Оказалось, что когда-то в Минске были изданы на белорусском языке два поэтических сборника А. Алланазарова, адресованные детям. Знаком Агагельды и со многими белорусскими литераторами.

— Агагельды, что же такое, по-твоему, литература... Это — описание слабостей, заблуждений и страстей человеческих..? Или же предвосхищение завтрашнего дня и, может быть, тревога за будущее?

— Каждый раз, когда думаю я о литературе, о ее природе, о сущности, вспоминается мне одна известная мудрость и загадка из Библии: «Вначале было слово...» В этом одном слове слишком много мыслей и информации, в нем отражено состояние души наших предков. Найдя «слово», они очень обрадовались и догадались, что нашли что-то бесподобное, что-то очень святое и таинственное, замысловатое, способное открывать действительность в разных проявлениях. И поэтому они радостно сообщали друг другу и миру об этом. Наши предки точно угадали: если держишься за это «слово» — значит, найдешь себя и свое светлое будущее. И точно угадав «слово» от наших отцов, неандертальцы превратились в людей разумных. Они стали самыми умными, самыми могучими в мире. Без «слова», конечно, немыслимо это великое преобразование. «Слово» — это и есть литература.

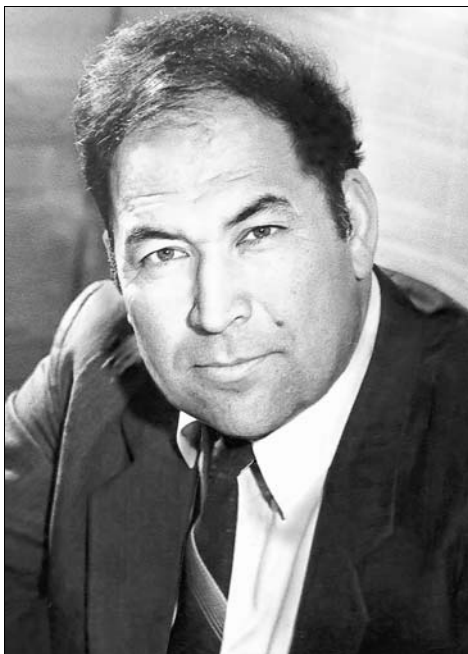
Благодарные потомки человечества в продолжение этой радости до сих пор устраивают во всем мире литературные праздники. Один из таких праздников — и ежегодная международная книжная выставка-ярмарка, которая проходит в Минске в феврале.

Еще я хочу образно сравнить литературу с очагом, над которым люди готовят пищу, греются и получают необходимое тепло для организма.

Литература — еще и те слова-загадки, которые человечество полностью не разгадало до сих пор, бьется, ломает голову над их безграничным смыслом. Но

в одном человечество разобралось: литература — не природоведение, а Ее Величество Литература — это и есть Человековедение.

— Ты знаешь своего читателя? Кто он — совсем молодой человек, готовящийся к жизненным испытаниям? Или зрелый, утомленный жизнью человек, который спешит обратиться к тебе через книгу за крайне важным и необходимым советом?



Агагельды Алланазаров.

— В туркменскую литературу я пришел со стихами, написанными для детей. Но не скажу, что тогда писал я только детские стихи. Писал и прозу, и стихи для взрослых. Писал то, что больше хотелось писать. Моей прозе и другим стихам тогда мало повезло. Но однажды, когда я еще учился в школе, мое стихотворение и рассказ напечатали сразу в одном номере детской газеты «Мыдам тайяр», что в переводе на русский означает «Всегда готов».

В разные годы к моему творчеству со стороны были обращены пристальные взгляды, советы, пожелания. Одним понравились мои детские стихи, а другим — проза. Случалось, возлагали на мое творчество и большие надежды. Известный писатель Курбандурды Курбансахатов хотел, чтобы я писал только стихи для детей. А другой не менее известный писатель Беки Сейтаков, прочитав мою прозу в газете и уточнив, где я работаю, приехал лично познакомиться и выдал мне следующий совет: «Если ты такую прозу пишешь — пиши только прозу, а ведь говорят, что ты еще пишешь и стихи. Не пиши, направь все силы на прозу». Я внимательно слушал уважаемых аксакалов и делал так, как мне хотелось. Потому что сердцу не прикажешь. Этим я хочу сказать, что в какие-то рамки я не вмещаюсь и никогда не вмещался.

Когда пишу для детей, конечно, думаю, о ком пишу, и стараюсь найти подход к своим маленьким друзьям. Стараюсь в мир смотреть их любопытными глазами, переживать об окружающей жизни их мыслями. Дети любят именно такие произведения. У меня есть мечта — всю свою жизнь хочу творить произведения такого масштаба, как «Героглы» — народный эпос. Он доступен и для детей, и для взрослых, все его любят. Когда каждый раз читаешь, то непременно открываешь для себя что-то новое.

Еще я убедился, что не надо заранее искать своего читателя и бросаться из одной крайности в другую. Если получится толковое произведение, оно найдет своего читателя. Не люблю загонять себя в рамки, когда пишу, когда нахожусь среди своих героев. И даже забываю, для кого пишу, вообще забываю обо всем на свете. Только пишу. В разные годы мои книги вышли на двадцати двух языках, более чем пятимиллионным тиражом. Мои читатели — те люди, кому нравятся мои книги и кто интересуется и заботится о литературе. Да, своих читателей я представляю именно такими — любознательными, думающими.

— Сегодня много говорят о том, что пропал интерес к чтению... В пример приводят электронные информационные ресурсы, которые обогнали книгу. Так, может быть, недолгим остался век у печатного слова?

— Да, сегодня говорят, что пропал интерес к литературе. Но вспомните, что и вчера так же говорили. В процентном соотношении с авторами таких выводов я в какой-то мере согласен. Но, поверьте, литература не иссякнет. Человечество в технике, науке открывает новое и новое, много что меняется в жизни, окружающей нас действительности. Умы человечества на коне скачут. А структура, сущность человека не меняется тысячелетиями, тот же человек, те же ноги, та же голова... Сердца, души остаются такими же, как и прежде, беззащитными, тревожными. И конечно же, поведение человека то же, хотя появилось много и суматошного. Такое состояние у человечества и раньше было не раз. Были падения и взлеты, главенствовали равнодушие, человека отличали страх, беззащитность. Если внимательно анализировать историю человечества, падения нравственного характера всегда случались после того, когда человек отдалялся от книги. Когда равнодушие, злость покрывали, как плесень, людские души. Когда отношение к книге менялось в худшую сторону.

Вспомните, когда Чингисхан завоевал Бухару, он приказал сжечь все книги. Предали огню и Коран. Тогда, плача и смотря на этот ужас, один Ахун сказал: «Всех книг все равно не уничтожишь. Вот увидишь, Коран за себя еще постоит».

Прошло время. У русского народа кулак сжался. Вот тогда правнуки Чингисхана — Узбек-хан, Ногай-хан, Тохтамыш и многие другие ханы бежали в Среднюю Азию, на Кавказ и пали перед Кораном на колени. Под его халатом спрятали свои головы.

Каждый раз, когда человечество удаляется от «слова», ему достается такая печальная участь. История повторяется. Место литературы в жизни человечества не займет ничто и никогда. Мир меняется. И каждая система старается создать, особенно на первом этапе, исключительно свою литературу. Этому есть примеры. Советы, взяв в свои руки власть, хотели создать исключительно новую, социалистическую литературу, ликвидируя при этом литературу прежних лет. И на место Пушкина, Толстого, Достоевского, Куприна и других попытались поставить новых, своих, доверенных творцов — Демьяна Бедного, Безыменского, Жарова и тому подобных. Но скоро опомнились, осознали, что без прошлого нет настоящего. Вождь пролетариата В. Ленин тогда писал: «Искусство принадлежит народу!» Политики потом, взяв из его речи именно эти слова, сотворили лозунг. А предложение ведь не кончается, есть продолжение, и должна быть вместо восклицательного знака запятая. Ленин дальше вещает, продолжает свою мысль о культуре. И говорит о том, что не надо опускаться на дно народа, как Д. Бедный и Безыменский, а следует народы поднимать до своего уровня. Разница, согласитесь, существенная. Советская литература нашла свое настоящее лицо и достоинства после изменения отношения к писателям разным, порой и к тем, кто достаточно критически был настроен к Советской власти.

— Туркменская литература прежних десятилетий — это известные и на постсоветском пространстве имена Чары Аширова, Хыдыра Дерьяева, Керима Курбаннепесова, Бердыназара Худайназарова... Кто, какие поэты и прозаики олицетворяют национальную литературу Туркменистана сегодня?

— В туркменской литературе и сегодня немало талантливых людей. Каждое время выдвигает свои таланты. В нашей литературе поэтов всегда было большинство. И сегодня тоже в туркменской литературе большинство составляют поэты. Особенно успешно работают в этом направлении А. Атабаев, Н. Реджепов, Г. Шакулыева, Г. Дашкынов, Б. Ораздурдыева, Б. Одеков, А. Курбаннепесов, О. Аннаев и многие другие.

Последние годы в нашей литературе появился отряд талантливых молодых поэтов, таких, как Шехрибоссан, О. Чарыев, О. Оразтаганова, Г. Сахатдурдыев, Г. Пирджаева и многие другие.

Сегодня приковывают внимание читателей и романы А. Тагана «Чужой», О. Одаева «Алтынджан ханума», А. Алланазарова «Очаг», «Тюлень», Дж. Мулкиева «Сельджуки», рассказы и повести К. Кулыева и другие произведения. И это далеко не полный перечень авторов и произведений, представляющий в наше время литературу Туркменистана.

— У Керима Курбаннепесова есть такие строки:

Такие ж, как у всех людей,
Глаза поэта.
Да, не светлей и не темней
Глаза поэта.

Но в колебаниях теней,
В потоках света
Увидят мир всего верней
Глаза поэта.

Прозорливость художника, его ответственность за точное обозначение тех или иных общественных координат... Осталось ли это актуальным в сегодняшней культурной и общественной жизни?

— Керим ага в жизни был тем поэтом, каким он показал поэта в своей поэзии. Он не только отличался зорким взглядом на жизнь, но своим личным примером доказал право на такой взгляд, на острое сопереживание времени и современнику. Керим ага был очень своеобразным, истинно народным поэтом в нашей литературе. Одновременно являлся главным редактором литературного журнала «Совет эдебияты» («Советская литература») и был активным общественным деятелем, депутатом нескольких созывов Верховного Совета народных депутатов Туркменистана. Был очень чутким, имевшим свой принципиальный взгляд на литературу редактором. Хочу привести пример, связанный с моей судьбой.

В 1974 году я, еще будучи студентом Литературного института им. А. М. Горького в Москве, прислал по почте свою первую повесть «Семь зерен» в журнал «Совет эдебияты». Через три-четыре месяца после того, как я знаю, она попала в руки Керим ага. Получаю от одного сотрудника журнала письмо: «Агагельды салам! Спешу тебя обрадовать, Кериму ага понравилась твоя повесть. Он ее направил без очереди сразу в номер. Это ускорило ее выход. И не забыл напомнить нашему ответственному секретарю А. Союнову, чтобы он, когда разметит гонорар, не забыл два особых обстоятельства о тебе:

первое — сначала вспомни, он студент, ему гроши не мешают;

второе — повесть мне понравилась. Появилась в нашей литературе еще одна талантливо написанная повесть.

А мне велел сообщить и обрадовать тебя, а также попросить прислать твою фотографию и несколько слов о себе, может, дадим в журнале, познакомим читателей с молодым писателем воочию».

В туркменской литературе многие получили благословение от Керим ага, не только я. Таких — десятки поэтов, писателей, это сегодняшнее лицо литературы. Да, все видели, все чувствовали глаза поэта.

Керим ага всегда твердил своим коллегам одну мысль, высказывал ее как необходимое для развития литературы требование: «Не вредите таланту. Талант людям дает Бог. Если вы будете вредить таланту — вы идете против господа Бога!»

Такие поступки, такое чуткое отношение были характерны для Керим ага. Да, он умел видеть Мир, как и говорится в его стихах «Глазами поэта».

— Как бы ты прокомментировал следующие строки великого Руссо? «...Хорошая книга — та, для написания которой автору не хватает всей первой половины его жизни и для исправления — второй?»

— Сначала хочу отметить, что великий мудрец, писатель и педагог Ж. Ж. Руссо очень точно дал определение природе создания книги.

Писать, конечно, нелегко, ты беспокоен, как женщина каждый раз перед родами. Думаешь, мечтаешь о том, чтобы родить здорового, нормального ребенка — свое главное произведение. И потом оказывается, что отношения к своим произведениям у писателя бывают самые разные. Одни произведения напишешь, издашь и довольствуешься, наслаждаешься. А над другими со временем еще хочется поработать, возвратиться к ним еще и еще. Относится это и к моей прозе. Исправляю себя сам и думаю, надеюсь, что улучшаю качество. Среди тех произведений, что переписываю, есть такие, как «Собака, которая летала однажды», «Веселая азбука» и роман «Очаг». При каждом переиздании возвращаюсь к ним, что-то правлю. Верю, что, работая таким способом, внимательно отчеканив каждую фразу, каждое слово, можно создать хорошее произведение. И все равно времени всегда не хватает.

— Агагельды, ты много работал в разных жанрах и для разных читательских аудиторий. Что в твоей сегодняшней писательской жизни осталось главным — литература для детей, проза, поэзия?

— В какой-то мере я уже ответил на этот вопрос, когда рассказывал о многообразии жанров, с которыми дружу с самого начала творческого пути. Но не могу не сказать и того, что я последние годы почти не пишу стихи, а также стихи и прозу для детей. Пишу для детей только тогда, когда очень хочется написать о своем детстве. Когда прорывается... В настоящее время, особенно последние двадцать лет, пишу прозу. В эти годы появились на свет мои романы «Очаг», «Тюлень», «Жаркое лето Хазара» и цикл новелл. А сейчас эти произведения, одно за другим, переводятся на разные языки, готовятся к выходу на сцену. По двум произведениям собираются снимать художественные фильмы. И раньше, в прежние годы по моим повестям сняты два полнометражных художественных фильма: по повести «Семь зерен» — фильм «Прощай, мой парфянин», по повести «Разбитые версты» — фильм «Дестан». И они манят меня своими продолжениями. Требуют возвращения к давно открытым темам.

— В 1980—1990-е гг. в Беларуси вышло два твоих поэтических сборника, адресованных юному читателю. Публиковались твои стихотворения на белорусском языке и в детской периодике. Знаю, что недавно Виктор Гордей перевел на «мову Купалы» твою книжечку «Веселая азбука». Расскажи о своей сопричастности к Беларуси, о том, с кем из белорусских литераторов дружил и дружишь? Кстати, ты помнишь туркменского журналиста и поэта Михася Карпенко, который работал в Ташаузе главным редактором областной газеты? Он ведь тоже из Беларуси... Известен как публицист, исторический писатель и белорус Николай Калинкович, много написавший о Туркменистане и туркменах, несколько лет жизни отдавший твоей родине...

— Начну издалека. С моим народом у братской Беларуси дружеские, вернее, братские отношения в основном начали складываться в прошлом веке, в годы Советского Союза. Мы тогда жили в одной семье. Считали Белоруссию и Туркменистан своими — своими братьями, ездили друг к другу, помогали друг другу, служили, жили друг у друга.

Особенно это братское отношение закрепилось в годы Великой Отечественной войны. Не только Россия была в эти годы в огне и беде, и на белорусскую, украинскую земли, Северный Кавказ, Прибалтику пришли немецкие оккупанты. Сразу стало понятно, что враг очень сильный и хорошо вооруженный, жестокий. Если не соберутся все братья на врага, одержать победу невозможно. Тогда Родина-Мать и позвала всех сыновей, все национальности огромной страны на помощь.

В те годы более трехсот тысяч солдат и офицеров — туркменов дрались с фашистами вместе с русскими и белорусами, представителями других народов. Недавно изданная у нас книга «Память» подтверждает, что многие из туркменских ребят пали на поле боя. Немало из них погибло за освобождение Беларуси, а именно — Могилева, Мозыря, Лоева, Калинковичей, Минска и других мест. Среди освобожденных городов Беларуси — и Минск. Именно за его освобождение получили самую высокую награду наши земляки — Герои Советского Союза Ораз Аннаев, Клычнияз Азалов. Сегодня одна из улиц столицы Республики Беларусь носит имя Ораза Аннаева. И после освобождения Беларуси от фашистов Туркмения помогала белорусам восстанавливать свою жизнь заново, всеми возможными и невозможными силами делала это наша республика, делал это наш туркменский народ. Мы делились последним куском хлеба. Вот в моих руках книга «Туркменистан в период Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.)», изданная в 1962 году по архивным материалам. Здесь можно прочитать и такие материалы: «Постановление бюро ЦК(Б)Т об отправке эшелона с подарками для трудящихся г. Минска» за № 318 от 5 сентября 1944 года. Вот что в этом документе было записано:

«1. Разрешить ЦК ЛКСМТ организовать и отправить эшелон с подарками для трудящихся г. Минска, Белоруссия.

2. День отправки эшелона утвердить 15 сентября 1944 г.

3. Для сопровождения эшелона с подарками утвердить делегацию. Руководство — зав. отделом крестьянской молодежи ЦК ЛКСМТ тов. Мухатова.

4. Поручить Совнаркому ТССР выделить ЦК ЛКСМТ для подарков за наличный расчет:

а) товары ширпотреба 50 000 руб.;

б) оконного стекла 1 вагон;

в) дыни «гуляби» 1 вагон;

г) зерна 12 200 кг;

д) скот 1755 голов;

е) рыбы 4500 кг.

5. Обязать Ашхабадскую железную дорогу предоставить 15 вагонов порожняка и 1 классный вагон для отправки и сопровождения подарков к месту назначения г. Минск, Белорусская ССР».

Этот документ подтверждает, что в те годы такие эшелоны были отправлены из Туркмении не только в Минск. Но и другие города и села тоже получили для восстановления немало помощи в эти годы.

Наши народы еще тогда, в войну и в первые послевоенные годы, убедились, что иметь настоящего друга всегда приятно. Эта дружеская тропа не заросла травой и сегодня. В наше время лидеры наших государств Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов и Александр Григорьевич Лукашенко не раз встречались в Минске и в Ашгабате. Были подписаны важные

документы для сотрудничества двух государств. Сегодня в Туркменистане на полях работают белорусские тракторы. Туркменистан их каждый год закупает в большом количестве.

Туркменистанцев очень радует, что наши дети тысячами учатся в белорусских вузах. Их учат высококвалифицированные преподаватели, и верю, что видные белорусские ученые желают моему народу добра и процветания. Так понимают туркмены это доброе дело, связанное с образованием, просвещением нашей молодежи.

Каждый раз, когда речь идет о белорусско-туркменских отношениях, мне вспоминается один рассказ, который услышал однажды от участника войны и писателя Ашир Назарова.

— В моей библиотеке и сегодня хранятся книги Ашира Назарова, который участвовал в освобождении от фашистов нашей Витебщины.

— Так вот, когда скончался первый Герой Советского Союза среди солдат — старшина Курбан Дурды (что Курбан Дурды — первый Герой Советского Союза среди солдат и сержантов, мы узнали из газеты «Труд» за 1966 г. Газета, отвечая на вопрос своего читателя, назвала имя Курбан Дурды. Об этом сообщил нам Герой Советского Союза, историк Пена Реджепов), на его похороны приехал из Беларуси один офицер, бывший солдат героического взвода.

Курбан Дурды со своим взводом отстоял занятую высоту в первые дни войны. Враг напирал очень сильно. Фашисты неоднократно атаковали эту высоту. Все бойцы взвода дрались как львы. Но силы были неравные. Дошли даже до рукопашного боя. Контуженный Курбан Дурды, когда опомнился, увидел перед собой немца, стал искать вокруг себя оружие, наконец нашел что-то. Он сбил этим немца, а потом и другого. Потом выяснилось, что это было не оружие, а оторванная рука одного солдата. Оказалось, что издалека наблюдал эту драматическую сцену тогда еще генерал Р. Малиновский и восхищался Курбан Дурды и его ребятами. Командира взвода и многих других солдат представили к награде.

Так вот, этот офицер, приехавший из Беларуси, и был одним из солдат взвода Курбан Дурды, только он один из всех остался в живых. После войны они нашли друг друга, наладили отношения.

После похорон легендарного героя Курбан Дурды, его солдату захотелось вспомнить товарища по-солдатски, по-фронтовому... Сын героя и организовал солдатские поминки с участием белорусского гостя. Герои Советского Союза, П. Реджепов, И. Богданов...

— Кстати, о Богданове написал повесть «Возвращение рассветной рани» наш белорус Николай Калинкович...

— Я знаю об этом. Но пока расскажу о встрече... Были еще кавалеры ордена Славы трех степеней А. Аллабердиев, М. Дурдыев, генерал Б. Атаев, полковники А. Назаров, А. Розыев и еще несколько фронтовиков вспомнили своего товарища, земляка, сказали добрые слова о герое. И порадовались, что память о фронтовых днях, месяцах, годах настолько жива, что сплачивает и через расстояния...

Первый раз я обратил внимание на слово «Беларусь», когда был школьником. К нам в село часто приходил и плотничал один русский человек. Все к нему обращались — Василь ага. Особенно он дружил с моим двоюродным дядей, участником войны, Овездуром. И мы слышали когда он звал своего друга: «Эй, белорус, хватит работать, приходи, давай чаю попьем, работа не волк, в лес не убежит».

Я потом уже узнал, что наш Василь ага — белорус. Он служил на границе, а потом женился и остался в Туркменистане навсегда.

Мои годы военной службы прошли в соседней с Беларусью республике — Литве. Служил в десантных войсках. С нами служило немало ребят из Беларуси. Я особенно сдружился с тремя ребятами — Луговкиным, Богдановичем, Бочковым. Через десятки лет они стали героями моих повестей «Семь зерен», «Не забудь о дяде», и потом — героями фильма «Прощай, мой парфянин».

В 1970 году, зимой, когда проходили учения «Двина», основные события разворачивались в Прибалтийском военном округе. Но некоторые моменты были связаны и с Беларусью. Тогда мне удалось увидеть Беларусь с высоты птичьего полета. Ваш край меня поразил своей красотой и своими красками, ярким многоцветьем... Хотя и зимой это знакомство у меня состоялось. Снега были похожи на огромный парашют, накрывший землю, а города — на парашютистов, только что спустившихся с небес. Этот красивый и необычный вид Беларуси навсегда остался в моей памяти. Помню, проходили мимо белорусской деревни во время марш-броска, общались с людьми. Почувствовали, что белорусский народ любит и уважает солдат. А мы, десантники, на снегу укладывали парашюты и опять улетали.

А потом я открывал Беларусь через знакомство с вашей литературой, через общение с белорусскими писателями. В 1980—1990-е работал в издательстве «Туркменистан», тогда у нас выходили книги белорусских писателей — роман П. Бровки «Когда сливаются реки», поэтический сборник М. Танка «Книга стихов», романы И. Шамякина «Сердце на ладони», И. Чигринова «Плач перепелки», «Оправдание крови», повести В. Быкова «Обелиск», «Сотников», В. Адамчика «Дикий голубь», рассказы некоторых писателей...

А классики, такие как Я. Колас, Я. Купала, были и раньше переведены на туркменский язык.

— Агагельды, и в Туркмении тоже жили и работали писатели из Беларуси...

— Сначала я познакомился с Николаем Калинковичем. Потом мы с ним подружились, часто виделись друг с другом. Общались, обсуждали свои произведения, советовались друг с другом. Какие дружеские отношения были между нами — об этом я написал в большой статье «Перекличка». С моим вторым белорусским другом — Алесем Карлюкевичем я познакомился в редакции журнала «Ашхабад». Про Николая я поначалу не знал, что он белорус. А вот в Карлюкевиче признал сразу белоруса. Еще и потому, что он часто выступал со своими статьями, связанными именно с Беларусью, рассказывал в нашей печати о белорусской литературе. С этим худощавым, с добрыми глазами, военным человеком и писателем я тогда близко и познакомился. Он обратил внимание читателей и на мое творчество, когда писал в журнал «Совет эдебияты», опубликовал большую статью «О современной военной прозе». В своей статье Алесь писал о моей повести «Семь зерен». А в газете «Ташаузская правда» напечатал статью «Открытия Агагельды Алланазарова» — уже о моих стихотворениях, адресованных детям. В 1980-е — в начале 1990-х часто можно было встретить фамилию А. Карлюкевича на страницах туркменских газет и журналов. Он рассказывал о дружбе двух народов, славил дружеские отношения между нашими республиками и был своеобразным полномочным представителем Беларуси в Туркменистане. Когда он приехал к нам, был незнакомым офицером, военным журналистом, которого никто не знал в Ашхабаде, а уехал, и мы почувствовали, что нас покидает родной человек, большой друг туркменской литературы и туркменских писателей.

— Агагельды, а вот Михаил Карпенко, который несколько лет назад умер в Минске. Знаю, что ему было присвоено звание заслуженного деятеля культуры Туркменской ССР...

— В давние 1980-е годы, когда я работал в издательстве «Туркменистан» главным редактором, ко мне однажды зашел мой друг Николай Золотарев вместе с одним седовласым, видным человеком. Еще не познакомив нас, сразу, в шуточном тоне, обратился ко мне: «Товарищ главный, вы белорусов тоже издаете?» — «Смотря с кем он заходит...»

И я тоже постарался ответить в его тоне. Николай принялся нас знакомить. Гость, как выяснилось, — редактор областной газеты «Ташаузская правда» Михаил Карпенко, поэт. Издательство «Туркменистан» в разные годы издало несколько его поэтических сборников. Этот добрый человек долгие годы работал у нас и внес свою лепту в туркменскую литературу.

В 1990 году, в составе делегации пишущих для детей писателей, мы были в рамках Недели детской и юношеской книги в «Артеке». Мы почти неделю общались с детьми, много выступали. Мне, бывшему «артековцу», было приятно через много лет опять оказаться в легендарном пионерском лагере. Тогда газета «Артек» писала про меня: «Агагельды вернулся». Гости, писатели были из разных республик. Из Беларуси приехал известный поэт В. Лукша. Вот тогда-то я и сделал ему сюрприз. Мы тогда вместе выступали в пионерлагере «Морской» — он был частью «Артека». Там было очень много ребят из Туркмении. Они нас приняли с восхищением. Я читал стихи на туркменском языке, ребята громко аплодировали. В один из моментов встречи я обратился к детям, землякам своим: «Дорогие дети, я вам читал не только свои стихи, но и стихи белорусского поэта Валентина Лукши в переводе на туркменский язык. — И показал детям эту недавно вышедшую книгу на туркменском языке. — Половина аплодисментов принадлежит ему». Эта весть еще больше обрадовала детей...

В те советские годы, когда я ездил в такие поездки, обязательно брал с собой книги писателей разных национальностей, недавно выпущенные нашим издательством. Вот так мы познакомились с этим прекрасным белорусским поэтом. Тогда мне Валентин Лукша и сказал: «С твоими стихами надо познакомить и белорусских детей тоже. Надеюсь, они так же хорошо встретят тебя, как и туркменская детвора...»

И через некоторое время мои стихи появились на белорусском языке. Сначала в альманахе «Ветразь». Затем вышла книга «Добрые слова», и половину всех стихов, вошедших в книгу, перевел он, Валентин Лукша. Так добрый человек и замечательный поэт породнил меня с прекрасной белорусской землей дважды.

В 1990-е годы издательство «Магарыф» подготовило однотомник белорусских поэтов и писателей, пишущих для детей. Стихи двух белорусских авторов Павла Мартиновича и Леонида Ширина вошли в эту книгу в моих переводах.

Белорусы, которые встречались на моем жизненном пути, оставили в моей памяти самые добрые воспоминания. С ними общаться мне было всегда приятно.

Хочу привести слова моего брата, Бабагельды, побывавшего лет десять-пятнадцать тому назад в Беларуси: «Ага, ты не поверишь, там живут добрые, красивые, простые и открытые душой люди, как наш дядя Вася-белорус. Они живут естественной жизнью, наверное, их женщины, даже если не пользуются косметикой, — все равно красавицы».

...Есть поверье у многих народов о том, что должен появиться скоро еще один пророк. Наверное, он появится и среди белорусов. Для этого у вас есть все предпосылки.

— Сегодня часто говорят о том, что многие художественные традиции устарели. Мол, без художественного, эстетического новаторства никак не обойтись. Мне в этой связи на память приходят слова Расула Гамзатова: «...Если писателя уподобить доктору, то он должен уметь пользоваться и вековыми народными средствами, и самыми последними мировыми достижениями». А ты что думаешь по поводу традиций и новаторства в литературе?

— Да, художественные традиции устаревают, уходят со сцены, и на их место приходит много новых произведений. Это и есть закон природы. Человеческий взгляд меняется, правда, не всегда к лучшему. А основа всех основ — человек, он-то остается, а с ним сохраняется и литература.

Литература, я убежден, — это Человековедение. Какая разница, кто приходит в этот храм, какими дорогами. Расул Гамзатов очень прав: когда творишь, надо использовать и все новые, и старые традиции для совершенствования произведений. Это же ведь обязательное требование времени.

Когда работаешь, творишь, пишешь, то должен быть целостным, неразрушимым художественным объектом человек, нельзя подвергать деформации общепринятые человеческие ценности, даже если перед тобой какая-то удачная художественная форма, даже если кто-то подсказывает, что разрушение привнесет новые, свежие художественные краски. Не верьте! Не делайте миражи основой самообмана. Изменение литературной формы, состояние пишущего человека — это должно быть прочувствовано, должно быть соизмерено с памятью о предыдущих поколениях и традициях. У каждого серьезного писателя есть поставленная Всевышним задача. Есть книга, которую должен написать только ты и никто другой. Надо делать то, что ты должен делать, от души. Отнести сделанное к жанру, традиции, оценить по большому счету — это уже дело времени.

Пусть меняются традиции и времена, настоящая литература всегда найдет те дороги, которые ведут к читателю.

— Спасибо, Агагельды, за твердость твоих художественных воззрений и за такую большую любовь к Беларуси!

Беседовал Сергей ШИЧКО.
Ашгабад — Минск



АЛЕКСАНДР КАРСКИЙ

Академик Карский*

Страницы книги

Нежинский Историко-Филологический Институт

Знаменитый институт

Нежин — небольшой, утопающий в садах, уездный город Черниговской губернии, раскинувшийся по берегам узкой извилистой речки Остер. В украинском Полесье известен он был с давних пор, в летописях впервые, под именем Уненеж, упоминается с 1147 года. В старину это был оживленный, хорошо укрепленный казачий полковой город, «местце оборонное», где сходились многие торговые пути. Греки, получившие некоторые льготы, охотно привозили сюда разные «турские» товары — шелка́, бакалею. Нежин не раз был свидетелем шумных казачьих съездов с выборами гетмана, здесь, как известно, проходила в 1663 году и «Черная рада», закончившаяся разгромом старшинских и купеческих дворов. Город неоднократно выдерживал длительные осады, разорялся и разрушался — и вновь восстанавливался… С петровских времен в его крепости находился постоянный гарнизон, Нежинский драгунский полк участвовал в крупнейших сражениях русской армии.

В этом провинциальном маленьком городке, населенном торговцами, ремесленниками и военными, существовало, как ни странно, высшее учебное заведение — Историко-Филологический Институт князя Безбородко. Согласно Высочайше утвержденному 21 апреля 1875 года Уставу этот институт должен был «приготовлять учителей древних языков, Русского языка и словесности и истории для средних учебных заведений ведомства Министерства Народного Просвещения». Правда, в 1881 году отдельного исторического отделения еще не существовало. Институт открылся 14 сентября 1875 года в здании, где прежде располагался Юридический лицей (1840—1875), а до него — Физико-математический лицей (1832—1840). Первоначально же здание это предназначено было для Гимназии Высших Наук Князя Безбородко, учрежденной в городе Нежине Высочайшим рескриптом Императора Александра I от 19 апреля 1820 года. Эта гимназия прославилась главным образом тем, что в ней с 1 мая 1821 г. по 27 июня 1828 г. учился юный Николай Гоголь-Яновский.

«Весьма значительное пожертвование (70 000 рублей), давшее начало существованию в Нежине этого «высшего училища», принадлежит знаменитому вельможе Екатерининской эпохи, государственному канцлеру, светлейшему князю Александру Андреевичу Безбородко (┼ 1799). Сумму, пожертвованную светлейшим князем, удесятерил родной брат его, унаследовавший все имущество бездетного князя, граф Илья Андреевич Безбородко (┼ 1815). Он и приступил к постройке для «Гимназии» здания, стоимость которого, при заготовленном ранее материале, крепостном труде и других видах содействия с стороны Главного Управления имениями графа Безбородко «натурою», достигла весьма солидной цифры: 605 034 руб. Здание находится в предместье Нежина, в имении

*Продолжение. Начало в № 9, 10, 2010 г. Публикуется в авторской редакции.



Здание Нежинского историко-филологического института князя Безбородко.
Фотография XIX века.

графа Безбородко и его наследников, в громадной усадьбе, отведенной графом училищу. Само училище открыто было при графе Александ-ре Григорьевиче Кушелеве-Безбородко († 1855), внуке — по матери — графа Ильи Андреевича…».

Здание института для небольшого уездного городка выглядело гигантским: на высоком цоколе двенадцать белоснежных колонн поддерживают длинный балкон, по бокам, симметрично, два трехэтажных крыла с классическими портиками. Всё основательно, солидно. Над входом бросался в глаза девиз: **LABORE ET ZELO** (Трудом и упорством). Чтобы попасть внутрь, нужно было подняться по широченной лестнице — легко представить, как у приехавших поступать тут захватывало дух от одной только мысли, что по этим самым ступеням некогда взбегал и юный Николай Гоголь.

Прошение

В Нежинском городском архиве было обнаружено прошение, которое, как и полагалось, подал Евфимий Новицкий на имя директора института.

Его Превосходительству
Господину Директору Нежинского
Историко-филологического Института
Окончившего общеобразо-
вательный (4 класса) курс
в Минской Духовной
Семинарии Евфимия Но-
вицкого
прошение.
Желая поступить для продолжения обра-
зования во вверенный Вашему Превосхо-
дительству Институт, покорно про-
шу сделать распоряжение о допущении
меня к приемному испытанию.
При сем прилагаю Свидетельство об
окончании курса в Семинарии, в котором
находятся сведения и об рождении и происхож-
дении. Остальные документы представлю не
позже 18 Августа сего года.
1881 года Проситель Евфимий Новицкий.
13 Августа.

Из приведенного текста видно, как взволнован был проситель: все написано грамотно, аккуратно и четко, но со словами удавалось совладать не всегда, они то и дело не помещались в строке — и даже фамилию пришлось перенести самым неожиданным образом.

Какие еще выводы можно сделать? Прежде всего привлекает внимание то, что Евфимий Новицкий представил не все требуемые документы. В чем же дело? Очевидно, часть документов осталась в Семинарии, следовательно, порывать с ней окончательно, памятуя о грозном Указе Святейшего Синода, Евфимий пока не торопился. Был, значит, у него запасной вариант: в случае неудачи, провала на вступительных экзаменах — вернуться в Минск и продолжить учебу в V классе. Надо заметить, что основания для опасений были: считалось, что в семинариях подготовка по древним языкам слабее, чем в классических гимназиях, а экзаменовали при приеме, разумеется, без каких-либо скидок. Хотя документы принимались только у семинаристов-отличников, окончивших по I разряду, все равно многие отсеивались. И тем не менее «в первые годы существования института число бывших семинаристов превышало число лиц, окончивших курс гимназии». Именно такая ситуация была и в год поступления Евфимия Новицкого, то есть его окружали сверстники с похожими судьбами, примерно одинакового уровня подготовки. Это уже потом положение кардинально изменилось, так что в брошюре, выпущенной к 25-летнему юбилею учебного заведения, сказано: «…воспитанники духовных семинарий в институтском контингенте учащихся составляют меньшинство, и, средним числом, на 18 гимназистов приходится 3 семинариста».

Видимо, недодача документов от семинаристов при поступлении в то время не была чем-то необычным. Все понимали, что способным молодым людям незачем ломать судьбу из-за одной неудачной попытки перейти на гражданское поприще. Поэтому Евфимия Новицкого допустили к приемным испытаниям. Однако еще необходимо было пройти медицинский контроль. В Нежинском городском архиве сохранилась ведомость, составленная 18 августа 1881 года врачом Ив. Самойловичем. В ней имеется запись: «…25. Новицкий Евфимий …здоров».

Директором Нежинского Историко-Филологического Института в ту пору был замечательный энтузиаст, серьезный ученый, профессор Николай Алексеевич Лавровский. Он многое сделал для того, чтобы усилить состав преподавателей и учащихся именно в отделении русской словесности. И как раз туда, надо полагать, и стремился Евфимий Новицкий, хотя об этом ничего не сказано в прошении. Вообще окончательное распределение студентов по имевшимся тогда двум отделениям, классическому и славяно-русскому, происходило после II курса. Однако сама атмосфера повышенного интереса к славянской филологии и высокий уровень ее преподавания, несомненно, захватывали первокурсников с самых первых лекций. Можно сказать, Евфимию очень повезло, что он застал Нежинский институт еще в тот период, когда директором был Лавровский.

Вступительные экзамены

Сохранился «Список молодым людям, подвергавшимся письменному и устному испытаниям при поступлении в Институт князя Безбородко». Вот фрагмент из него:

В каком заведении воспитывался		по рус. языку		лат.		греч.		с счит. баллов	средний	определение конференции
		Письму	устно	письму	устно	письму	устно			
18. Новицкий Евфимий	В Минской семинарии	4 ½	5	3	3	3	3	21½	3$\frac{7}{12}$	принять

Как видим, отличник Минской семинарии, действительно, испытал некоторые трудности при сдаче двух древних языков: на всех экзаменах — и письменных, и устных — он получил оценку 3 (в то время это соответствовало «хорошо»).

Зато по русскому языку — итоги отрадные! Устный экзамен сдан блестяще; в письменной работе, видимо, была допущена незначительная ошибка, поэтому оценили ее между «отлично» и «очень хорошо» — в 4½ балла. Суммарных 21 ½ баллов вполне хватило, чтобы оказаться зачисленным в Институт.

Вероятно, приемные экзамены начались в воскресенье, 16 августа — сразу после окончания Успенского поста (последнее прошение о приеме помечено 15 августа). И начались они переводами с латыни и греческого — именно они были камнем преткновения для многих абитуриентов. Евфимий Новицкий, видимо, также более всего опасался письменных испытаний. В случае же, если переводы удастся выполнить успешно, он, очевидно, рассчитывал обернуться — в Минск и обратно — как раз к 18 августа, к приезду директора и к началу устных экзаменов. Однако жесткий график приемных экзаменов, а возможно, и необходимость пройти медицинский осмотр, спутали эти планы. Поэтому за недостающими документами Евфимий Новицкий отправился позже, скорей всего, он выехал в ночь на 21 августа. Расчеты показывают, что добраться до Минска, с одной пересадкой в Бахмаче, тогда можно было часов за 12—14.

В субботу, 22 августа, он уже вернулся в Нежин, пришел в институтскую канцелярию и тут же подал новое прошение:

Его Превосходительству
Господину Директору Историко-
Филологического Института Князя
Безбородко в Нежине

Вновь поступившего
Евфимия Новицкого
прошение.

Прилагая при сем не доставленные мною документы: метрическое свидетельство и свидетельство о приписке к призывному участку, покорнейше прошу Ваше Превосходительство принять оные документы. При сем осмелюсь заявить, что в метрическом, а равно и в призывном свидетельствах я записан под фамилией «Карский» — фамилией моей матери, так как я родился до брака моего отца с моей матерью. А что действительно моя мать вышла замуж за моего отца Феодора Новицкого, в уверение сего прилагаю брачное свидетельство.

Проситель Евфимий Новицкий.

1881 года
22 Августа.

В обращении написано «…вновь поступившего…». Следовательно, к этому времени сданы были уже все экзамены и стало ясно, что среднего балла вполне достаточно, чтобы быть принятым.

В «Известиях Историко-Филологического Института Князя Безбородко в Нежине» (т. VII) полностью приведен протокол заседания Конференции института 31 августа 1881 года. Приведу фрагмент из него:

«…Ст. 14. Доложена экзаменационная ведомость о лицах, подвергавшихся приемным испытаниям для поступления в I курс Института, с означением определений о каждом из них испытательной комиссии. По рассмотрении означенной ведомости определено: утвердить постановление испытательной комиссии…

ходатайствовать перед г. Попечителем Учебного Округа об утверждении постановления Конференции о зачислении в студенты I курса Института следующих лиц: 1) стипендиатов Нежинской гимназии… 2) не державших испытания воспитанников гимназии… 3) подвергавшихся испытаниям и удовлетворительно выдержавших таковые: …Новицкого Евфимия…».

А в черновике письма к Попечителю Киевского Учебного Округа (№ 212 от 5 сентября 1881 г.), содержащем просьбу утвердить постановление Конференции Института о зачислении в студенты I курса, в перечне фамилий вычеркнуто *Новицкого*, а слева на полях приписано уже как в метрическом свидетельстве — *Карского Евфимия*.

Присланный список за Попечителя утвердил его помощник, о чем и сообщил 12 сентября (исходящий № 10099). И вот, наконец, извлечение из протокола заседания Конференции 15 сентября 1881 года:

«Ст. 5. Предложение г. Попечителя Киевского Учебного Округа, в котором уведомляется об утверждении постановления Конференции о зачислении вновь поступивших лиц в число студентов института, а именно: …Карского Евфимия…».

Прощай, семинарист Новицкий! Начиналась новая жизнь студента Евфимия Карского!

Открытие памятника Н. В. Гоголю

В конце лета 1881 года Империя еще была погружена в глубокий траур, а в Нежине готовились к открытию памятника Н. В. Гоголю. Для небольшого уездного городка это было действительно крупное событие. Да, можно сказать, по всей России интеллигенция проявляла интерес к чествованию великого писателя. Еще были живы люди, лично знавшие Гоголя: так, в комитет по сооружению памятника входил Иван Григорьевич Кулжинский, некогда преподававший в Гимназии Высших Наук латынь. Это над его стихотворной идиллией «Малороссийская деревня» потешались в свое время гимназисты. Он проживал в Нежине, писал воспоминания, в которых сокрушался по поводу нерадивости своего бывшего ученика: «Во время лекции Гоголь всегда бывало под скамьею держит какую-нибудь книгу и читает… Надобно признаться, что не только у меня, но и у других товарищей моих он, право, ничему не научился…».

Активное участие в деятельности комитета принимали местные судейские чиновники и некоторые представители власти, а от Историко-Филологического Института — директор Н. А. Лавровский, профессора А. С. Будилович, Н. Я. Грот, Н. Я. Аристов, законоучитель О. Ф. Хойнацкий. Знаменитые писатели, живые классики, И. С. Тургенев и Д. В. Григорович, а также выпускник Юридического лицея, известный поэт и переводчик Н. В. Гербель прислали свои соображения относительно надписей на постаменте.

В день окончания полугодового траура в столичной газете «Новое Время» появилось приметное сообщение:

«Торжество открытия в Нежине бюста Н. В. Гоголю, назначенное, как известно, на 4-е сентября, будет заключаться… в следующем: После обедни в церкви института князя Безбородко будет отслужена панихида по усопшем, после чего из церкви процессия представителей комитета, города, учебных заведений, вместе с приезжими гостями направится в сквер… председатель комитета вручит представителям города акт о передаче бюста в собственность и в ведение городского управления, вслед за тем, по данному председателем знаку, сдернется покрывало, закрывающее бюст от глаз публики, затем процессия, с комитетом во главе, направится в институт на торжественный акт… После акта, по подписке, будет обед, к которому приезжие в город почетные лица будут приглашены в качестве гостей».

Газета напомнила о предстоящем событии и на следующий день. А вот о чем она сообщила в воскресном выпуске:

«По случаю открытия памятника Гоголю в Нежине местная дума… постановила издать в нескольких тысячах экземпляров «Размышления о божественной литургии» Гоголя для раздачи простому грамотному народу… Независимо от этого комитет по сооружению памятника Гоголю в Нежине решил издать все сочинения нашего великого писателя, за исключением переписки с друзьями. При этом предполагается для учебных заведений за все сочинения Гоголя назначить цену в один только рубль».

Не вызывает никакого сомнения, что на этом торжестве, в гуще разноликого народа, был и только что принятый в институт Евфимий Карский: разумеется, он участвовал в шествии, жадно внимал речам, аплодировал. После однообразия семинарских будней — вдруг яркий праздник, получивший огромный общественный резонанс, выступления незаурядных, талантливых людей, увлеченные разговоры о литературе, о сочном гоголевском языке. Что может быть лучше для молодого любителя русской словесности?

Впечатления от того дня, несомненно, врезались в память на всю жизнь. И в дальнейшем Евфимий Феодорович неоднократно обращался к творчеству гениального писателя — и в известной работе «Значение Н. В. Гоголя в истории русского литературного языка», и в своих речах во 2-й Виленской гимназии и в Варшавском университете. Любовь к Гоголю он передал и своей семье, и я прекрасно помню, как в 1970-х годах его дочь, Наталья Евфимовна, и зять, Виктор Иванович Борковский, во время непринужденной застольной беседы с удовольствием вспоминали и даже воспроизводили в лицах некоторые эпизоды из «Ночи перед Рождеством» и «Мертвых душ». Говорили они, что и Евфимий Феодорович, когда хотел привести пример литературного мастерства, поэтически глубокого и точного употребления слова, всегда обращался к наследию Гоголя.

Устав и Правила

Согласно статье 14 протокола заседания Конференции от 31 августа 1881 года (фрагмент из которой уже приводился выше) в институт по результатам экзаменов были приняты 23 юноши (один с оговоркой), а из различных гимназий, без экзаменов, зачислены еще 11 (в том числе 7 — из Нежинской гимназии, состоящей при институте). Таким образом, на I курсе, с учетом оставленных по болезни с прошлого года, на 1 сентября оказалось 37 студентов, при том, что общее количество учащихся составило 92 человека. По Уставу штатное число воспитанников, находящихся на полном казенном обеспечении и обязанных проживать в здании Института, изначально определялось в 100 человек. Получается, что в целом по институту был некомплект, а на I курс молодых людей набрано, напротив, с избытком. Делалось это сознательно: требования к будущим педагогам были крайне высоки, в процессе учебы неуспевающие студенты безжалостно отсеивалась, и, например, в том же 1881 году аттестаты получили только 14 выпускников: 7 классиков и 7 славистов. А в начавшемся новом учебном году четверокурсников было и того меньше — 12, а после того, как один умер от чахотки, осталось всего 11 человек.

Впрочем, с определением на места даже такого незначительного количества выпускников неизменно возникали трудности — заявок поступало очень мало, и директору института приходилось регулярно теребить своего брата, Петра Алексеевича Лавровского, попечителя Одесского учебного округа: *«Я крайне удивлен присланным вчера министерским списком вакантных мест. Представь себе, что из нашего несчастного числа оканчивающих теперь курс студентов (14, 7 классиков и 7 слов.) останутся совсем без мест трое!!... Нет ли у тебя хорошего места в губернском городе?»* (из письма от 30 мая 1881 г.). *«А теперь решаюсь*

сделать тебе обычный в это время запрос: нет ли у тебя в округе двух-трех вакансий учительских, преимущественно по русскому языку и словесности?.. Что я буду делать с безместными? Отвратительное положение: бьешься с ними 4 года, а к выпуску не знаешь, куда девать, причем, ребята стонут. И народ хороший, какого не получишь из университета. Если нет мест для словесников, то сделали бы распоряжение о закрытии славяно-русского отделения и готовили бы одних классиков…» (из письма от 5 июня 1882 г.). Как становится ясно, директор не только проявлял высокую требовательность к своим студентам, но и заботился об их будущем, помогал в устройстве. На этом и основывался его высокий авторитет. Вообще Н. А. Лавровский был известным энтузиастом подготовки педагогических кадров, особенно словесников. Благодаря его стараниям и поддерживалось высокое реноме Нежинского института.

Первокурсник Евфимий Карский, конечно, поначалу и не подозревал, что у выпускников этого института, особенно славяно-русского отделения, возникают трудности при трудоустройстве. Скорей всего, он был просто счастлив, что смог поступить, что, находясь на полном казенном обеспечении, будет избавлен от материальных проблем и бытовых хлопот, что отныне можно с головой уйти в учебу. Получить высшее образование — прекрасная мечта, которая начала сбываться! И он верил в свою звезду, с оптимизмом смотрел в будущее. В § 42 Устава сказано было определенно: «Студентам, окончившим курс с успехом, предоставляется звание учителя Гимназии, дающее все права кандидатов Университетов». Был, правда, один нюанс: «Каждый поступающий в Институт в число штатных воспитанников обязывается подпискою прослужить, по окончании курса, не менее шести лет в ведомстве Министерства Народного Просвещения, по назначению Министра». Таким образом, для Евфимия Карского, давшего подписку, будущее было определено на ближайшие десять лет. В те годы для него стать преподавателем гимназии — несомненно, означало приобрести высокий социальный статус. И он готов был погрузиться в учебу.

Важный параграф Устава: «Студенты Института обязаны повиноваться начальству Института и соблюдать как в Институте, так и вне оного, порядок, установленный особыми для учащихся правилами, составленными Конференциею и утвержденными Министром Народного Просвещения. При вступлении в Институт каждый студент обязывается подпискою в соблюдении означенных правил».

«Правила» эти были утверждены еще 10 апреля 1876 года. В них было расписано все до мелочей. Приведу некоторые параграфы:

«§ 7… в 7 часов утра студенты встают; в 7½ — утренняя молитва и чай; от 8½ — 2 часов лекции, в 2 часа обед; от 4 ч. дополнительные лекции, в 6 ч. — чай, в 9½ ч. — ужин, вечерняя молитва; в 10 ч. открываются спальни; в 11 ч. все студенты ложатся спать.

§ 16… в учебные дни студенты могут отлучаться из института только в свободное от занятий время с 2 до 6 часов пополудни, в праздничные и воскресные дни, после Божественной Литургии, до 11 часов вечера».

Таким образом, Институт представлял из себя фактически высшую специальную закрытую школу. Студенты-интерны жили замкнуто, очень редко показываясь в городе, в котором, кстати, не было никаких культурных заведений. Киевская газета «Труд» в статье «Нежин», как раз в 1881 году, отмечала: «Нынешние филологи, как известно, — затворники, город не знает об их существовании». Всё, что было необходимо студентам, находилось в пределах институтской ограды: они питались в общей столовой, спали в общих спальнях, расположенных в крыльях здания, на 3-м этаже, могли отдыхать, прогуливаясь в саду или в парке. В усадьбе имелись также баня и студенческая больница. Гордостью Института были две библиотеки — фундаментальная, с большим числом научных и художественных книг, и студенческая, с учебниками и различными пособиями.

Существовали еще специальные «Правила для испытаний и других способов

контроля над занятиями студентов». В них был очень подробно регламентирован порядок курсовых (переводных) и окончательных (на звание учителя) испытаний, устных и письменных, для всех отделений. Например: «…14. Отметка менее 3 на курсовых испытаниях лишает студента права на переход в следующий курс…». Некоторые пункты этих «Правил» касались также сочинений, письменных практических упражнений по языкам, поверок домашнего чтения древних авторов и т. п. Короче, правила и инструкции были разработаны буквально на все случаи жизни. А главной целью было — подготовить широко эрудированных педагогов-гуманитариев.

Вот перечень предметов, которые предстояло изучить студенту за 4 года:

«1) Закон Божий; 2) философия (логика, психология и история философии); 3) педагогика и дидактика; 4) Греческая словесность (Греческий язык и толкование авторов, история Греческой литературы и Греческие древности; 5) Римская словесность (Латинский язык и толкование авторов, история Римской литературы и Римские древности); 6) Русская словесность (история Церковно-Славянского и Русского языков и их литератур и главнейшие Славянские наречия); 7) история всеобщая; 8) история Русская; 9) языки Французский и Немецкий».

Студент первого курса Евфимий Карский

Просматривая ежегодник «Известия Историко-Филологического Института Князя Безбородко» за период обучения в Нежине Евфимия Карского, удается составить представление обо всех изменениях в программе, о том, какие профессора читали те или иные курсы, сколько часов отводилось на изучение различных предметов.

О том, чему обучался Евфимий Карский на I курсе (первые два курса считались общеобразовательными), можно узнать из «Отчета о состоянии и деятельности Историко-Филологического Института князя Безбородко в Нежине за 1881/82 учебный год, читанный на акте 30 Августа 1882 г. ученым секретарем Г. Э. Зенгером». Приведу выдержки из него, касающиеся некоторых нововведений:

«…а) введено преподавание общих лекций по Русской литературе на I и II курсах, для которых отведено 2 сводных часа;

б) назначена одна лекция Исторической этнографии славян на I курсе для совместного слушания со студентами II курса;

…г) прибавлена к двум прежним еще одна лекция Русской истории на I и II курсах и все три лекции сделаны сводными;

…е) увеличено число лекций по Всеобщей истории на II курсе с трех на четыре, и все лекции по этому предмету определено читать сводно студентам I и II курсов;

…i) на первых двух курсах, вместо четырех лекций греческой и латинской грамматики (по 2 латинской и по 2 греческой), назначено по 2 лекции сравнительной грамматики древних языков и постановлено производить особые репетиции и отдельные экзамены по этому предмету;

…м) ввиду значительного увеличения числа лекций на I и II курсах определено перенести домашнее чтение студентов на вечернее время, а на утреннее назначить лишь поверку оного…».

Как видно, при Н. А. Лавровском был взят курс на сокращение преподавания древних, мертвых языков и углубленное изучение истории и литературы. И это не прошло незамеченным в Министерстве Народного Просвещения…

Вообще же программа для первокурсников была весьма обширна. Приведу еще выдержки из отчета:

«По Богословию, законоучителем **Хойнацким**, при одной лекции в неделю на каждом курсе, прочитано: в I курсе из Догматического Богословия…

По Греческой словесности: в I курсе преподавателем **Кириловым**, при трех лекциях в неделю, переведены и объяснены: вся 4-я книга Одиссея, 105 стихов 9-й книги и 25 глав из Платонова диалога «Протагор»… письменные переводы с русского языка на греческий происходили раз в 2 недели. На том же курсе по греческой грамматике, при одной лекции в неделю, орд. проф. **Ждановым** сообщены главнейшие данные к истории греческого алфавита, пройдена фонетика и учение о склонении имен. Независимо от того, студентам того же курса и. д. экстра-орд. проф. **Добиашем**, при двух лекциях в неделю, прочитан из сравнительной грамматики древних языков синтаксис падежей и предлогов…

По Римской словесности: в I курсе преподавателем **Фогелем**, при 4 лекциях в неделю, переведены и объяснены 50 глав из сочинения Саллюстия «О заговоре Катилины» и 8 элегий из Овидиевых Тристий… предметом домашних чтений служили в первом полугодии III книга «Bellum Civile» Цезаря; во втором — речи Цицерона против Катилины…

По Славяно-русской филологии на I курсе проф. **Брандтом**, при 2 лекциях в неделю, прочитано введение в языковедение и сравнительная фонетика церковно-славянского языка. И. д. экстра-орд. проф. **Соколовым**, студентам I и II курса, при одной сводной лекции в неделю, прочитано по истории этнографии Славян: обзор современного состояния славянских народностей с краткими географическими и статистическими сведениями; об источниках и методе исследования доисторической судьбы Славян; расселение Славян; образование славянских государств и история их в IX веке. Тем же профессором, при двух сводных лекциях в неделю, по Истории русской литературы прочитано: введение и обзор литературных памятников до XIV века…

По Всеобщей истории, студентам I и II курсов, при четырех сводных лекциях в неделю, орд. проф. **Люперсольским** преподана история Древнего мира по следующей программе: а) история Египта, б) очерк истории Вавилонян и Ассириян, в) история Греции с древнейших времен до падения ее независимости…

По Русской истории, инспектором и орд. проф. **Аристовым** прочитано: I и II курсам, при трех сводных лекциях в неделю, о состоянии России со времен нашествия татар до Иоанна III…

По Педагогике, преп. **Лилеевым**, студентам I и II курсов, при двух сводных лекциях в неделю, преподана история новой педагогики с Амоса Коменского…

По Географии, преп. **Сребницким**, при 2 лекциях в неделю, прочитано студентам I и II курсов: а) очерк истории Географии и географических открытий с древнейших времен до наших дней, б) физическое, политическое и историко-этнографическое обозрение Австро-Венгрии и стран альпийских, в) физическое и географическое описание Италии…».

Что касается иностранных языков — установка была такая: «Студенты должны достигнуть знания по крайней мере одного из двух новых языков настолько, чтобы могли пользоваться ученою литературою (французскою или немецкою) при занятиях избираемою ими специальностью». Евфимий Карский продолжил начатое еще в Семинарии изучение немецкого языка (в Институте его преподавал Христиан Антонович Гришот).

В 1881—82 учебном году, в конце каждого полугодия, для первокурсников устраивались предварительные проверки знаний — так называемые репетиции. Спрашивали не всех подряд, а выборочно. Сохранились ведомости, благодаря которым можно узнать, как на первых порах давалась учеба студенту Евфимию Карскому. Прежде всего бросается в глаза, что наибольшие трудности доставляли древние языки. В декабре 1881 года на репетиции у преподавателя Андрея Магнусовича Фогеля он за письменное упражнение получил обидные 2+. Ненамного лучше обстояло дело и с устным ответом: 3+ (этот +, видимо, надо считать за ½ балла). По Греческому языку репетиционные оценки чуть выше: Николай Стратоникович Кириллов за перевод поставил 3, а за устный ответ 4. Но вот знания по Сравнительному синтаксису древних языков и. д. экстраординарного профессора

Антон Вячеславович Добиаш оценил очень сурово — 2½. Как видим, начальный период учебы сложился для студента Евфимия Карского непросто.

Зато по Русской словесности и. д. экстраординарного профессора Матвей Иванович Соколов поставил 17 декабря твердую «пятерку». А вот ни по Славянской филологии (экстраординарный профессор Брандт), ни по Этнографии славян (тот же Соколов) так и не спросили вовсе.

Похоже, по итогам первого полугодия очень доволен ответами студента Евфимия Карского остался законоучитель Андрей Хойнацкий: ему единственному из всего потока он поставил наивысшую оценку 5+.

В конце апреля, перед самыми экзаменами, вновь проходили репетиции по некоторым предметам. На сей раз студент Карский по древним языкам получил уже более высокие оценки: по Латинскому языку письменный ответ на 3+, а устный — на 4½ . По Греческому языку за письменный ответ 4, а вот за устный так даже 5! Как видим, упорные занятия приносили результаты.

Институт при Н. А. Лавровском

Чтобы составить представление о повседневной жизни Историко-Филологического Института тех дней, следует обратиться к имеющимся немногочисленным, но достаточно содержательным воспоминаниям. После кончины академика Н. А. Лавровского в сентябре 1899 года в печати появилось множество некрологов, затем настало время более пространных статей. Наиболее подробно о деятельности первого директора Нежинского Института Князя Безбородко рассказал профессор А. В. Добиаш в институтских «Известиях» (том XVIII за 1901 год), однако повествование его несколько суховато. Зато множество интересных подробностей находим в воспоминаниях бывших студентов: Сергей Браиловский (он был на курс старше Евфимия Карского) в 1900 году поместил в «Историческом Вестнике» очерк о Н. А. Лавровском, при этом он красочно живописует и студенческий быт начала 1880-х годов; меткие характеристики некоторых нежинских профессоров и студентов имеются в публикациях Адриана Круковского и Павла Первова, они оба окончили Институт в 1882 году (IV выпуск). Хотя в этих мемуарах и нет прямых упоминаний о Евфимии Карском, тем не менее они представляют большой интерес, поскольку помогают воссоздать атмосферу провинциального высшего учебного заведения той поры.

Все авторы единодушны в оценке директора Н. А. Лавровского как крупной личности — серьезного ученого, прекрасного организатора, человека высоких душевных качеств. Вот, например, что пишет профессор А. В. Добиаш: «Н. А. был чрезвычайно скромный человек; свои успехи он не любил относить к себе, а относил их всегда к своим помощникам… Н. А. был просто убежденный, и притом, энергичный воспитатель в ***душе***, наблюдавший за воспитываемыми, изучавший их и раскрывавший свою душу там, где находил нужным и где скрывать ее считал для дела вредным. Н. А. действовал прежде всего ***убеждением***… До чего Н. А. был погружен в дело, которому служил, до чего сам находил в нем глубокий интерес и предполагал его у других, видно было из того, что он всегда помнил всё, что, когда и с кем говорил, и в своих беседах с тем или иным из подчиненных всегда как раз начинал с того, на чем остановился в прежнем своем разговоре, как бы ни был продолжителен промежуток между обоими разговорами… Добродушие Н. А-ча никогда не переходило в так называемое фамильярничанье; у него оно прекрасно мирилось с сознанием начальнического положения и никогда не мешало ему при самых добрых отношениях высказывать и горькие истины, когда это понадобится; всякий чувствовал, что он, при своей наблюдательности, способен быть настоящим ценителем характера, труда и таланта».

А вот что пишет Адриан Круковский: «Деятельное участие в жизни института принимал Н. А. Лавровский… Старый профессор не жалел ни труда, ни

времени, чтобы обставить свое духовное детище как можно лучше со стороны материальной, которая при нем процветала, и отчасти духовной. Выбор и приглашение многих лучших профессорских сил на кафедры института дело его личной инициативы. Сам уже застывший ученый, он тем не менее сознавал важность духовного движения, создания интеллектуальных ценностей, вносящих много светлого в жизнь захолустного учебного заведения. В Лавровском не было чего-либо похожего на генеральство: он был воплощенная простота, доброта, отзывчивость и правдивость… Заботливость Лавровского об институте заслуживает высокой похвалы. Человек уже старый, он ежедневно по два раза, утром и вечером, в сопровождении эконома и экзекутора обходил все огромное трехэтажное здание, заглядывая решительно во все помещения и уголки, от аудиторий и спален студентов и их рабочих комнат до кухни, курильных комнат. Он входил во все мелочи сложного институтского хозяйства, терпеливо выслушивал доклады и просьбы, находил время интересоваться личной жизнью студентов, проявляя в необходимых случаях большое, чисто отеческое участие… При посещении им рабочей комнаты наши студенты как-то охотнее вставали, и самые хмурые из них добродушно смотрели на своего директора. Простота в обращении много подкупала в его пользу, равно как и простота костюма. С небольшой шапочкой немецкого покроя в руках, в таком же драповом пальто, какое носили все студенты, он обходил здание, сидел на так называемых домашних беседах по древним языкам и посещал аудитории во время репетиций; на лекции профессоров Лавровский заглядывал редко, очевидно, не желая стеснять лекторов. Вицмундир, очень молодивший его, он надевал только во время экзаменов, а генеральский мундир и ленту в крайних случаях. Студенты любили его за этот демократизм…».

Крайне любопытны свидетельства авторов об отношении Н. А. Лавровского к учебному процессу и проверке знаний на экзаменах.

Сергей Браиловский: «…Н. А. поражал нас, студентов, своею богатою эрудициею: он знал все сочинения, перечисляемые, на основании профессорских лекций, студентом по той или другой науке. Студентов именно и поражало то, что Н. А. всегда добивался от студента прочного и солидного знания того, что он говорил… На экзамене Николай Алексеевич не скрывал своего удовольствия, если какой-либо вступающий обнаруживал не ученические познания в той или другой науке».

И еще несколько штрихов институтской жизни времен директорства Н. А. Лавровского из тех же воспоминаний: «Он требовал, чтобы занимающимся студентам предоставлены были все средства и удобства для занятий науками. Прекрасная библиотека института всегда была к услугам студентов, и в шкафчике каждого студента можно было найти десятки томов всевозможных сочинений. Сам человек науки, Николай Алексеевич и все профессора своим примером внушали студентам любовь к науке и жажду знания. Особенно, помнится мне, привлекала многих студентов комната в покоях графа Безбородко, против квартиры директора, где на большом столе были разложены текущие книжки всевозможных русских и иностранных журналов… И никогда Николаю Алексеевичу не приходило в голову, что студентам неприлично читать в той комнате, которая предназначена для профессоров, что профессору будет обидно сидеть за одним столом со студентом. Тогда, при Николае Алексеевиче, личность студента не третировали, как неразумного школьника».

Были, конечно, в Институте и нерадивые студенты, и любители посидеть в пивной или пропустить рюмочку в трактире — изредка с ними приключались различные неприятные истории. «…Юные поклонники Бахуса… иногда дебоширили или на предместьи Нежина, Магерках, разрушая изгороди, или в институте, разбивая стекла в окнах и дверях камер… дежурный служитель давал знать Николаю Алексеевичу, который просто-напросто приказывал уложить буяна спать. На второй или третий день подгулявший спускался по зову в квартиру директора, где и получал отеческое внушение. Долго помнились эти внушения студентам, и только очень слабые, безвольные студенты повторяли свои буйства».

Интересные подробности из жизни нежинских студентов приводит и Адриан Круковский: «В Нежине не было литературных и научных кружков, не говоря уже об обществах, не было газет, даже театра… Студенты заводили знакомства в семейных домах, среди местных чиновников, купцов, духовенства, особенно если в доме имелись взрослые девицы и была возможность весело провести время, потанцевать и т. п. Знакомства поддерживались и встречали сочувственное отношение со стороны родителей, видевших в студентах желанных женихов для своих дочерей». Думается, на младших курсах Евфимий Карский о женитьбе еще не помышлял, для него, несомненно, на первом месте все-таки была учеба, да и на старших курсах ходить по гостям и танцевать у него, видимо, не находилось времени, потому-то он, как признается позже, «плохо постиг это искусство».

Вспоминает Круковский и о дружеских застольях: «Серую трудовую жизнь студенчества разнообразили невинные попойки в неприглядных пивных, которые остряки называли «пивницами», и более фешенебельном, чистеньком трактире, носившем характерное название «Неминай»… В нем можно было встретить пару-другую студентов из более денежных людей, угощавшихся после скромной казенной трапезы». Думается, что в этот трактир Евфимий Карский не заглядывал — по той простой причине, что вряд ли у него были на это средства.

У того же Круковского читаем: «В промежуток от шести до девяти часов вечера шла работа в курсовых комнатах, рекреационном зале, уставленном по стенам деревянными диванами, и в аудиториях… Памятны рабочие вечера, уходившие на подготовку к репетициям, домашним чтениям, писание сочинений и неизбежных extemporale, реже на чтение по специальности, которому некоторые из студентов отдавали свои досуги». Вот к этим студентам, несомненно, и относился Евфимий Карский. Но, видимо, и товарищей он не сторонился. Еще один фрагмент воспоминаний рисует живую картину: «После ужина в курильной комнате, прилегавшей к коридору, на котором находились спальни, собиралась группа студентов и на сон грядущий хором пела русские и малороссийские песни».

Такое задушевное пение, разумеется, вносило разнообразие в монотонное течение будней, отвлекало от нудной зубрежки древних языков. В Институте при Н. А. Лавровском устраивались и литературно-музыкальные вечера. В первый год пребывания Е. Ф. Карского в Нежине таких концертов было три, о чем сообщено всё в том же «Отчете» Г. Э. Зенгера. Принял ли в них какое-нибудь участие первокурсник Евфимий Карский, к сожалению, неизвестно.

1881/82 учебный год складывался для Н. А. Лавровского очень непросто. Из писем к брату видно, как постепенно накапливается усталость, как появляются сперва мечты об отпуске, а затем и об отставке.

Первая курсовая работа по филологии

Согласно определению Конференции, студенты I курса в течение учебного года должны были написать два сочинения: «одно по Всеобщей истории, Греческой словесности или Педагогике, по выбору, и другое по Славянской филологии или Русской истории». Первую работу нужно было представить к 7 января 1882 года, а вторую — не позже 20 марта (затем срок сдачи, видимо, перенесли на 5 апреля). Как удалось установить, Евфимий Карский подал в январе сочинение по Всеобщей истории и получил за него 4. Тема работы пока неизвестна, она, похоже, не сохранилась. Зато в Петербургском филиале Архива РАН обнаружено первое сочинение по Славянской филологии. Это рукописный текст, занимает он 20 страниц, подшитых к общей тетради, содержащей и другие студенческие работы Е. Карского. На титульной странице интересующей нас работы крупно выведено:

*Объясненіе 3-ей гла-
вы Евангелія от Іоан-
на по Остромиров-
скому списку.
Студент I-го курса
Евфимій Карскій.*

И далее следует детальнейший, последовательный разбор всех предложений, буквально каждого слова, от первого до последнего. Для существительных определяется род, число, падеж, для глаголов — форма, вид, время, число, наклонение. В словах вычленяются приставки, корни, суффиксы, окончания (при этом студент Е. Карский в названиях частей слов пользуется терминологией, сторонником которой был профессор Р. Ф. Брандт: корни — основы, суффиксы — наставки и т. п.). После тщательного разбора древнего текста дается точный перевод каждого предложения на литературный язык. Эта курсовая работа, до сих пор еще никем не изученная, крайне содержательна. Она дает представление об уровне знаний первокурсника Карского: чувствуется основательная семинарская подготовка, но есть уже ссылки и на научные труды.

Работа написана очень аккуратно, чисто, почерк четкий, округлый. Характерная деталь: не только в переводах, но и вообще по всему тексту разбора в твердых окончаниях слов, в положенных по тогдашней орфографии местах, отсутствует ***ъ***. Это говорит о том, что мысль об упразднении ***ера*** уже тогда витала в научных и педагогических кругах, и студентам-филологам, видимо, разрешалось, в качестве эксперимента, обходиться без этой явно лишней буквы в конце слов. А Евфимий Карский, чуткий ко всему новому и рациональному, этой возможностью не преминул воспользоваться. Кроме того, он часто сокращает слова (*рус. яз.* и т. п.), а также использует для сокращения, как в древних церковных рукописях, надстрочные знаки (титло), например, пишет *к˜рый* вместо *который.* Последнее — привычка, оставшаяся еще, вероятно, от Минской Семинарии.

На полях рукописи много карандашных пометок, сделанных рукой, судя по всему, профессора Романа Федоровича Брандта. Ему тогда было всего 28 лет, и в должности экстраординарного профессора утвержден он был совсем недавно, 19 октября 1881 года, после успешной защиты магистерской диссертации «Начертание славянской акцентологии». Институт князя Безбородко именно тем и привлекал талантливых выпускников университетов, что они, согласно § 19 Устава, могли занимать профессорские кафедры еще до получения ученой степени. По пометкам и лаконичным замечаниям видно, что молодой профессор очень внимательно прочитал работу первокурсника. Он заметил несколько неточностей и спорных мест, указал на них, вычеркнул некоторые слова и даже часть абзаца, но видно, что главная его цель — пробудить в ученике творческий дух, желание самостоятельно мыслить. Скорей всего, серьезная и содержательная работа студента понравилась профессору, однако он проявил строгую принципиальность и, приняв во внимание все шероховатости, поставил 3½. Вероятно, с той поры и возникли уважительные, с глубокой симпатией, но строго корректные отношения между Р. Ф. Брандтом и Е. Ф. Карским, которые продолжались всю жизнь, несмотря на то, что с течением времени ученик превзойдет своего учителя по количеству трудов, по весу в научном мире.

Экзамены за I курс

Полностью сохранились протоколы испытаний студентов Историко-Филологического Института в 1882 году.

Для первокурсников сессия открывалась 22 апреля экзаменом по Русской истории. Как уже указывалось выше, курс этот вел крупный ученый, историк и фольклорист, близкий по взглядам к шестидесятникам, ординарный профессор

по кафедре Русской истории Николай Яковлевич Аристов. У него шел легочный процесс, однако, как видно из писем Н. А. Лавровского, первые месяцы учебного года он все-таки продолжал читать лекции. А после Рождественских каникул состояние больного, очевидно, ухудшилось, его приходилось подменять другим профессорам. Тем не менее, Н. Я. Аристов нашел в себе силы присутствовать на экзаменах, правда, при этом активную помощь ему оказывал сам директор. Вот как он это описывал: *«Эти дни начались у меня убийственные экзамены, просидел всю неделю на экзаменах Аристова во всех курсах, и утром и вечером. У него с 11½ часов ежедневно лихорадка, так что вторая половина экзамена каждый раз производилась после обеда. И самые экзамены для него начались раньше, так как он отправляется на кумыс в Славуту Киевс. губ. Он так плох, что едва ли выдержит дорогу»* (из письма от 25 апреля 1882 г.).

В протоколе испытаний 22 апреля фамилия директора, правда, не значится. Членами экзаменационной комиссии указаны Инспектор и профессор Н. Аристов, профессор П. Люперсольский и ассистент Г. Зенгер. Предварительные репетиции по Русской истории в декабре не проводились, а написание сочинения на заданную тему, как мы знаем, было сорвано. Весенняя репетиционная ведомость помечена тем же числом, что и экзамен, причем, оформлена она как-то небрежно, торопливо. В ней напротив фамилии Карский значатся две оценки — 3 и 4, но за что конкретно — неясно. А в экзаменационном протоколе от 22 апреля стоит уже 4½… Создается впечатление, что студентов, как говорится, нещадно гоняли по всему курсу, сперва им задавались предварительные вопросы, потом они тянули билеты. Поскольку в итоге набирается три оценки, спрашивали, видимо, все члены комиссии, скорей всего, по очереди. Кроме Н. Я. Аристова интересны и другие личности экзаменаторов: профессор Петр Иванович Люперсольский — известный историк-античник, автор глубоких исследований о Перикле и афинской демократии, а Григорий Эдуардович Зенгер разрабатывал тогда главным образом вопросы римской истории. В дальнейшем он займет кафедру профессора Императорского Варшавского Университета, на короткий срок станет даже его ректором, затем будет назначен попечителем Варшавского учебного округа, после чего в 1902 году займет высокий пост министра народного просвещения.

Под протоколом стоит собственноручная, очень нетвердая, подпись Н. Я. Аристова. Приближалась развязка, скоро знаменитого профессора, специалиста по древней русской истории, знатока раскола и московских смут, не станет… Не все слушатели были в восторге от его лекций, в которых приводилась масса сухого архивного материала, однако большинство студентов, как отмечает Адриан Круковский, «относилось к этому чудаку-народнику довольно благодушно. В нем ценили научное трудолюбие и искренность убеждений. Многих привлекали к Аристову и его горячие народнические симпатии, несмотря на их односторонний характер и угловатость в их выражении». Одно несомненно: лекции тяжелобольного ученого, которые студент Евфимий Карский слушал на первом курсе, глубоко врезались в его память.

Следующий экзамен, 28 апреля, по Латинскому языку. Согласно протоколу, председателем комиссии был директор, Н. А. Лавровский. В письменной работе студент Карский понаделал много ошибок, за что и получил весьма низкую оценку — 2½. Устно отвечал уверенней — на 4. При подведении итогов по этому предмету учитывались также отметки, полученные на репетициях и за домашнее чтение. Таким образом у Евфимия Карского средняя оценка по латыни вышла 3½.

Несколько лучше обстояли дела с Греческим языком. На экзамене 3 мая оба ответа — и письменный, и устный — на 4, отчего и средний вывод, с учетом репетиций, также 4. Кстати, на этом экзамене также председательствовал сам директор. Пока студенты готовились, он всё что-то строчил и строчил на небольших листочках почтовой бумаги. Оказывается, это он писал письмо брату: *«Дорогой Петинька, сей час получил твое письмо от 29 Апреля… Пишу тебе на*

экзамене и потому немного…У нас на этих неделях случился паралич с одним молодым преподавателем лат. языка, лет 26, лежит без рук и ног. Аристов завтра хотел выехать в Словуту…» (из письма от 3 мая 1882 г.).

Через четыре дня, 7 мая, на экзамене по Всеобщей истории (председательствовал Р. Ф. Брандт, ассистировал М. И. Соколов) студент Карский ответил отлично. Поскольку профессор П. И. Люперсольский оценил курсовое сочинение на 4, средний балл вышел 4½.

Протоколы свидетельствуют о напряженном ходе сессии, о ее подъемах и спадах. 13 мая по Русской литературе Карский вновь, как и на репетиции в декабре, получает 5. 18 мая по Педагогике — 4½. Все, казалось бы, идет неплохо. Но вот 22 мая по Греческой грамматике — 4½, а по Сравнительному синтаксису только 3½, отчего средний вывод 4. Этот результат учитывался при выведении окончательной средней оценки по Греческому языку. Затем шли, видимо, два наиболее легких для большинства студентов экзамена: по Географии (27 мая) и по Богословию (29 мая). Евфимий Карский их сдал, разумеется, на «отлично».

В начале лета предстояли два последние испытания — по трудным предметам, вызывавшим, однако, у Евфимия Карского наибольший интерес. На экзамене по Славянской филологии, в пятницу 4 июня, председателем был директор Н. А. Лавровский, экзаменовал профессор Р. Ф. Брандт, ассистировал М. И. Соколов. Из протокола видно, что письменное упражнение студенту Карскому не удалось, за него стоит 3. Зато устно отвечал толково и получил 5. С учетом 3½ за курсовую работу средний вывод получился в 4 балла. Интересно, что спрашивали, как видно, очень строго, суммарных «пятерок» нет ни у кого. Наивысший средний вывод (4½) у Николая Шлякова, он и курсовую работу написал на 5. Впоследствии, в одном из своих писем, Е. Ф. Карский по старой памяти назвал его своим товарищем. Видимо, в первый институтский год их сблизил неподдельный интерес именно к славянской филологии.

Через три дня, 7 июня, экзамен по Славянской этнографии. Тут экзаменовал М. И. Соколов, а ассистировали ему Р. Ф. Брандт и А. В. Добиаш. И Евфимий Карский, и Николай Шляков получили по 5 (еще только один студент заслужил такой же балл). По результатам двух последних испытаний были выведены средние оценки: у Евфимия Карского вышло 4 ½, и лишь у Николая Шлякова, единственного из всего потока, в итоге «отлично».

Итак, за полтора месяца первокурсники сдали 12 экзаменов. Как было показано, по некоторым дисциплинам оценки суммировались и выводился средний балл. В окончательной ведомости значится 9 дисциплин. В итоге Евфимий Карский набрал 40½ баллов (средний вывод 4 9/18), и таким образом, вошел в число лучших по успеваемости. Более высокие показатели только у четырех студентов, в том числе у Николая Шлякова — 4 5/9.

Определением Конференции Института из I курса во II были переведены 30 студентов, успешно выдержавших испытания, и среди них, разумеется, и Евфимий Карский.

Отставка Н. А. Лавровского

Новый учебный год начался с традиционного торжественного собрания, которое прошло в институтском зале 30 августа 1882 года. На нем с блестящей речью «Несколько замечаний об употреблении иностранных слов» выступил любимый профессор Евфимия Карского — Роман Федорович Брандт. Речь эта, очень содержательная и остроумная, произвела на собравшихся сильное впечатление. Она была затем подготовлена к публикации в VIII томе институтских «Известий», а также вышла в виде небольшой брошюрки. Следует заметить, что несколько лет спустя, в 1886 году, Евфимий Феодорович Карский для своего

выступления на годичном акте в Виленской Гимназии воспользовался некоторыми фрагментами этой речи своего учителя (разумеется, сославшись на нее). Очевидно, Е. Ф. Карский имел текст перед глазами, возможно, Р. Ф. Брандт подарил ему отдельный оттиск. Тема оказалась настолько удачной, вызывала такой интерес слушателей, что много лет спустя Е. Ф. Карский, уже будучи ректором Варшавского университета, вновь избирает ее для своей речи при открытии в Варшаве летних курсов для учителей и учительниц начальных и городских училищ. Интересно, что и в ней остались неизменными некоторые ключевые моменты, воспринятые еще в 1882 году в Нежине.



Первый директор Историко-филологического института князя Безбородко Н. А. Лавровский.

Фотография конца 1870-х — начала1880-х гг.

В актовом зале 30 августа среди профессоров и преподавателей находился и директор Н. А. Лавровский. Многие студенты, видимо, еще не подозревали, что скоро они простятся с любимым руководителем. Впрочем, возможно, уже тогда носились какие-то неясные слухи и предположения. О том, как все происходило в действительности, можно узнать из писем Н. А. Лавровского к брату Петру.

«...Должен тебе заявить, что я 10 Августа отправил Попечителю прошение об увольнении от службы «по домашним обстоятельствам». Вероятно, дело еще нашими канцелярскими порядками несколько затянется и мне придется все-таки значительное время пробыть в Нежине...» (из письма от 13 августа 1882 г.).

Директор Института давно почувствовал, что тучи над ним сгущаются. Первые предвестники грядущих неприятностей появились в 1881 году, после трагической гибели Александра II. Тогда бдительные жандармы выявили крамолу и в уездном Нежине — даже в самом Институте и в находящейся при нем Гимназии.

«Дней десять тому назад здесь арестовали учителя приходского училища, с которым были знакомы и два-три наших студента...» (из письма от 16 апреля 1881 г.).

«У меня случилась скверная история, наделавшая мне много хлопот, а главное, замутившая порядочно голову. Дело в том, что в институте арестован один студент 1-го курса, а в гимназии один ученик VIII класса... Сначала их требовали для показаний в качестве свидетелей. А в четверг с раннего утра до часа пополудни производился обыск в двух гимназических квартирах и у упомянутого студента... При обыске особенного ничего не оказалось, взяты были у гимназистов две записные книжки, несколько отдельных листков, обнаруживавшие существование ссудно-сберегательной кассы у учеников старших классов для пособия беднейшим ученикам без ведома начальства. После обыска жандармский чиновник предъявил мне предписание киевского жандармского начальника об арестовании во всяком случае двух упомянутых лиц — студента и гимназиста. Теперь оба находятся в тюремном замке» (из письма от 26 апреля 1881 г.).

После этого Институт 30 августа 1881 года посетил барон Николаи, новый Министр народного просвещения. В этот день по заведенной традиции состоялся торжественный акт, посвященный началу учебного года. *«...Тут ему, кажется, не совсем понравилась речь Аристова «Об историческом значении сочинений Гоголя», к˜рую, за отсутствием автора, читал проф. Зенгер...»* (из письма от 31 августа 1881 г.).

Осведомленный корреспондент газеты «Киевлянин» так сообщил о происшедшем:

«…автор речи представил современное Гоголю общество в таких черных красках, что это вызвало следующее замечание г. министра: «Напрасно автор не оговорился, что Гоголь имеет в виду исключительно дурную сторону общества известного времени, потому что в том же обществе и в то же время было немало кое-чего хорошего»…».

Кстати, эту речь, несомненно, слышал и первокурсник Евфимий Карский, видел он и реакцию министра. Знали все, разумеется, и о нелепых апрельских арестах. Так что тревога за директора, за будущее Института и за свою судьбу, быть может, уже тогда посетила многих. Надо заметить, поскольку Н. А. Лавровский основное внимание уделял славяно-русскому отделению, мечтая создать в Нежине сильную школу славистов, в том учебном году не оказалось третьекурсников, желающих стать преподавателями древних языков, то есть продолжить учебу на классическом отделении. И это, конечно, тоже не ускользнуло от внимания министерского начальства…

И вот Н. А. Лавровский, видимо, чутко уловив тревожное изменение обстановки, поспешил подать прошение об отставке. К тому времени он уже заслужил пенсию. А оставляемое им учебное заведение, в которое было вложено столько труда, к сожалению, ждали серьезные потрясения.

Перед самым началом учебного года случилась и другая беда: 26 августа скончался инспектор Института, профессор по кафедре Русской истории Николай Яковлевич Аристов. После его похорон Н. А. Лавровский писал брату: *«Осталось 8 ч˘к детей без всяких пока средств. Погребен на общую подписку…»*. И далее: *«…30 Августа после акта давал обед всем служащим в институте и студентам, которых, т. е. студентов, страшно перепоил. Теперь помаленьку все начинает приходить в порядок. 1 Сентября начнутся лекции. Затем начну понемногу собираться в дорогу в Кочеток. Надеюсь, что к числу 20 Сентября получу отставку…»* (из письма от 31 августа 1882 г.).

Николай Алексеевич Лавровский покинул Институт 10 октября 1882 года. В день отъезда он дарил провожавшим свои книги. Евфимий Карский получил солидное документальное описание «Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине (1820—1832 гг.)», выпущенное в Киеве в 1879 году. Тогда же студент Карский сделал на книге надпись своим четким почерком:

Получена на память от Н. А. Лавровского в день оставления им должности директора Нежинского Историко-Филологического Института.

1882 г. октября 10 дн. г. Нежин

Впоследствии, много лет спустя, эта книга, в числе других редких и ценных изданий, будет передана академиком Е. Ф. Карским в дар библиотеке Минского университета. Сейчас она хранится в Национальной Библиотеке Беларуси.

В своем письме к брату Н. А. Лавровский скромно умалчивает о сделанных им подарках. Он пишет только: *«…Из Нежина выбрался в Воскресенье, 10 Окт., в 5 часов после обеда. Проводы были весьма трогательные, и тут только я убедился в добром расположении ко мне служащих. Тяжело было мне расстаться с Институтом, на который действительно потрачено много сил и даже здоровья, но что делать, обстоятельства сложились так, что необходимо должно было решиться оставить Нежин»*. И далее: *«…Меня беспокоит несколько назначение мне преемника. Всё указывает на Скворцова, директора 2-й Харьк. гимназии и доктора философии. Слухи о нем как о начальнике в Харькове весьма неблагоприятные, и если хоть часть этих слухов справедлива, то не поздоровится институту…»* (из письма от 23 октября 1882 г.).

Второй курс

Еще при Н. А. Лавровском, на заседании Конференции 2 сентября 1882 года, экстраординарный профессор Р. Ф. Брандт был единогласно, закрытой баллотировкой, избран ординарным профессором (утвержден 11 ноября). С отъездом прежнего директора он и молодой выпускник столичного университета М. И. Соколов, который еще не был даже магистром и потому значился только исполняющим обязанности экстраординарного профессора, оказывались продолжателями традиций Нежинской школы славистов, опорой славяно-русского отделения. В том учебном году профессор Р. Ф. Брандт читал II курсу сравнительную морфологию староцерковного языка. Несомненно, Е. Ф. Карский слушал эти лекции с огромным интересом.

На место умершего Н. Я. Аристова институту был предложен магистр русской истории Санкт-Петербургского университета Михаил Николаевич Бережков (утвержден 11 ноября). 8 ноября 1882 года он выступил перед студентами I и II курсов со вступительной лекцией «Об истории, как народном самосознании». В дальнейшем, до весны будущего года, он успел прочитать общий курс русской истории до монгольского периода.

Кроме указанных, второкурсник Евфимий Карский в 1882/83 учебном году изучал следующие предметы:

«…По Философии ординарным профессором ***Н. Я. Гротом*** читалось… на II и III сводно — логика…

По Греческой словесности… Студентам II курса профессор ***С. Н. Жданов*** прочитал в первое полугодие, при одной лекции, морфологию греческого глагола; тем же студентам профессор ***Добиаш*** читал: 1) синтаксис (окончание читанного в прошлом году), причем упражнял их в письменных переводах с русского языка на греческий; 2) этимологию Гомеровского и Геродотовского наречия… У того же профессора были прочитаны: из Фукидида кн. I гл. 1 — 24 и II гл. 1 — 60, из Геродота кн. IV гл. 1 — 43 и из Илиады к. II ст. 1 — 250. На все эти занятия посвящалось 6 часов в неделю…

По Римской словесности… На II курсе профессор ***А. М. Фогель*** по 2 лекции употреблял на чтение речи Цицерона «Pro Milone» (сделано подробное введение о жизни автора, о риторическом построении данной речи, о римском судопроизводстве и о личности подсудимого Милона, и прочитаны первые 10 глав). 1 лекция посвящалась чтению Теренциевой комедии «Adelphoe» (прочитаны 2 первых действия, чему была предпослана краткая биография Теренция, очерк грамматических и просодических особенностей его и необходимые сведения о римском театре. По два часа в неделю шло на чтение грамматики и на исправление письменных упражнений: служивших дополнением к грамматическому курсу, домашних и экстемпоральных переводов). На домашнем чтении прочитаны I и III книга Энеиды и IX книга, гл. 1 — 25, Тита Ливия…

По Славяно-русской филологии… Преподавателем ***И. М. Белоруссовым,*** читавшим 2 лекции, но в течение лишь одного полугодия, изложена I и II курсу сводно история Русской литературы с XIV столетия до Кантемира включительно…

По Всеобщей истории, на I и II курсах сводно, профессором ***Г. Э. Зенгером*** прочитана история Рима в императорскую эпоху (недельных лекций было 3)…

По Педагогике преподаватель ***М. И. Лилеев***… прочитал полный курс общей педагогики. Лекций в 1-е полугодие было по две, а во второе по одной.

По Географии преподавателем ***И. А. Сребницким*** I и II курсу изложена была география России. Лекций было 2».

Разумеется, и на II курсе продолжилось изучение немецкого языка под руководством преподавателя Х. А. Гришота. Законоучитель, протоиерей А. Ф. Хойнацкий, по-прежнему читал свои лекции один час в неделю.

Новые веяния

В Историко-Филологическом Институте князя Безбородко всегда немало учебного времени отводилось изучению древних языков. С появлением нового директора, Николая Ефремовича Скворцова, эта тенденция стала проявляться еще отчетливее. Всего через три недели после его воцарения бывший директор Н. А. Лавровский писал своему брату: *«В институте Нежинском уже теперь оказались совсем новые порядки, как меня извещают... Начинается глухой и беспредельный классицизм, даже высказано желание сокрушить окончательно славяно-русское и историческое отделения. Устав и все правила не много обращают на себя внимания. Студенты, кажется, уже начинают обнаруживать недовольство и, по-видимому, всё это может повлечь за собою не совсем приятные последствия. И всё это обнаружилось в какие-нибудь десять дней. Впрочем, мне-то лично, разумеется, все равно, да жаль ребят, которые прежде всего должны явиться жертвами нелепого самодурства. Вот как у нас все дела делаются...»* (из письма от 23 января 1883 г.).

Наиболее отчетливо позиция Н. Е. Скворцова проявилась на заседании институтской Конференции профессоров 24 февраля 1883 года, когда он выступил с пространной речью. Вот некоторые выдержки из нее (все неясности и косноязычные обороты сохранены):

«Деление учебного курса в нашем Институте на отделения, в том виде как оно существует у нас в настоящее время, неблагоприятно, кажется мне, отражается на всем учении студентов… Студенты наши… бывают еще довольно далеки от специальной цели своего учения — от хорошей подготовки к учительской деятельности в гимназиях. И это, кажется, вовсе не происходит от слишком большого количества предметов, читаемых в нашем Институте: это происходит, по-видимому, от того, что учение наше, по цели заведения всецело основанное не на чем ином, как на классической филологии, делится на нее как на одну из трех частей себя самого…». Непонятное утверждение. И далее тоже путано: «…позволительно сомневаться, возможны ли совершенно специальные отделения славяно-русской филологии и истории, без сериозного факультетского изучения классической филологии, как по смыслу и внутреннему содержанию этих самых специальностей славяно-русской филологии и истории, так и по цели приготовить чрез изучение их будущих учителей для наших гимназий по русскому языку и словесности и по истории, как всеобщей так и русской…».

В итоге была предложена новая схема распределения учебных предметов по курсам. Отныне они подразделялись на основные и дополнительные (обязательные и на выбор). Основным считалось: «Чтение авторов латинских и греческих, по 6-ти часов в неделю для всех курсов. Грамматики латинская и греческая с письменными и устными упражнениями, по три часа для всех курсов». А вот интересовавшие Евфимия Карского предметы попали в разряд «Дополнительных на выбор, соответственно наклонностям студентов», и времени на них отводилось не так уж и много: «Сравнительно-историческая грамматика древне-церковно-славянского и русского языков, по два часа на III курсе, и дисциплины, входящие в состав славяно-русской филологии, по пяти часов на III курсе и по семи часов на IV курсе».

Следует заметить, что вокруг поспешных планов Н. Е. Скворцова по реорганизации вверенного ему института разгорелась нешуточная борьба. Сохранилась рукопись и. д. экстраординарного профессора М. И. Соколова, озаглавленная «Замечания на проект нового устройства преподавания в Историко-Филологическом Институте князя Безбородко, предложенный г. Председателем Конференции в заседании ее 24 февраля 1883 года, читанные в заседании Конференции. Двадцативосьмилетний, только что женившийся, ученый-славист в своей записке смело заявляет: *«В проекте высказывается опасение, что студенты специальных отделений, подрывающие классицизм в Институте, будут и в гимназиях*

“колебать дело продолжающегося созидания средней школы”. Не могу согласиться с тем, чтобы существование специальных отделений в Институте, в которых и теперь первое место предоставлено классицизму, само по себе подрывало значение последнего. Но вместе предвижу гораздо больший вред для гимназий, когда Институт будет выпускать в учителя русского языка и словесности людей, заведомо не готовых к этому делу...». В заключение автор записки, ссылаясь на Устав, настаивает на сохранении в институте сложившихся отделений.

Особые мнения представили и другие профессора. В сохранившемся протоколе очередного заседания Конференции (25 апреля 1883 года) заметны отголоски продолжавшейся борьбы. Так, профессор Н. Я. Грот заявил: *«...особые мнения, поданные им и другими членами Конференции по поводу внесенных г. Директором проектов преобразования учения в Институте, отправлены в подлинниках, вместе с ходатайством об утверждении указанных проектов, в Министерство, причем, ни для хранения при делах Конференции, ни даже для приложения к протоколам ее заседаний не снято копий с означенных особых мнений. Между тем § 33 инструкции в дополнение к Уставу Института требует, чтобы особые мнения членов Конференции приобщались к протоколам»*. Как выясняется из этого заявления, особые мнения подали, кроме Н. Я. Грота и М. И. Соколова также Р. Ф. Брандт, М. Н. Бережков и Г. Э. Зенгер. Кстати, последний в том же заседании объявил, что он *«считает необходимым отказаться от обязанностей ученого секретаря Конференции и просит ее избрать другое лицо на эту должность»*. Любопытно, что на последней странице протокола имеется карандашная приписка: *«Директор в след. засед. отказался подписать этот протокол, обидный-де для него. Ученый Секретарь Г. Зенгер»*.

Споры о том, как строить учебный процесс, продолжатся в Нежинском институте и далее. Едва завершится весенняя сессия, 12 июня 1883 года, М. И. Соколов представит Конференции свои соображения о характере и объеме познаний по русской словесности, которые должны быть, по его мнению, приобретены студентами. Он заявит: *«Знакомства с новейшими писателями, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, указанными в учебных планах, но не вошедшими в подробные курсы русской литературы, должны состоять прежде всего в близком и непосредственном знании их произведений по полным собраниям их сочинений; следовало бы также вменить в обязанность знакомство хотя с одним из специальных исследований о каждом из этих писателей... При настоящих условиях я, по крайней мере относительно русской литературы, сомневаюсь, чтобы очерченный выше довольно скромный идеал был достижим»*. Действительно, круг задач для студентов-филологов очерчен весьма скромный. И вообще выясняются странные вещи: близится уже конец XIX века, а в Историко-филологическом институте князя Безбородко общепризнанные классики Пушкин, Лермонтов и Гоголь продолжают считаться новейшими писателями и все еще не входят в курсы литературы!

Вторая курсовая работа

Как нетрудно убедиться, по новой программе для I и II курсов вообще не предусматривались лекции по славяно-русской филологии. Можно сказать, Евфимию Карскому очень повезло, что он начинал учиться еще по программам, разработанным при Н. А. Лавровском. Так, на II курсе он прослушал у профессора Р. Ф. Брандта курс сравнительной морфологии русского и древнецерковного языков и даже успел выполнить курсовую работу «Особенности правописания и языка Супрасльской рукописи». Это исследование, подшитое к тетради с другими студенческими работами, сохранилось в фонде академика в архиве РАН. Тема курсовой работы оказалась очень близка студенту-белорусу. Во вступлении он написал:

Изложению особенностей правописания и языка Супрасльской рукописи считаю необходимым предпослать несколько слов относительно места ее нахождения, ее истории, писателя и т. п.

Название свое наша рукопись получила от Супрасльского (*) Базильянского монастыря, где она когда-то находилась…

** М. Супрасль находится недалеко от Белостока, уездного города Гродн. губернии.*

Таким образом, Евфимий Карский разбирал особенности рукописи, обнаруженной неподалеку от места его рождения, он погружался в древние формы того самого языка, стихия которого окружала его с раннего детства. Правописание рукописи исследовано очень дотошно. В первой части работы приведены все буквы, встречающиеся в рукописи, и проанализировано их употребление при передаче различных звуков. Сперва подробно рассмотрены гласные, затем согласные, причем особенно подробно исследованы способы изображения смягчения. И тут делается интересное наблюдение:

Тот факт, что ***р*** *в этой рукописи т ˜ко один раз является смягченным, говорит в пользу того, что мягкое произношение этого звука, особенно у западных славян, оч. рано потеряно.*

Во второй части курсовой работы древняя рукопись исследуется с позиций учения о формах, по распространенной тогда системе Миклошича (так учил и профессор Р. Ф. Брандт): в склонениях существительных, прилагательных и причастий, в зависимости от конечного звука, рассматриваются 6 тем — окончания еровые, оновые, азовые и т. д. Спряжения глаголов разбираются согласно учению знаменитого немецкого языковеда Августа Лескина, особо выделены архаические глаголы. Чувствуется, что автор предварительно изучил обширный материал по данному вопросу, он при необходимости ссылается не только на труды Миклошича и Лескина, но и Кеппена, Востокова, а также аргументированно критикует статью А. Бема в «Филологических Записках». Все книги и журналы, необходимые для этого серьезного научного исследования, несомненно, можно было получить в богатейшей фундаментальной библиотеке Института.

В конце своей работы студент Евфимий Карский пишет:

Рассмотрев особенности правописания и языка Супр. рукописи, мы можем высказать некоторые соображения относительно времени и места написания этой рукописи.

И делает вывод, что это явление одного из западно-славянских наречий, с ощутимым польским влиянием, и что язык по древности не уступает языку Остромирова Евангелия, как известно, помеченного 1056 годом. Напомню, что 3-ю главу Евангелия от Иоанна по Остромировскому списку он подробно проанализировал в своей предыдущей курсовой.

Таким образом, это студенческое сочинение отличалось основательностью, широтой использованных источников, опиралось на предыдущие самостоятельные исследования. И неудивительно, что профессор Р. Ф. Брандт высоко оценил эту пятидесятистраничную работу, о чем свидетельствует следующая сохранившаяся записка:

8 июня 1883 г.

В Конференцию

Историко-филологического Института кн. Безбородко

Честь имею довести до сведения Конференции, что из поданных мне в истекшем учебном году студентами 2-го курса сочинений заслуживают почетного отзыва сочинения студента Евфимия Карского и Николая Шлякова.

Работа Карского «Особенности правописания и языка Супрасльской рукописи» довольно обширная и свидетельствует об интересе к делу и филологических способностях автора. Отметка 5.

О. проф. Р. Брандт.

Первое выступление в научной печати

Весна 1883 года знаменательна еще одним заметным событием. Закончив курсовое сочинение (а сдать его, видимо, нужно было, как и в прошлом году, до 20 марта), Евфимий Карский сразу же приступил к написанию критической рецензии на статью Н. Н. Бодрова «Слово «человѣкъ» в производствах», появившуюся в последнем номере журнала «Филологические Записки». Публикация вызвала у студента серьезные, принципиальные возражения.

Над этимологией слова человѣкъ (чловѣкъ), как рассказывалось выше, студент Е. Карский задумался еще на I курсе, когда переводил главу из Остромирова Евангелия. Тема оказалась близка, поэтому рецензию он написал необычайно быстро. В конце текста указано: **Нежин, 24 марта 1883 г.** Вероятно, в этот же день (в крайнем случае — на следующий) работа была послана в Варшаву, в редакцию научного журнала «Русский Филологический Вестник». Это было очень авторитетное издание, в нем публиковали свои труды многие известные ученые-филологи, в том числе и Р. Ф. Брандт. Журнал этот поступал в фундаментальную библиотеку Нежинского Института, студент Карский, несомненно, регулярно знакомился с его выпусками.

Ответ от редактора-издателя журнала, варшавского профессора А. И. Смирнова, пришел очень скоро. На конверте было написано:

Нежин / Черн. г.
Его Благородию
Е. Карскому, студенту
Историко-филологического
Университета.

На лицевой стороне конверта два одинаковых штемпеля: **Варшава 31 мар 1883**. На обороте: **Нежин 2 апр 1883**.

Вот содержание этого судьбоносного для Е. Ф. Карского послания (в новой орфографии, с сохранением недописанных слов и сокращений):

Варшава
30 марта 1883
Милостивый Государь!

Честь имею уведомить Вас, что Ваша заметка будет напечатана в 2 кн. Рус. Фил. В. 1883. Приношу Вам за нее искреннюю благодарность и надеюсь, что Вы и впредь будете присылать что-либо; особенно желательно именно для отдела библиограф

С совершенн почтен честь имею быть Вашим покорным слугою
А. Смирнов.

Несомненно, деловое и очень любезное письмо редактора солидного научного журнала воодушевило второкурсника Карского, укрепило его веру в собственные силы. Приглашение к сотрудничеству открывало захватывающие перспективы.

Экзамены за II курс

Это был очень сложный момент в жизни Института. Именно во время весенне-летней сессии 1883 года начали со всей очевидностью проявляться негативные результаты деятельности нового директора Н. Е. Скворцова.

Как и предвидел Н. А. Лавровский, жертвами нелепого самодурства оказались прежде всего студенты. Произошел неслыханный отсев, студенты массово подавали прошения об увольнении. Вот сухие цифры, почерпнутые из «Отчета о состоянии и деятельности» Института за 1882/83 учебный год: «…к началу переводных и окончательных испытаний состояло: на I курсе 28 студентов, на II — 33, на III — 16 и на IV — 18. Из студентов IV курса 13 выдержали удо-

влетворительно окончательные испытания… 2 студента IV курса до окончания экзаменов уволены по прошениям, оставлены на 2-й год на IV курсе 3 студента. Из 16 студентов III курса удостоены перевода на IV курс 11 студентов, оставлены на 2-й год 4 студента и уволен, согласно прошению, 1 студент. Со II курса на III переведен 21 студент, оставлены на 2-й год 3, уволены из Института, по прошениям, 9 студентов… С I курса на II переведено 16 студентов, оставлены на 2-й год 3 студента, уволены из Института по прошениям 9».

Как видим, основной удар пришелся по I и II курсам. Ужесточение требований по древним языкам не устраивало многих молодых людей, желавших посвятить себя изучению истории (на только что, в 1882 году, открывшемся благодаря стараниям Н. А. Лавровского историческом отделении), и, разумеется, студентов славяно-русского отделения. Только с двух младших курсов были отчислены по прошениям 18 человек! Возможно, среди них были и отстающие, те, кому не давались мертвые языки, но, несомненно, и многие способные студенты стремились уйти в другие учебные заведения. Так поступил, например, однокурсник и товарищ Евфимия, очень способный начинающий филолог Николай Шляков. Уловив, что начинается засилье чуждого ему классицизма, он после успешной сдачи экзаменов за II курс поспешил перевестись на историко-филологический факультет столичного университета. Следует заметить, что Н. Шляков, пожалуй, первым из студентов Института, еще в начале II курса, затеял колоссальное предприятие: он решил перевести с немецкого капитальный многотомный труд известного слависта Франца Миклошича “Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen”(1852—1875). Разрешение на это было получено от самого автора. Редактирование перевода, который затем стал публиковаться в институтских «Известиях» и выходить отдельными изданиями в Москве, взял на себя профессор Р. Ф. Брандт, работа эта продолжилась и после отъезда Николая Шлякова.

Евфимий Карский никуда уезжать не собирался. Он серьезно подготовился к экзаменам. В фондах Нежинского городского архива сохранились протоколы испытаний студентов II курса Историко-Филологического Института князя Безбородко в 1883 году.

Уже 28 апреля Карский на «отлично» сдал психологию профессору Н. Я. Гроту. 5 мая, также успешно, он сдает всеобщую историю профессору Г. Э. Зенгеру. Затем, 10 мая, вновь встреча с Н. Я. Гротом, на сей раз на экзамене по логике — и результат опять превосходный. 13 мая протоиерей А. Ф. Хойнацкий ставит ему «5» по Закону Божиему. Только 20 мая, на экзамене по латинскому языку, Евфимий Карский получает первую «четверку». Затем 24 мая его по церковно-славянской грамматике экзаменует профессор Р. Ф. Брандт. Тут оценка, разумеется, «5».

27 мая по общей педагогике студент Карский получает «4». 31 мая он на «отлично» сдает русскую историю профессору М. Н. Бережкову, затем, через 3 дня, преподаватель И. А. Сребницкий также высоко оценивает его познания в географии.

8 июня, на экзамене по Греческому языку, только «4». Возможно, при Н. Е. Скворцове, чтобы сдать латынь и греческий на «отлично», вообще требовалась какая-то феноменальная способность к зубрежке.

И, наконец, 10 июня — последний экзамен, по Истории русской литературы. Его Евфимий Карский сдает, разумеется, на «5».

Итого: после 11 экзаменов — сумма баллов 52!

Евфимий Карский переведен на III курс. На лето он уезжает отдыхать к родителям в село Берёзовец Новогрудского уезда Минской губернии. Именно тем летом он, скорее всего, делает множество интереснейших фольклорных записей.

Третий курс

30 августа, по установившейся традиции, в большом зале Института состоялся торжественный акт. Студентов заметно поубавилось. Потери восполнить не удалось: желающих учиться в неудачно реформированном учебном заведении оказалось мало. На I курс поступило всего 13 человек, в их числе было принято только 4 семинариста. Всего же в начале нового учебного года в Институте числилось 75 студентов. Из них 26 — более трети! — находились на III курсе.

Ординарный профессор Сергей Николаевич Жданов на торжественном акте произнес речь «Миф об Ифигении». Трудно что-либо сказать о достоинствах этой речи, поскольку она не была опубликована. Однако уже сам выбор темы подчеркивал усиливавшуюся позицию классицизма в институтской программе. Тем не менее, для Евфимия Карского, судя по всему, никаких проблем при выборе специализации не могло возникнуть: он оказался, разумеется, на славяно-русском отделении, где профессоры Р. Ф. Брандт и М. И. Соколов поддерживали высокое реноме Нежинской школы славистов.

Преподавание студентам III курса славяно-русского отделения велось по следующим предметам, что видно из отчета о состоянии института за 1883—84-й учебный год:

«…По Греческой словесности… Студенты II и III курсов сводно, у г. Директора, во 2-е полугодие, при 2 недельных часах, читали Платоновский диалог «Феэтет»: сделано введение с объяснением тех философских систем, которые разбираются в означенном диалоге, и прочитаны те места, где речь идет о сенсуализме и философии Ираклита. Тем же курсам, при 3 лекциях в первое и 2 — во второе полугодие, профессором ***А. В. Добиашем*** прочитана Демосфенова речь о венке, §§ 1 — 218. Домашним образом… III кроме того прочел еще две первые олинфские речи… По грамматике и стилистике студенты старшего грамматического отделения, т. е. III и IV курса, у проф. ***С. Н. Жданова***, при 3 недельных часах, 1) упражнялись в переводе с латинского языка на греческий, 2) делали рефераты о разных грамматических и стилистических вопросах, на основании прочитанных сочинений… 3) разбирали отдельные места из прозаиков, писавших на так называемом общем языке… У того же профессора те же студенты прочитали в 1-е полугодие (при 3 лекциях) «Персов» Эсхила, а во 2-е (при 2-х лекциях) «Птиц» Аристофана; чтению было предпослано подробное введение…

По Римской словесности… Студенты II и III курса совместно, по 2 раза в неделю, читали у проф. ***Фогеля*** сатиры Горация; после изложения биографии поэта и очерка истории римской сатиры, прочтены 5, 6, 7 и 9 сатиры I книги; домашним образом, под руководством того же профессора, прочтены были… III курсом VII книга Ливия, 38 глав XXI-й и из Горация 6 первых сатир II книги… Студенты старшего грамматического отделения (III и IV курса) у проф. ***Р. А. Фохта*** еженедельно писали по переводу с русского на латинский, тексты для чего брались из Истории русской литературы Порфирьева или составлялись профессором, так, чтобы в них заключалось повторение прежде пройденного: первого рода работы писались дома, а вторые в аудитории; на устную поправку этих переводов, после письменного исправления, употреблялось по 1 часу в неделю; кроме того по 2 часа посвящалось на устные переводы из Истории России Иловайского, или на экстемпоральные переводы в аудитории, которые тут же и поправлялись. Небольших сочинений на латинском языке каждый студент III и IV курса представил по 3. Теми же студентами у того же профессора, при 3 часах, прочтены главы 1—48 Истории Тацита…».

Самое замечательное, что переводы Евфимия Карского на латынь целых глав из учебников Порфирьева и Иловайского сохранились до наших дней! Его студенческие тетради были обнаружены мной в Архиве РАН (Москва), в фонде Г. Э. Зенгера. Прежде они не попадали в поле зрения исследователей, а ведь в них можно найти бесспорное подтверждение блестящих лингвистических спо-

собностей Е. Ф. Карского, и, кроме того, они дают наглядное представление о характере обучения, усиленно внедрявшегося тогда новым директором. Тетради составляет множество сшитых двойных листков, исписанных черными чернилами, разборчивым крупным почерком. Некоторые такие фрагменты имеют четкую подпись ***Е. Карский*** в начале или в конце.

Следует заметить, что число часов по древним языкам для III курса славяно-русского отделения в 1883—1884 академическом году было увеличено (как утверждалось, «в виде опыта») с 11 до 18 в неделю. На лекции по профильным дисциплинам оставалось не так уж много времени, что видно из отчета о состоянии института за 1883/84 учебный год:

«По Славяно-русской филологии проф. ***Р. Ф. Брандт*** студентам III курса славяно-русского и классического отделений, при 2 недельных лекциях, изложил сравнительно-историческую фонетику Русского языка, а из морфологии — учение о склонении существительных. У того же профессора III и IV курсы славяно-русского отделения, при 2 сводных часах, прослушали краткие грамматики языков Сербского и Словенского и читали образцы этих языков… Проф. ***М. И. Соколов*** для словесников III и IV курса, при 3 сводных лекциях, преподавал Русскую литературу XV и XVI века, причем главное внимание обращено было на литературную деятельность Иосифа Волоцкого, Максима Грека, митрополита Даниила и на полемические и публицистические произведения по церковным и политическим вопросам. Тем же профессором и на тех же курсах прочитана история Болгар и Сербов и других народностей, живущих с ними; из бытовой истории подробно изложены вопросы о сербской общине (задруге) и о сербских родовых именинах (славе)».

На дополнительные предметы у студентов III курса славяно-русского отделения оставалось всего ничего:

«По Педагогике преп. ***М. И. Лилеев***, при 2-х недельных лекциях, читал студентам III курса гимназическую педагогику.

…По Немецкому языку у преп. ***Х. А. Гришота*** на старшем отделении были прочитаны и переведены на русский язык 5, 6 и 17 лекции Германна Гримма о Гёте, а на немецкий язык переведены 10 статей из 3-й части учебника Кейзера… В связи со чтением, как на старшем, так и на младшем отделении пройдены необходимые отделы грамматики».

Учиться стало, судя по всему, очень трудно. Зубрежка латыни и греческого, чтение древних авторов, экстемпоральные переводы — поглощали всё время. В течение учебного года из Института были уволены, согласно прошениям, 22 студента. И после сдачи экзаменов в конце учебного года ушли, для поступления в университеты, еще 8 человек.

Однако третьекурсник Евфимий Карский и в этих тяжелых условиях находит возможность углубленно заниматься любимыми предметами. О тетради, хранящейся в Петербургском филиале Архива РАН, в фонде академика Е. Ф. Карского, выше уже говорилось, когда рассматривались его сочинения за I и II курсы. К этой же тетради подшиты (причем, сверху) и более поздние записи, в частности, к III курсу относятся *«Примечания к Зографскому Евангелию»*. Как удалось установить по отчету профессора Р. Ф. Брандта за 1883/84 учебный год, в рамках курса сравнительно-исторической фонетики он занимался со студентами разбором этого рукописного памятника. Следует заметить, что к тому времени на III курсе славяно-русского отделения осталось всего 4 человека. Занятия стали носить персональный характер, порой они походили более на совместное обсуждение профессором и студентами научных проблем. Р. Ф. Брандт рассматривал своеобразие написания слов, возможные ошибки переписчика, но главное внимание обращал на ударения в словах, на переход в славянских словах одних звуков в другие (например, ***с*** в ***з***). Как видно из конспекта третьекурсника Карского, профессор наглядно демонстрировал подходы, методы и приемы анализа древнего текста, он часто ссылается на труды различных авторитетных ученых (Бугмана,

Востокова, Потебни, Ягича, Миклошича). При этом он зачастую высказывает студентам свои возражения, сомнения, догадки, намечает пути дальнейших исследований. И слушатели включались в поиск, выдвигали идеи, высказывали разные мнения. В тетради Евфимия Карского порой трудно понять, где замечания Брандта, а где его собственные. Вот, например, некоторые реплики: *«С Потебней я априори не согласен… **Сквозь** я думаю считать особым словом…»*. Почерк, по сравнению с младшими курсами, стал более раскованным, в тексте множество сокращений. Чувствуется, что для молодого человека главное не форма, а глубина содержания, тонкость и точность анализа.

В том трудном учебном году наиболее ярким событием в жизни Евфимия Карского явился, разумеется, выход «Русского Филологического Вестника» с его первой публикацией. Рецензия подписана инициалами ***Е. К.*** (возможно, так решил редактор А. И. Смирнов), однако указание в конце текста города, откуда поступила статья, давало ясный намек, что авторство принадлежит нежинскому студенту-филологу. Поскольку цензурное разрешение на печатание № 3 «РФВ» было получено только 18 октября, в библиотеку Историко-Филологического Института этот номер журнала поступил либо в самом конце того месяца, либо даже в начале ноября. В атмосфере воцарившегося классицизма такой успех, несомненно, подбодрил Евфимия Карского, придал ему дополнительную уверенность в том, что выбор отделения был, безусловно, правильным, что призвание его — именно славянские языки.

Весной следующего года в «Филологических Записках» появилось довольно нервное возражение Н. Н. Бодрова на критику. В том же выпуске журнала, между прочим, опубликован I отдел программной работы этого автора «Доисторическое единство симовских и арийских языков и народов», в которой опять с обескураживающей наивностью проявились всё те же ненаучные методы и подходы-натяжки, подмены понятий, измышление несуществующих правил словоизменения. Так, например, делались попытки установить связь между словами *алеп* (бык) и *верблюд*, *перд* (мул) и *барс*, *цица* (сова) и *курица*. Студент Карский сразу же пишет ответ незадачливому языковеду. И, между прочим, он обращается к читателям с предупреждением быть крайне осторожными при рассмотрении сотен слов, близость и даже тождество которых пытается установить Н. Н. Бодров в своем последнем изыскании. Реплика имеет пометку: **Нежин, 3 апреля 1884 г.**

Заметка была опубликована очень оперативно. Она появилась в № 2 «Русского Филологического Вестника», вышедшем в начале лета. К этому моменту Евфимий Карский уже сдал все переводные экзамены. Его успехи в ту сессию впечатляют: было всего 4 экзамена (по латинским и греческим авторам, по педагогике и по русскому языку), причем неизменно председательствовал сам директор Н. Е. Скворцов, и студент Е. Карский на всех испытаниях получил оценку «отлично».

На каникулы он вновь отправился в село Берёзовец, к родителям.

Лето 1884 года

Летом в доме родителей становилось многолюдно. Кроме Евфимия приехали его младшие братья — четырнадцатилетний Николай, только что успешно сдавший экзамены за III класс Минского духовного училища, и десятилетний Иван, переведенный в I класс того же училища из приготовительного класса. С родителями жили дочь Мария (ей было, видимо, лет 13—15) и ходивший в церковно-приходскую школу Александр (8—9 лет). Можно предполагать, что в 1884 году родился последний сын — Владимир, но, возможно, это произошло и чуть позже — в 1885 году.

Точно установлено, что в служебном положении главы семейства летом 1884 года произошло существенное изменение. Вот выдержка из официальной части «Минских Епархиальных Ведомостей»:

«**Распоряжения Епархиального начальства**.

Движение и перемены по епархиальной службе.

И. д. псаломщика Березовецкой церкви, Новогрудского уезда, Феодор **Новицкий**, 29 июня рукоположен во диакона на псаломщицком окладе».

В доме Новицких было, вероятно, шумно и весело. Однако Евфимий был настроен тем летом серьезно поработать. Во-первых, он хотел подготовить публикацию белорусских песен, записанных в Берёзовце. Во-вторых, настала пора подумать и о кандидатском сочинении, которое ему как выпускнику Института требовалось представить в конце обучения. Видимо, по согласованию с профессором Р. Ф. Брандтом, студент Карский избрал наиболее близкую себе тему — обзор звуков и речевых форм белорусского языка. В то время вопрос этот был разработан еще крайне слабо. Существовал «Словарь белорусского наречия», составленный И. И. Носовичем и изданный отделением Русского языка и словесности Императорской Академии Наук в 1870 году, но его нельзя было считать полным (составлен в основном по говорам Могилевской губернии, вошло 30 000 слов) и лишенным ошибок (один и тот же звук на письме часто передается по-разному). Имелись фольклорные записи, выходили сборники песен и сказок, но каждый собиратель переносил на бумагу живую речь как придется, без строгих правил, порой по ходу дела изобретая эти правила, а порой подгоняя под общелитературные нормы русского языка, исправляя, как казалось, безграмотное произношение. От этого возникали искажения, путаница, неточности, легко смешивались диалекты, стирались грани наречий. Зачастую исследователи фольклора пользовались различными знаками для обозначения одного звука или же, напротив, одной буквой пытались передать совершенно различные фонемы. Одним словом, белорусский язык ждал своего научного осмысления и систематизации.

Первая задача тесно сплеталась со второй. Евфимий Карский, готовя к публикации песни, записанные в селе Берёзовец, стремился как раз к максимально точной звукопередаче. Он пишет во вступлении к своей работе: «Прилагаемые песни записаны под моим личным наблюдением и проверены мною самим. При записывании главное внимание обращено на язык, на верную передачу звуков белорусского говора, отсутствием чего особенно страдают существующие сборники белорусских песен…».

Тексты, действительно, подготовлены очень тщательно. Во всех словах, состоящих из нескольких слогов, проставлено ударение, написание их максимально приближено к произношению. К редким и непонятным словам даны сноски, они объясняются в подстрочниках. В основном используются общепринятые буквы кирилловского алфавита (в том числе ѣ и ё), однако отсутствует буква **і** (везде только **и**). Крайне редко используется j (только в слове jим). «Буква ў означает полугласный у, как мы видим напр. в греч. дифтонге αυ», — поясняет автор во вступлении. Интересная деталь: во всех белорусских словах, имеющих окончание на твердую согласную, отсутствует ъ. В этом чувствуется школа профессора Брандта.

Итак, студент-филолог подготовил песни к публикации. Но кто же их первоначально записывал? Возникает предположение, что это был кто-то из близких людей, скорей всего, мать, но, может быть, и сестра. Им, разумеется, было легче общаться с крестьянками, проще уговорить их что-нибудь спеть. В семье Новицких вообще отмечается интерес к устному народному творчеству, умение записывать фольклорный материал. Так, во II томе сборника П. В. Шейна, заключающем в себе сказки, анекдоты, легенды, предания, пословицы, загадки и т. п., можно обнаружить немало таких вот пометок: «Зап. от Евдокии Манкевич М. Новицкая и сообщ. Е. Ф. Карским», «Зап. М. Новицкая. Сообщ. Е. Ф. Карский», «Зап. Ф. и М. Новицкими. Сообщ. Евф. Ф. Карским».

Несомненно, организатором, душой дела был Евфимий Карский, семья же охотно его поддерживала. Замечательная, дружная семья! И сколько пользы они

принесли своей деятельностью! Они зафиксировали бесценные крупицы народной словесности. Вскоре на Берёзовец обрушится страшная беда, от пожаров выгорит большая часть села, и погорельцам станет уже не до песен…

Едва Евфимий Карский приехал к родителям, как вдогонку из Нежина примчалось письмо. Оно сохранилось. Приведу его полностью со всеми особенностями орфографии:

Нѣжин 10 Іюня 1884 г.

Любезный Ефим Фёдорович!

Обращаюсь в Вам с просьбою. Будьте так добры просмотреть и поправить прилагаемый список бѣлорусских слов, как относительно ударений, так и относительно форм: это тѣ слова из Морфологии Миклошича насчёт которых у меня явились тѣ или другие сомнения.

Прошу не оставить ответом; дѣло впрочем не очень спѣшное, т. к. Сербскій отдѣл, за которым слѣдует Малорусскій, только что начат печатаніем.

Ваш Р. Брандт

Совершенно ясно: Р. Ф. Брандт тем летом продолжал редактировать перевод труда Ф. Миклошича, выполненный Николаем Шляковым, перебравшимся в столичный университет. И, как видно, на очереди уже был выпуск III, включавший языки украинский, белорусский и русский. Причем первые два австрийский славист совершенно произвольно объединил в один — малорусский. Р. Ф. Брандт по этому поводу заметит в примечании к главе V «Малорусский язык»: «…я никак не могу согласиться отнести к Малороссам и Белорусов, как делает М… следует прямо делить русскую речь на 3 отдела…».

Разумеется, молодой белорусовед, студент Е. Карский целиком поддерживал в этом вопросе своего профессора. Было ясно, что редактору выпуска предстоит своими примечаниями и пометками вносить в работу переводчика (а значит, мэтра славянского языкознания) существенные уточнения и поправки. Видимо, перед каникулами Р. Ф. Брандт и Е. Ф. Карский обсудили возникшие проблемы, и студент оставил профессору свой летний адрес для того, чтобы к нему можно было в любой момент обратиться за консультацией.

Ответы Евфимия Карского очень обстоятельны. Он стремится максимально точно передать звучание белорусских слов. Его научный аппарат, как становится ясно, уже готов к серьезной лингвистической работе: всюду расставляются ударения, зачастую, чтобы выделить отдельные звуки, используются апострофы, подчеркивания, для передачи нюансов вводятся буквы ***ӓ, j,*** а белорусское ***ў*** неизменно находится на своем законном месте. Уточняется не только звучание тех или иных слов, но и сообщается об их распространенности, указываются более употребительные формы падежей. Причем молодой белорусовед опирается не только на собственные наблюдения, но и на все известные ему источники — словарь Носовича, сборники Чечета, Дмитриева, Шейна.

Как выясняется, к лету 1884 года Е. Ф. Карский знаком уже практически со всей литературой, касавшейся живой белорусской речи. Более того: все перечисленные книги, очевидно, находились тогда при нем, он ими, несомненно, постоянно пользовался при подготовке своей фольклорной публикации, а также делая наброски своего итогового, «кандидатского», сочинения. О том, что работа над первой большой научной работой началась именно на каникулах после III курса, говорят такие строки из предисловия к книге «Обзор звуков и форм белорусской речи» (написанные, видимо, в конце 1885 года): «Настоящий труд был задуман автором года четыре тому назад, при первом знакомстве с записанными произведениями белорусского творчества и языка; но настоящую свою форму это сочинение получило лишь в последние полтора года. На странице 5, в списке источников сочинения, мы находим в основном те книги, на которые имеются ссылки в письмах к профессору Р. Ф. Брандту. А в пункте 12 видим «Белорусские песни села Берёзовца, Новогрудского уезда, Минской губернии». Ясно, что

одновременно с подготовкой песен к печати происходило и осмысление особенностей белорусской речи, выявлялись закономерности языка. Вместе с тем такой глубокий научный подход выводил фольклорные записи совершенно на новый уровень, придавал им значение научного исследования.

Из приписки ко второму письму можно заключить, что Евфимий Карский намеревался после 10 августа уехать из родительского дома. Видимо, тем летом он проехался по белорусским землям, посетил родственников и друзей. И всюду он прислушивался к живой речи, всюду стремился собрать интересный материал. К первой подборке песен села Берёзовец, под № 19, присоединена песня, как сказано в примечании, записанная в селе Бытче Борисовского уезда. При этом молодой, но уже набравшийся достаточного опыта языковед замечает: «По языку эта песня несколько отличается от предыдущих, именно более развита безударность *о* и *е*».

В двадцатых числах августа студент Карский появился в Нежине. Вероятно, тогда же его работа, с присоединенной последней песней, и была отослана в Варшаву.

Четвертый курс

На последнем курсе в 1884/85-м училось всего 13 студентов, в том числе 3 на историческом отделении и 3 на славяно-русском (Карский, Розов, Федоровский). Все они благополучно дойдут до выпускных экзаменов.

В отличие от предыдущих, лет в институтских «Известиях» уже не публикуется подробный отчет о состоянии и деятельности Института. Поэтому некоторые факты приходится собирать буквально по крупицам. Например, крайне трудно установить, какие именно дисциплины тогда преподавались IV курсу, как распределялось учебное время.

К сохранившейся тетради со студенческими работами Е. Ф. Карского подшиты конспекты лекций, озаглавленные:

Замечания
по
Сербскому языку.
Словенскому, ***чешскому и польск****.*
Проф. Брандт
1883/4 учебн. года
1884/5 учебн. года.

Как уже указывалось, третьекурсников профессор Р. Ф. Брандт ознакомил с сербским и словенским языками. Следовательно, на следующий год подошла очередь языков чешского и польского (они явно приписаны на титульном листе). В конце этого курса приведена таблица, из которой, на примере нескольких прилагательных, видны закономерности словоизменения в четырех разобранных языках, а также в староцерковном.

Профессор М. И. Соколов, несомненно, также читал выпускникам свой курс и вел практические занятия. В ходе подготовки настоящей книги были обнаружены воспоминания Е. Ф. Карского о лекциях Матвея Ивановича в Нежинском Институте. Воспоминания эти никогда не включались в список печатных работ академика, они просто выпали из поля зрения исследователей. Речь идет о трех страницах текста, без заглавия и подписи, в книге «Очерк десятилетней научной деятельности Славянской комиссии Императорского Московского Археологического Общества», в той его части, где рассказывается о научно-педагогических трудах Председателя Комиссии М. И. Соколова. Автора рассказа удается установить по подстрочному примечанию: «Характеристика курсов М. И. Соколова в Нежинском Институте обязательно была доставлена проф. Варшавского Университета Е. Ф. Карским…». Так вот из этих записок можно заключить, что студент

Карский в последний год прослушал курс Народной словесности. Кроме того, к концу учебного года он должен был представить профессору Соколову реферат по какому-либо древнерусскому произведению, т. е. так называемую клаузурную (окончательную) работу. Евфимий Карский решил написать сочинение о Максиме Греке.

Окончание учебы в Историко-Филологическом Институте для Евфимия Карского проходило, несомненно, на высоком творческом подъеме. Всё свободное время он уделял написанию своего главного труда, который в первоначальном варианте назывался «Обзор звуков и слов белорусской речи». Подход к работе был на редкость серьезный, основательный. Достаточно сказать, что во введении автор самым подробным образом перечисляет все земли, где слышится белорусская речь, и даже приблизительно вычисляет численность белорусского населения, в итоге получив примерно 4 миллиона. Затем он приводит полный список примет белорусской речи, после чего переходит к краткой характеристике отдельных говоров, особенно вычленяя два — юго-западный и северо-восточный. И только после этого он собственно и приступает к подробнейшему анализу всех звуков, представленных в белорусской речи. При этом он основывается не только на собственных наблюдениях, но и на материалах, собранных Шейном, Бессоновым, Носовичем и др., однако смело вносит в них исправления и уточнения, заявив: «…мы, раз сделав попытку научной передачи звуков, не остановимся на полдороге, а будем стараться так передавать звуки белорусские, чтобы каждый мог читать их правильно».

В октябре 1884 года вышел № 3 «Русского Филологического Вестника» с «Белорусскими песнями с. Берёзовец». Публикация очень сильная, в филологических кругах все, кто увлекался белорусским фольклором, несомненно, обратили на нее внимание. Конечно, привлекала строгая научность записи. Но для читателей оказалась интересна и смысловая, лирическая сторона собранных песен. Вот, например, фрагменты одной из песен (особенности печати сохранены):

4.

Ляцѣла сава́ пасяро́т сяла́.
Гэй порадзила ма́ци сына сокала́.
Яна́ порадзила, за́рас сповила́,
Гэй на дваццáтом го́ду ў слу́жбу подала́.

Брата провожают сестры, выводят и седлают его коня, спрашивают:

«Ах ты братко́-бра́цейка, ты бра́цейка наш,
Гэй кали ты бу́дзешь ў го́сциньках у нас?»

Но брат их не вернется живым, сложит в бою свою головушку.

Гэй запла́кала ма́точка, до́ма сидзючи.
Запла́кали сястрицы, ш шлюбу ѣдучи…

Этот номер «РФВ» открывался небольшой по объему, но очень содержательной статьей И. Недешева, посвященной как раз той же теме, которая волновала и Евфимия Карского, однако белорусская фонетика в ней рассматривалась главным образом в историческом аспекте. Статья и называется соответствующе: «Исторический обзор важнейших звуковых и морфологических особенностей белорусских говоров». В ней приводятся ценные сведения, в основном почерпнутые из древних актов и других рукописей, начиная с XIII—XIV веков. Разумеется, Евфимий Карский внимательно изучил так кстати появившуюся работу, и она сразу же была включена в список пособий, без которых было не обойтись при дальнейших углубленных исследованиях белорусской речи.

В течение последнего учебного года студент Карский провел в гимназии пробные уроки, видимо, по русскому и церковнославянскому языкам. Получил за

них 4. Вероятно, идеально подготовиться не удалось из-за нехватки времени. Все силы, конечно же, отдавались главному, итоговому сочинению.

В апреле 1885 года по всей Империи широко отмечалось 1000-летие кончины святого Мефодия. И в актовом зале Института по этому поводу в субботу, 6 апреля, состоялось торжественное собрание, на котором с речью «Святые Кирилл и Мефодий» выступил профессор М. И. Соколов. Речь эту студент Евфимий Карский, видимо, выслушал с огромным вниманием.

Лекции заканчивались. Начиналась горячая выпускная пора. Должно быть, в конце апреля или в первых числах мая Евфимий Карский представил профессору Р. Ф. Брандту свой объемный труд «Обзор звуков и слов белорусской речи».

Выпускные экзамены

В начале мая начались выпускные экзамены (как тогда говорили, окончательные испытания). Сохранились документы, в которых отражено, как это происходило.

«1885-го года Мая 4 дня, в комиссии под председательством г. Директора Института, произведен был экзамен по древним языкам выпускным студентам Карскому, Недыходовскому и Храпко. В частностях поименованные здесь студенты разбирали следующее:

1). По Вергилию — все трое сообщили главные данные о жизни и сочинениях поэта, а затем

а) ст. Карский изложил содержание IX книги Энеиды и прокомментировал место Aen. IX. 176 и след. Перевод комментируемого места Карский представил вольный, не передававший филологического анализа места.

2). По Цицерону а) студент Карский изложил содержание речи ***de provinciis consularibus*** *и прокомментировал §17 этой речи (студент затруднился выяснить синонимику некоторых слов)…*

4). По Гомеру — а) студент Карский, приготовивший к экзамену IV книгу Илиады, разбирал и сам, по предложению экзаменатора, отыскивал по всей рапсодии те места, в коих заметны следы ***F****. Указанный разбор был везде правилен, но случаев, в коих Гомер допускает зияние, всех перечислить Карский не мог.*

Ввиду сказанного, а также на основании письменных экзаменных переводов, по латинским и греческим языкам, комиссия постановила выставить на аттестатах отметки:

Карскому *— по Лат. языку 4, а по Греч. — 4…».*

У Н. Е. Скворцова, видимо, и невозможно было по древним языкам получить оценку выше 4, у двух других студентов (оба они почему-то с исторического отделения) положение еще хуже — сплошные «тройки».

Тем временем, внимательно ознакомившись с представленной Евфимием Карским работой, профессор Р. Ф. Брандт подготовил следующее обращение:

В Конференцию
Историко-филологического Института
князя Безбородко

Честь имею донести Конференции, что мне подано студентом IV курса Евфимием Карским сочинение «Обзор звуков и слов белорусской речи». Это обстоятельная и серьёзная работа, основанная автором на собственном знании языка своей ближайшей родины и на тщательном изучении источников и пособий, которыми он пользуется с разумною осторожностию.

Недостатком сочинения студента Карского я, кроме некоторых частных промахов и кое-каких стилистических неловкостей, считаю довольно длинное изложение истории белорусских областей, которое для разрабатываемой грамматической задачи совершенно излишне, т. к. достаточно было бы в двух

словах упомянуть о влиянии на белорусскую речь малорусской, польской и великорусской.

Представляя немало новых, или же стройнее расположенных, или лучше освещенных данных по белорусскому наречию, сочинение студента Карского, как я полагаю, вполне заслуживаю похвального упоминания на годичном акте, а после некоторых поправок, и напечатания в Институтских Известиях.

О. проф. Роман Брандт

14 мая 1885 г.

В протоколе заседания Конференции от того же числа отмечено, что этот отзыв профессора был заслушан, а затем вынесено определение: «…согласно этому отзыву удостоить сочинение студента Карского похвального отзыва и, после произведения автором некоторых поправок, напечатать в Институтских Известиях».

Наконец пришла пора сдавать экзамены по специальности.

«1885-го года, Мая 30 дня, в комиссии под председательством г. Директора Института, произведен был экзамен по русской словесности выпускным студентам славяно-русского отделения Карскому, Розову и Федоровскому. Из них Розов и Федоровский представили по названному предмету «кандидатские» сочинения… Клаузурные работы написаны были следующие:

ст. Карским: Максим Грек как русский писатель.

На коллоквии разъясняемы были студентами вопросы:

…Карским: жизнеописание Максима Грека; что побудило Максима Грека полемизировать с магометанами; о борьбе с латинством (о полемических сочинениях) до Максима Грека; о романтизме Жуковского; о поэтах-переводчиках нового времени; о прозаических сочинениях Жуковского.

Затем, в том же заседании, предложены были по истории славян вопросы:

…Карскому: о Карле IV-м.

По рассмотрении кандидатских сочинений, клаузурных работ и по обсуждении устных ответов, комиссия постановила по русской словесности выставить на аттестатах следующие отметки:

Карскому — 5

Розову — 4

Федоровскому — 3

Директор Института Н. Скворцов

Экзаменовал М. Соколов

Ассистент Р. Брандт».

После этого был проведен последний экзамен, по тому предмету, который Евфимий Карский больше всего любил.

«1885-го года, Июня 8 дня, в комиссии под председательством Инспектора Института, произведен был экзамен по Славянским Наречиям, выпускаемым студентам Карскому, Розову и Федоровскому. Из них Карский представил «кандидатское» сочинение «Особенности белорусского наречия».

…Постановили выставить по славянским наречиям на аттестатах отметки:

Карскому — 5

Розову — 3

Федоровскому — 3

За Директора Института Инспектор А. Добиаш

Экзаменовал Р. Брандт

Присутствовал М. Соколов».

Как видно, Евфимий Карский несколько изменил название своего сочинения, однако это не меняло сути: его познания и вклад в белорусоведение оценены очень высоко.

В тот же день состоялось заседание Конференции, на котором были подведены итоги испытаний выпускников.

«*Слушали:...*

4. Ведомость успехов выпускных студентов

Определили:

Удостоить Звания Учителя гимназии всех означенных студентов, а именно: 1)… 2)…

3) студентов славяно-русского отделения

Евфимия Карского, Федора Розова, Ивана Федоровского».

В Нежинском городском архиве сохранилась «Ведомость отметкам выпускных студентов 1885 года». Благодаря ей можно узнать, какой окончательный вид принял аттестат Е. Ф. Карского (к сожалению, сам этот аттестат утрачен). По языкам греческому, латинскому и немецкому — 4. Такая же итоговая оценка была и за преподавание в гимназии. А по остальным дисциплинам (Закону Божию, философии, педагогике и дидактике, русскому и церковнославянскому языку, русской словесности. славянским наречиям и литературам, всеобщей истории, русской истории) стояла отметка 5. За поведение, разумеется, тоже 5.

Лето 1885 года



Софья Николаевна Карская (урожденная Сцепуржинская).
Конец 1880-х годов. Вильно.

Евфимия Карского распределили в Вильно, во Вторую мужскую гимназию. Но направление еще должны были утвердить в Министерстве Народного Просвещения. Стояло лето, в разгаре каникулярное время. В Вильне делать было нечего, поэтому молодой человек отправился к родителям. Кроме аттестата о высшем образовании, видимо, вез он с собой рукопись своего кандидатского сочинения, а также журналы с публикациями песен, которые с таким энтузиазмом записывались в Берёзовце (вторая часть, включавшая 40 песен, появилась в № 2 «Русского Филологического Вестника» как раз в начале июня).

Можно представить, как порадовал родителей приезд их первенца, сколько восторга вызывал старший брат у младших членов семьи. В доме опять было полно народу: прибыли из Минска Николай и Иван. Старший, Николай, стал уже семинаристом: он успешно сдал экзамены за IV класс Духовного училища и был переведен в I класс Семинарии. К нему часто заезжали его товарищи по училищу — братья Сцепуржинские, дети о. Николая, настоятеля Преображенской церкви в местечке Цырин, что находилось в 12 верстах к югу от села Берёзовец. С Владимиром Сцепуржинским Николай учился в одном классе, тот тоже благополучно перешел в Семинарию. Несомненно, друзья всегда вместе добирались из Минска до родных мест. С ними приезжала на каникулы и Софья Сцепуржинская, старшая сестра Владимира, учившаяся в Минской женской гимназии. 13 июля 1885 года ей исполнилось 18 лет. Вот как она вспоминала впоследствии о той поре:

«В первый раз я увидела Ефима Федоровича, когда была гимназисткой предпоследнего класса, летом в деревне, в церкви.

Сестра моя, тоже гимназистка, сказала: «Смотри, какой красивый господин!» В конце лета мы были приглашены к нашим близким знакомым, жившим в семи верстах от нас, на танцевальный вечер. Там был и Ефим Федорович, так как его родители жили поблизости, а Ефим Федорович проводил у них лето. Было очень весело, я много танцевала. Ефим Федорович, как он после мне сказал, не решался со мной танцевать, так как «плохо постиг это искусство». Он пригласил мою младшую сестру Лену. Этот вечер решил мою судьбу…».

Софья Сцепуржинская, несомненно, завладела помыслами Евфимия Карского. И уже тогда, быть может, возникла мысль о женитьбе. *«Мне он тоже понравился, но о замужестве я в то время не думала»*, — признается Софья Николаевна много лет спустя. До решительного объяснения и сватовства было еще далеко.

В июльском номере «Циркуляра по Виленскому учебному округу», в разделе «III. Министерские распоряжения», появилось сообщение:

«Студенты Нежинского историко-филологического института князя Безбородко Евфимий Карский, Александр Любский и Николай Недоходовский назначены г. министром народного просвещения, с 1 июля, на должности учителей русского языка и словесности: первый — в Виленскую 2-ю гимназию…».

В середине августа Евфимию Федоровичу необходимо было ехать к месту службы. К этому времени он уже внес все необходимые исправления в свой труд и отослал рукопись по почте в Нежин, профессору Р. Ф. Брандту. Тот ответил в последний день лета: *«Письмо ваше я получил намедни, посылку — сегодня»* (из письма от 31 августа 1885 г.).

Теперь оставалось только провести через Конференцию Института окончательное решение о публикации. Это хлопотное дело профессор взял на себя.

В последнем авторском варианте труд назывался «Обзор звуков и форм белорусской речи».

Продолжение следует.



ГЕОРГИЙ ПОПОВ

Откуда течет «Нёман»*

19 августа 1975 г.

Давненько не брал в руки этой записной книжки. Поездки в Югославию, а потом в Сибирь выбили из привычной колеи. Путешествия дают впечатления, но они вместе с тем отнимают время, которое чем дальше, тем дороже.

Поездку в Сибирь Валентина назвала грустной. И она, действительно, была такой. Прощание, прощание... С живыми и мертвыми. Впрочем, грустно и другое. Сибирь не только созидается, но и разрушается помаленьку. Городки, расположенные на железной дороге, кажется, стали еще грязнее и деревяннее. Дорог, как и раньше, мало. Снабжение отвратительное — даже туфель сносных в магазине не купишь.

Зато тайга — сплошное великолепие. Особенно в начале июля, когда она вся в цвету. Недаром Воруй-город (так в Красноярске зовут огромный дачный поселок) теснит ее, врубается в дебри, норовит забраться повыше, к вершинам гор.

— Тех, кто внизу, через десять лет снесут, — там будет микрорайон, — а мы останемся!... — вот так рассуждают жители Воруй-города.

Здесь, дома, тоже грустно. Аленка как завлит Театра имени Янки Купалы чувствует себя не в своей тарелке. Наташка, Толька и Юлька уехали на море, в какую-то Ново-Алексеевку... Валентина болеет. Ко всем ее хворобам прибавилась еще одна — почечно-каменная болезнь. Только этого нам и не хватало!

А тут еще Макаенок разбушевался, как Фантомас. Прет в журнал всякую чепуху, то, что не идет в других местах. То пьеса Матуковского, то записки Тимошенко, то киносценарий Шабалина и Ампилова, то пьеса Мирошниченко, то какая-то статья, где хвалят его, Макаенка... И все это вне очереди, вне плана, иначе авторы — его друзья и должностные лица — обидятся.

Вчера битых полтора часа сидели и гадали, когда дать пьесу Мирошниченко. Коли двенадцатый номер этого года занят киносценарием Шабалина и Ампилова (Кудинов измучился, пока привел его в божеский, грамотный вид), то я предложил дать пьесу в третьем номере будущего года. Макаенка это никак не устраивало. Как же — слишком долго ждать! И пришлось согласиться на второй. Хорошо еще, что не на первый!

— Хреновина получается, Василий Иванович! — напомнил я ему слова мужика из фильма о Чапаеве.

Но Макаенок на них никак не прореагировал. Возможно, решил, что к нему это не относится.

28 октября 1975 г.

Заседание редсовета издательства «Мастацкая літаратура». Рядом со мною сидит Янка Брыль. Улучив момент, шепчет на ухо:

— «Литгазета» отобрала на страницу подборку моих рассказов. Я читал врезку — там сказано, что полностью цикл будет напечатан в «Немане».

* Продолжение. Начало в № 12, 2010 г., № 1, 2, 3, 4, 7, 2011 г.

Я кивнул (об этом, то есть о публикации в «Литгазете», мы уже говорили по телефону) и в свою очередь сказал:

— Нам хотелось бы проиллюстрировать ваши рассказы, Иван Антоныч... Кто из графиков вам больше по душе?

— Я люблю Кашкуревича, — ответил Брыль и тут же добавил: — Но вы не говорите ему об этом. Закажите, пусть делает, но не говорите, что это я подсказал.

4 ноября 1975 г.

Вчера приехала жена Твардовского — Мария Илларионовна, — и мы втроем (Макаенок, Жиженко и я) ходили к ней в гостиницу «Минск».

Я почему-то ожидал увидеть пусть и пожилую, но высокую, со следами былой красоты женщину... Жену поэта! А перед нами предстала неполная, однако же и не худая старуха, совершенно седая, с обвислыми щеками, с бледными, почти совсем бесцветными глазами.

Поздоровались. Она пригласила проходить, садиться. Но в номере 254 оказалось всего два стула, поэтому ей самой и Жиженко пришлось сидеть на кровати.

Мы передали ей корректуру переписки, вернули фотографии (она просила об этом), показали несколько раздобытых Шакинко снимков, чтобы получить ее одобрение на публикацию. Рассматривая незнакомые снимки, Мария Илларионовна вслух комментировала:

— Это Корнейчук и Грибачев... Этот, с Якубом Коласом, разве не публиковался?.. А здесь кто?.. Я что-то плохо вижу...

Я сказал, что в центре Александр Трифонович, справа Орест Верейский, а слева работники редакции газеты «Красноармейская правда».

— А Миронова среди них нет?

Я сказал, что Тимофея Васильевича Миронова, редактора «Красноармейской правды», а позже — газеты «Знамя Победы», на этом снимке нет. Мне довелось работать с ним (уже после войны), и я его хорошо знаю.

— Тогда и этот можно печатать...

Глянув на корректуру, Мария Илларионовна обратила внимание на заголовок: «Мой славный, дорогой друг»... Он показался ей несколько претенциозным.

— Вы поймите, Александр Трифонович, как и Михаил Васильевич, не терпели ничего претенциозного, никаких громких слов, фраз... Вспомните заголовки стихов Александра Трифоновна: «Про Данилу», «Еще про Данилу», «Про теленка»... А вы — «славный, дорогой»... Поставьте «Переписка двух поэтов» и все.

Согласились, хотя мне лично, да и Жиженко тоже, «переписка двух поэтов» совсем не нравилась. У нас было журнальнее.

Пришлось согласиться и с требованием насчет фотографии. Во вступительное слово, написанное самой Марией Илларионовной, мы вверстали фотографию молодого Твардовского. Она возразила: печатать надо или фотографии обоих поэтов, то есть Твардовского и Исаковского, — или не печатать ни того, ни другого.

Во время разговоров (а они продолжались часа полтора) я наблюдал за гостьей. Простоволосая, одета очень просто — темно-синий костюм и такой же темно-синий жилет почти до колен... Чулки простые, дырявые — не успела заштопать, а может, и не находила нужным штопать... Ноги больные, под чулками венозные узлы.

Вспомнился рассказ Евтушенко про Жаклин Кеннеди. Будучи у нее в гостях, он, Евтушенко, заглянул в ванную — помыть руки... Смотрит — висят заштопанные и постиранные чулки. Вернувшись, он будто бы воскликнул: «Жаклин, вы штопаете чулки?!» Она смеясь ответила: «А вы что, не считаете меня за женщину?»

Впрочем, Мария Илларионовна во всех отношениях не Жаклин Кеннеди, и рассказ Евтушенко (может быть, и не совсем правдоподобный) пришел на память так, скорее некстати, чем кстати.

6 ноября 1975 г.

Встречал Твардовскую Аркадий Кулешов. Он же взял на себя устроить поездку гостьи в Хатынь и на Курган Славы. Но поездка не состоялась — не нашлось машины. Кулешов к Макаенку: «Организуй!» Мы могли бы «организовать». Однако 4 ноября выпал снег, ехать было скользко, и пришлось отказаться.

И билет на поезд Кулешов сначала вызвался купить сам, а потом видит, что это сделать нелегко, переложил на Макаенка, Марии Илларионовне нужен был так называемый СВ, а места в этом вагоне все были забронированы, и нам пришлось обращаться к Саше Приходько, помощнику Сурганова. Тот все обделал за пять минут.

Это было четвертого. А пятого мы с Макаенком повезли билет в гостиницу.

Тот же номер, те же стулья... Мария Илларионовна встретила, приветила. Макаенок передал ей билет, она поблагодарила, спросила, сколько он стоит, достала из сумочки двадцатипятирублевую бумажку. Макаенок порылся у себя в кошельке и протянул ей семь рублей сдачи.

— Подарков накупила... Так уж принято! Вот это дочерям, а это себе... — Она показала на красивые плетеные корзиночки — конфетницы и хлебницы, лежавшие на кровати. Перед нашим приходом Мария Илларионовна старалась упаковать их, всунуть одну в другую, но это ей не удалось.

Я опять сидел против нее, смотрел на нее, и в этот раз она показалась мне доброй, славной, симпатичной старухой. Наверное, в молодости она была если не красивой, то привлекательной. Иначе чем же объяснить, что поэт Твардовский, пусть не певец любви, но все же поэт, настоящий поэт, влюбился в нее и навсегда связал с нею свою жизнь и свою судьбу.

Разговор все время вертелся вокруг писем, статей и очерков, публиковавшихся в газете «Красноармейская правда», воспоминаний, которые она собрала и которые предстоит еще собрать.

Когда ехали в гостиницу, Макаенок рассказал (со слов Аркадия Кулешова), что ее дочка, Ольга Александровна, написала и распространила в зарубежной печати статью, в которой отмежевывает Твардовского от Солженицына. Статья вызвана тем, что Солженицын стал спекулировать своими связями с Твардовским и зачислил его чуть ли не в свои единомышленники.

Мать одобряет поступок дочери.

Я спросил, сколько экземпляров «Немана» ей выслать. Она сказала, что лучше всего десять оттисков и три журнальные книжки. Этого вполне хватит.

— Получается чертова дюжина!

— А мне как раз нравится эта цифра! — с улыбкой заметила Мария Илларионовна.

Потом опять коснулись Александра Трифоновича, его стихов, прозы. Коснулись вот почему. Мария Илларионовна привезла два экземпляра книги, в которую входит проза Твардовского. Один она подарила Аркадию Кулешову, второй — Макаенку. Смущенно глядя на меня, сказала:

— А вы напишите мне свой адрес, я вам вышлю из Москвы...

Я написал на листе, вырванном из блокнота, и подал ей. Мария Илларионовна спрятала листок в сумочку.

Потом я спросил, знает ли она о форуме в Загребе, состоявшемся в мае этого года. Оказалось, не знает. Я в двух словах передал, что это был за форум, между прочим заметил, что с докладом о Твардовском выступал профессор Сорбонны некто Леон Робель, который провел мысль, что при жизни Твардовский не пользовался у нас в Советском Союзе достаточной популярностью. Я возразил ему, привел доказательства.

— Как же! — подхватила Мария Илларионовна. — Александра Трифоновича очень любили. Знали бы вы, сколько мы получали писем в последние десять лет его жизни. Успевали отвечать только на каждое двадцатое письмо. И какие теплые, сердечные, задушевные письма! — И вдруг заплакала. То была бодра, даже весела, а тут вдруг заплакала.

Мы поспешили перевести разговор на другую тему. Я сказал, что, может, все-таки оставить портрет Александра Трифоновича. А портрет Михаила Васильевича мы дадим потом, во втором номере. Мария Илларионовна ни в какую.

— А что подумают мои знакомые москвичи?

— А вы им скажите, что в «Немане» сидят такие вахлаки... И что вы здесь ни при чем.

Она добродушно улыбнулась:

— Не поверят! Прежде чем предложить вам эти письма, я спрашивала у знакомых, что это за журнал — «Неман»... И все дали мне самую положительную характеристику. Хороший, серьезный, популярный... Так что не поверят! Скажут, это я настояла.

Мы распрощались и вышли.

9 ноября 1975 г.

К хронике Валентина Катаева «Кладбище в Скулянах» можно было бы поставить подзаголовок: «Сто лет служения царю и отечеству»...

Книга производит странное впечатление. Все хорошо, все верно. Автор задался целью напомнить русским о России — и достиг цели. Когда читаешь эпизод у Царьградских ворот, на память приходит Достоевский: «Константинополь рано или поздно, а должен быть наш!»

Вместе с тем в душе остается осадок, замешенный на горечи и досаде. Ну ладно, вы, господа хорошие, то есть не вы, а ваши предки заботились о славе России, о ее целостности, чести и достоинстве, спасибо вам за это... А где же в это время были мы? Мои предки? Мы, что ж, сидели на печи и лаптем щи хлебали?

И еще... В 1937 году тот же Валентин Катаев писал: «Я — сын трудового народа...» А сейчас пишут, что он сын потомственных дворян и потомственных же священнослужителей...

18 ноября 1975 г.

Вчера Макаенок предложил:

— Поедем на дачу. Посмотришь.

Поехали. Взяли с собой Бронислава Спринчана. Вот и сосняк, потом дачный поселок, в котором довольно удобно разместились писатели, актеры и прочие избранные мира сего. Одни из них нажили капиталы трудом, другие талантом, третьи... третьи бог знает чем.

Непривычно, странно было видеть пустое место там, где некогда стояла двухэтажная дача из дуба, заметно выделявшаяся на общем фоне. Зато рядом, в глубине сада, где росли чудесные яблони, сейчас поднялся... мало сказать — домина, каких поискать... Поднялась настоящая крепость!

Оля, шофер машины, закрепленной за редакцией «Немана», так и сказала:

— Крепость!

Кирпичные стены полуметровой толщины, крыша под оцинкованным железом, окна, похожие на бойницы, тяжелые двери... Внутренняя планировка только наметилась: наверху — кабинет, обращенный окном к сосновому лесу, и спальня — окном на юг, на солнце. Внизу — зала, как сейчас говорят, просторная, хоть волков гоняй, и еще какие-то помещения.

Печь будет обогревать и первый, и второй этажи.

Да это не просто дача — это крепость, замок в стиле века, тяжеловесный и помпезный, с претензией не столько на удобства, сколько на роскошь.

Когда мы втроем поднялись на второй этаж — по лестнице-времянке, — я сказал:

— Какие же пьесы, Андрей, ты должен писать в этом дворце!

Макаенок нахмурился:

— Здесь я буду не писать, а читать пьесы. Писать поздно. Склероз начинается.

3 декабря 1975 г.

Вчера звонок.

— Где Макаенок? — спрашивает Кудравец.

— В Гомеле. А кому он понадобился?

— Марцелев приглашает...

Кладу трубку. Я догадываюсь, зачем понадобился Макаенок, и сижу у телефона. Жду, когда к Марцелеву позовут меня.

И правда, позвали.

— Георгий Леонтьевич, если Макаенка нет, Марцелев просит прийти вас.

Одеваюсь, иду. В здании ЦК стою в ожидании, когда спустится лифт. Вдруг подходит Александр Тимофеевич Короткевич.

— Как живется? Как работается?

Говорю, что по-всякому бывает. Иногда и трудненько. Как сейчас, например.

— Что, переписку Твардовского с Исаковским захотели опубликовать? — смеется.

Поднимаемся на четвертый этаж. Вхожу к Кудравцу.

— Насчет переписки? — спрашиваю.

— Не знаю, — пожимает плечами.

Вот тебе раз! Зав. отделом науки ЦК знает, а работник отдела культуры не знает... Ну да бог с ним. Предположим, что и не знает. Идем к Марцелеву. Станислав Викторович подает руку, показывает на стул:

— Садитесь!

Сажусь.

— Плохой подарок вы делаете съезду! — с места в карьер. И тут же, не дав мне рта раскрыть: — Почему редакция журнала «Наш современник» отказалась печатать письма Твардовского и Исаковского?

— Я впервые слышу об этом... По имеющимся у меня сведениям, Мария Илларионовна, жена Твардовского, никуда, кроме «Немана», не предлагала эти письма.

— Ну, это мы уточним... Надо перенести переписку на послесъездовские номера. Ну, скажем, на четвертый. Сейчас она просто не ко времени.

Я стал возражать, говоря, что Твардовский — это такая фигура, которая всегда ко времени, сказал о борьбе, которая ведется вокруг его имени, вспомнил и о письме Ольги Александровны, дочери поэта...

— Что за письмо? — спросил Марцелев.

Пришлось объяснить, пересказать содержание. Кстати, накануне у нас в редакции был Борисов (Рожков) и подтвердил, что письмо, действительно, существует, оно было опубликовано в западной коммунистической печати.

— Все равно... Надо перенести... Не снять, а перенести... И сделаете это вы сами, редакция...

— Что ж, надо так надо.

— Макаенку можете передать наш разговор. Жене Твардовского не звоните, пусть это сделает Макаенок. Вернется из Гомеля, мы еще с ним поговорим. — И показал корректуру первого номера журнала «Неман»: — Вот ваши грехи!

Я попросил:

— Может, я заберу... Нам же надо работать над номером, переверстывать.

— Не-ет, это пусть полежит у нас!

...Что ж, не привыкать. Как только среагирует на это Мария Илларионовна? И что скажут (а не скажут, так подумают) те читатели и почитатели Твардовского, которым мы в двенадцатом номере сообщили о предстоящей публикации? И что вообще значит вся эта история? У меня все время такое чувство, как будто в спину и в лицо (когда как) дует знобящий ветерок тридцать седьмого года...

8—15 декабря 1975 г.

Звонит Макаенок. Рассказываю ему, как все было. Взрывается:

— Я пойду... Я откажусь... Я не хочу быть главным редактором... Не хочу!

Когда успокоился, стали судить-рядить. Вспоминаю, что кое-что важное я не сказал Марцелеву, — не сказал, в частности, что в двенадцатом номере мы сообщили о предстоящей публикации... Макаенок хватается за эту мысль и решает идти в ЦК, в самые высшие инстанции.

* * *

У кого он побывал — не знаю. Из разговоров ясно только, что все на нашей стороне. Даже Марцелев колеблется: а не хватил ли, дескать, через край?!

Но решать никто не хочет, то есть, попросту говоря, никто не хочет брать на себя ответственность. Вот придет А. Т. К. — он и решит, и возьмет. Во всяком случае, у Макаенка нет никаких сомнений на этот счет.

Ждем день. Ждем второй. Ждем третий. Наконец приезжает А. Т. К. (он ездил зачем-то в Индию), и ему немедленно (через Шабалина) передают корректурные оттиски переписки Твардовского и Исаковского.

Дело было в прошлую пятницу. Когда я уходил домой, Макаенок сказал:

— Я тебе позвоню... завтра...

И правда, позавчера, в субботу, раздается звонок. Беру трубку. Голос у Макаенка мрачноватый. Значит, ничего не выходит.

— Как настроение? Светлое, как этот день? А у меня хуже некуда... А. Т. К. прочитал и говорит, что надо ехать в Москву — к Маркову, Озерову и Шауро. Только они могут дать санкцию. Без них нельзя.

— И как же теперь?

— Надо ехать. В воскресенье поеду, чтобы в понедельник побывать и в Союзе, и в ЦК, если понадобится. Из Москвы, как только все решится, я тебе позвоню.

* * *

Тогда же, в субботу, часа два или три спустя, — новый звонок:

— Я тут думал, думал... Нет смысла в воскресенье ехать. Дело в том, что в понедельник начинается съезд писателей Российской Федерации, значит, все они — и Марков, и Озеров, и Шауро — будут на съезде. К ним просто-напросто не подступишься. Ехать надо — мне или тебе — позже, числа семнадцатого-восемнадцатого, когда они освободятся. А сейчас бесполезно.

— А зачем ехать? Позвони Маркову или Озерову, — вопрос настолько простой, что его можно решить и по телефону. Ты — Маркову, а А. Т. К. пусть позвонит Шауро. Ему это еще проще.

— А что? Это идея! Завтра же свяжусь с Озеровым. Телефон (новый телефон) у Шамякина есть. А потом я позвоню тебе, расскажу, как и что.

* * *

Сейчас понедельник. Утро. Звонка нет и нет. Боюсь, что его и не будет.

17 декабря 1975 г.

Звонил — и не дозвонился. Ни до Маркова, ни до Озерова. Значит, надо ехать. Мария Илларионовна прислала письмо на имя Жиженко — уточняет некоторые детали, содержащиеся в переписке. Спрашивает, почему задерживается корректура второго номера.

Макаенок предложил поехать мне. Я отказался. Во-первых, это требует денег, которых у меня нет. Во-вторых, и до Маркова, и до Шауро сам Макаенок «дойдет» скорее, чем я. И наконец, в-третьих, 4 января мне предстоит поездка на пленум по фантастике и приключениям. А зачем же — два раза подряд! Накладно во всех отношениях!

19 декабря 1975 г.

Макаенок тянет время. Вчера поздно вечером звонит: так и так, дескать, встречался с самим, то есть с Машеровым, и все равно ничего не выходит. Нужна санкция Москвы.

Мотивы? Да очень простые! Переписка двух больших русских поэтов печатается где-то в Минске... Почему? Столичные журналы отказались печатать, да? А если отказались, то, опять же, — почему?

Вчера же, только не вечером, а днем, в редакции у нас был Ан. Гречаников. Посидели, потолковали... И в разговоре вдруг выяснилось, что сделка-то с Мирошниченко заключена выгодная. Выгодная для нас, белорусов. Дело в том, что мы-то печатаем одну пьесу (самого Мирошниченко), а журнал «Театр» (все тот же Мирошниченко) — две сразу: пьесу Макаенка и пьесу Шамякина! Вот как!

Не продешевили — и то хорошо!

* * *

Оказалось, с Машеровым разговаривал не сам Макаенок, а А. Т. К. Он-то и передал мнение Машерова насчет переписки.

25 декабря 1975 г.

Макаенок съездил-таки в Москву. Разговаривал с Марковым, Верченко и Долговым, работником сектора литературы ЦК КПСС. Все одобряют и поддерживают. Марков будто бы сказал:

— Мы же вас печатаем, почему вам не печатать нас?

В тот же день Макаенок позвонил мне. Попросил связаться с Марцелевым и сказать, что все улажено, будем печатать. Я так и сделал, то есть взял и позвонил, полагая, что этого будет достаточно. Но в ответ слышу:

— Знаю... Я тоже разговаривал с Долговым... Странно, но мне он говорил другое... Я не против, нет, но — давайте еще подождем и подумаем...

Через день является сам Макаенок. Договариваемся печатать с третьего номера. Звонит все тому же Марцелеву. Однако тот... тот и не против и... против. «Погодите... Не спешите... Давайте еще подумаем и посоветуемся...» С кем? Неизвестно.

Между прочим, Макаенок ехал из Москвы в одном вагоне с Шауро. Само собой разумеется, рассказал ему историю с публикацией. Шауро подумал, подумал и говорит: «А зачем вам печатать эту переписку? Зачем вообще ее печатать?» Вот тебе раз!

Я посоветовал Макаенку:

— Позвони Маркову... Попроси обратиться к кому-либо через голову Шауро... — Но Макаенок только «посмотрел лукаво и головою покачал».

26 декабря 1975 г.

Только что позвонил Макаенок. И — сразу, без предисловий:

— Хочу сообщить тебе пренеприятное известие... Так, кажется, у классика? Так вот, пять минут назад состоялся телефонный разговор с одним ответственным товарищем...

— С Марцелевым? — спрашиваю.

— Да, с Марцелевым... И этот ответственный товарищ в самой категорической форме заявил, что переписку Твардовского и Исаковского надо... не отложить, нет, — снять... навсегда снять... Снять, выкинуть и забыть...

...Что ж, по крайней мере, все ясно.

30 декабря 1975 г.

Наташка принесла от Кудравцов «Раковый корпус» А. Солженицына. Кудравцам дал почитать эту книгу Мих. Шимановский, собкор «Известий». А где тот взял, одному аллаху известно.

На книге — надпись: «Дорогому Эдику в память наших встреч в Сан-Франциско X—5—70 от Лёки и Иры». Кто такие Лёка и Ира? Какое отношение они имеют к Эдику, а сей последний — к Мих. Шимановскому?

Впрочем, все это праздные вопросы, хотя они и приходят в голову, когда листаешь книгу. Главное же — сама книга, «повесть в двух частях», как указывается в подзаголовке, ставшая своего рода притчей во языцех.

Первой прочитала Наташка. Потом ухватились Валентина и Аленка, но Аленка до конца не дочитала — времени было в обрез. Я прочитал три куска (страниц по пятьдесят) — в начале, в середине и в конце. В общем мнения сошлись: Солженицын спешил, многое не продумал, к тому же его толкала под руку злоба (или озлобленность, что, в сущности, все равно), и повесть получилась неряшливой, поверхностной и в конечном счете, так сказать, маловысокохудожественной.

Непонятно, как Твардовский принял, пусть и с оговорками, такую повесть!

Говорят, Солженицыну предлагали сократить несколько особенно злопыхательских абзацев — он наотрез отказался, — и дело расстроилось. Но мне кажется, никакие сокращения эту повесть не спасут. В раскрытии этой темы нужны объективность, трезвый взгляд на вещи, то есть нужны качества, которых нет и быть не может у Солженицына. В этом вся беда.

* * *

Макаенок опять ходил в ЦК. Звонит оттуда — возбужденный, радостный:

— Наконец-то пробил!.. Не расходитесь, я сейчас буду, все расскажу...

Скоро является. Оказалось, был у А. Т. К., и тот принял вот уж поистине Соломоново решение: договорился с Вадимом Кожевниковым, чтобы тот напечатал переписку Твардовского и Исаковского, а мы... перепечатаем. Таким образом, в «Знамени» переписка пойдет в 4—5—6 номерах, в «Немане» же — 5—6—7...

Мы так и ахнули. И это называется — пробил, одержал победу... Если это победа, то что такое поражение?

31 декабря 1975 г.

...Первый номер «Немана» печатается тиражом 126 000 экз. А начиная со второго номера, тираж устанавливается в 100 000 экз... Это значит, что ликвидируется вся или почти вся розница.

* * *

Год прошел — трудный год!

На нас давили со всех сторон. Некоторые товарищи из ЦК (Парахневич, Кудравец) требовали, чтобы мы больше давали переводов с белорусского. Впрочем, после того, как мы дали рассказы Парахневича, последний успокоился.

Макаенок со своей стороны проталкивал всякую серость, руководствуясь приятельскими и всякими иными соображениями. Когда подумаешь, какой чепухой мы потчевали читателя, — стыдно и горько становится.

Но — ничего — перетерпим-перетрем, как говаривал Василий Теркин.

Поездка в Москву.

5 января 1976 г.

Приехал утром. Остановился в гостинице «Москва», где для меня был забронирован номер.

Двенадцать часов. Звоню в журнал «Знамя». Никого... Наконец созваниваюсь с ответственным секретарем, узнаю, что все дела, связанные с публикацией переписки Твардовского и Исаковского, Кожевников поручил своему заместителю Валентину Осиповичу Осипову. «Но с Твардовскими утрясайте сами», — передал ответственный секретарь слова главного.

Я хотел было уже положить трубку, как вдруг услыхал:

— Одну минутку... Кажется, это Вадим Михайлович... Сейчас он сам с вами поговорит...

Через минуту трубку взял Кожевников. Да, это хорошо, что переписку предложили журналу «Знамя», они будут печатать, что касается деталей, то о них следует поговорить при встрече. Приходите к двум — будет Осипов, вот с ним и обговорим все, и условимся обо всем.

Я завожу разговор об условиях публикации. Если «Знамя» опубликует всю переписку, то «Неман» окажется в глупейшем положении: у читателей сложится впечатление, что мы просто-напросто перепечатали, причем перепечатали неизвестно зачем и почему. Кожевников согласен — согласен, как я предлагаю, опубликовать часть переписки (примерно две трети), с тем чтобы мы опубликовали всю переписку, без каких-либо изъятий.

— А с Твардовскими все утрясайте сами, — снова напоминает Кожевников.

Два часа. Пушкинская площадь, Тверской бульвар... Вот и редакция журнала «Знамя». В коридорах мебель, какие-то доски — ремонт в полном разгаре. Поднимаюсь на второй этаж. Из кабинета ответственного секретаря попадаю сразу к Осипову. Молодой, лет под сорок, сдержанный. Мне показалось, что в нем есть что-то от комсомольского работника. Правильного работника. Этот знает, что надо, а чего не надо печатать, подумалось мне.

Но и Осипов, при всей своей сдержанности, не может скрыть удовлетворения тем, что переписка попала в «Знамя». Как я понял из разговора, прозы нет, публицистика поневоле однообразна... Переписка — это тот «гвоздь», который укрепит престиж журнала, поднимет его в глазах читателя.

Снова завожу речь о том, чтобы «Знамя» опубликовало лишь часть переписки. Осипов соглашается. А немного спустя, когда приходит сам Кожевников, обговариваем и некоторые детали. В частности, я прошу, чтобы «Знамя» хотя бы одной фразой отметило, что полностью переписка печатается в «Немане». Кожевников предлагает вариант: они, знаменцы, закажут послесловие кому-либо из поэтов... ну, скажем, Николаю Тихонову, и тот отметит, подчеркнув при этом связи обоих поэтов с Белоруссией, с белорусской литературой.

Когда Кожевников ушел — готовиться к какому-то докладу, — Осипов поинтересовался, как мы будем платить за переписку. Я сказал, что Марии Илларионовне, вдове Твардовского, за вступление заплатим 200 рублей аккордно, за текст писем Твардовского по 225 руб. за лист — она, как наследница, получит, по новому положению, 38 проц. от этой суммы. За письма Исаковского, естественно, получит вдова Исаковского. Осипов попросил ответственного секретаря записать все эти цифры.

Возвращался в гостиницу пешком. По пути зашел на телеграф и позвонил Аленке, сказал, где остановился, в каком номере. А из гостиницы — и Твардовским. Марии Илларионовны дома не оказалось. К телефону подошла Ольга Александровна, дочь поэта. Она сказала, что мать будет завтра и что звонить ей лучше с часу до четырех-пяти.

6 января 1975 г.

С утра в Малом зале ЦДЛ собрался Совет по приключенческой и научно-фантастической литературе. Пришлось выступить и мне. Как только объявили перерыв, поспешили в гостиницу. Набираю номер. Жду. Трубку берет внук Твардовского. Прошу позвать бабушку. И — первый вопрос:

— Что случилось? Что могли найти в переписке?

Говорю, что по телефону обо всем не расскажешь, тут целая Одиссея, и договариваюсь о встрече. Мария Илларионовна долго объясняет, как найти их квартиру. Я записал основные координаты, быстро оделся и вышел.

Красная площадь, гостиница «Россия», дом на Котельнической набережной. Высотный дом, неуклюжий и тяжеловесный, типичный памятник своему времени... Вхожу во двор левого крыла, поднимаюсь в лифте на третий этаж, нажимаю на кнопку звонка 125-й квартиры. Открывает Мария Илларионовна.

— А-а, проходите... — улыбается гостеприимно.

В прихожей раздеваюсь, прохожу в кабинет, довольно просторный, обставленный небогатой мебелью, которая показалась мне старомодной. Письменный стол, мягкий диван, мягкое кресло, «кофейный» столик посередине кабинета, книжная полка во всю стену... Вот и все.

Сначала разговор идет о посторонних делах. Мария Илларионовна присаживается на диване и отвечает на мои скупые вопросы. Да, это и есть кабинет Александра Трифоновича. Впрочем, он не любил этого дома и этой квартиры и бывал здесь мало, лишь когда задерживался в Москве по случаю собрания, заседания или еще какого-нибудь дела. А так больше жил, да и работал, на даче, это километрах в тридцати от Москвы.

— Здесь ему и погулять-то негде было, — мельком замечает Ольга Александровна, входя в кабинет и спрашивая, что нам приготовить — чай или кофе.

Мы переходим к «кофейному» столику. Подбегает шестилетний Андрей, внук поэта, и сует нам — бабушке и мне — конфеты с елки. Мария Илларионовна замечает, что это ему подарили в Кремлевском Дворце съездов. «Можно сказать, от себя отрывает!» — улыбается она. Ольга Александровна подает кофе, коржики, ватрушки, вазу с конфетами.

— Сами пекли?— спрашиваю, показывая на ватрушки.

— Сама, — кивает Мария Илларионовна и немного погодя наконец приступает к главному: — Так что же случилось? Что помешало публикации переписки?

Объясняю — коротко — все по порядку. Какие возникли сомнения (переписка двух больших русских поэтов никого не заинтересовала в Москве, поэтому и печатается в Минске), как Макаенок ездил в Москву, словом, все как было, упуская лишь некоторые подробности, совсем не существенные.

— Я так и знала! — улыбается Мария Илларионовна.

— А я что говорила? — вступает в разговор и Ольга Александровна.

Потом я перехожу к самому трудному, то есть к знаменскому варианту. Перед тем как изложить суть дела, замечаю, что этот вариант представляется мне вполне приемлемым, даже, может быть, выгодным. Журнал «Знамя» опубликует две трети переписки, а «Неман» — полностью. С Кожевниковым мы уже переговорили, он согласен.

И тут, замечаю, Мария Илларионовна меняется в лице, становится сухой, мне показалось, что на глаза у нее навернулись слезы. Не дав мне досказать, она возмущенно произносит:

— Кожевников... Этот аморальный тип! — Она сделала паузу, точно хотела перевести дух, и продолжала: — И он... он будет печатать письма Александра Трифоновича! Нет, этого я не допущу! Из уважения к памяти Твардовского и... из чувства собственного достоинства! — Она нервно встала, прошлась и снова подсела к столику.

Наступила неловкая пауза. Я сидел, ошарашенный, и не знал, что сказать. Дело принимало скверный оборот. Молчание нарушила Ольга Александровна.

— И малограмотный к тому же! — мягко, с улыбкой сказала она, имея в виду Кожевникова. — Знаете, — глянула на меня, — он когда-то подарил папе свою книжку с такой надписью: «Саше Твордовскому...»

Спрашивать, в чем выразилась аморальность Кожевникова (обвинение слишком серьезное), было неудобно. Поэтому я решил перевести разговор в другое русло. Мол, Кожевниковы приходят и уходят, а журналы остаются. Да, в конце концов, главное в данном случае — опубликовать письма, представляющие огромный общественный интерес, а где, в каком журнале — разве так важно?.. Я думал иначе, говорил не то, что думал, поэтому, наверное, мои слова и казались неубедительными. Во всяком случае, мне самому они казались неубедительными.

— Когда Александр Трифонович ушел из «Нового мира»... а потом когда заболел... За все время, представляете, Кожевников ни разу ему не позвонил, ни

разу не поинтересовался, как он, что с ним... И вдруг — будет печатать! Нет, я на это не соглашусь! В конце концов, Твардовского еще знают и уважают, и я не сомневаюсь, что найдется журнал кроме «Знамени», который опубликует переписку.

В самом начале, когда речь зашла о даче, я заметил: «Тридцать километров — далековато! Мария Илларионовна улыбнулась: «Не так уж и далеко. Даже от Переделкино... Во всяком случае, Фадеев ходил к нам пешком!» Фадеев ходил, а Кожевников даже не позвонил... Впрочем, дело, наверное, не в этом. Дело в чем-то другом, что лежит глубже и о чем я могу только догадываться. Ясно одно: мы оказываем Твардовским медвежью услугу, ставим их в неловкое положение.

Ольга Александровна наливает нам еще по чашке кофе. Пьем, продолжаем разговаривать, но разговор уже не клеится. Мария Илларионовна разволновалась, расстроилась... «Кожевников и Твардовский... Боже мой!»

— Кстати, Александр Трифонович когда-то помогал ему, — говорит она, как бы вспоминая. — Когда Кожевников написал повесть «Март — апрель», Александр Трифонович ему сказал: «Вот, Вадим, твоя дорога, пиши в этом роде!» Кожевников не послушался... И вот... — Она не договорила. Взяла чашку с кофе и отпила глоток. — У меня хранятся его письма, там все есть...

Не знаю, по какому поводу (возможно, это и не относилось непосредственно к Кожевникову), но я сказал, цитируя кого-то из классиков:

— Дурной человек не может быть хорошим писателем...

Ольга Александровна вдруг встрепенулась и даже, кажется, просияла вся:

— Это любимые папины слова... Он часто повторял их, когда разговаривал с писателями... Он был убежден, что это именно так, что плохой человек не может стать... никогда не станет хорошим писателем...

Я попросил не спешить с окончательным ответом и стал собираться. Ольга Александровна поддержала меня: «Да, мама, ты успокойся, подумай...» Условились, что они еще посоветуются с Валентиной Александровной, старшей дочерью поэта, а потом уже скажут свое окончательное решение. Я должен буду позвонить им через два дня, в пятницу.

8 января 1976 г.

Заседания, заседания... Нельзя сказать, чтобы они были совсем пустыми. Космонавты Шаталов и Гречко, академик Зельдович, писатель Казанцев — все это запомнилось. Но я разрывался на части, и это отвлекало.

В среду сбежал с заседания, чтобы побывать в музее Достоевского, о чем давно мечтал. Ходил, бродил, всматривался в экспонаты и испытывал странное чувство. Человек был бедным и остался бедным. Даже в музее он выглядит бедным. И эти низкие потолки... Кажется, они давят, давят, точно хотят навести на мысль о той же бедности. И ручка... Обыкновенная школьная ручка со стальным пером, которой были написаны «Братья Карамазовы»!

Потом позвонила Аленка, усталая, забегавшаяся. Москва есть Москва... Устроилась в отдельном номере при общежитии Литинститута. Успела побывать у Салынского и в Министерстве культуры. Здесь ее принимают более приветливо, чем в Минске. Салынский твердо решил печатать одну из ее пьес. Не решил только, какую именно — «Площадь Победы» или «Созвездие». Будучи рационалистом, он считает, что надо печатать «Созвездие». Эта пьеса может привлечь провинцию и дать автору материальный достаток. А имея достаток, то есть деньги, он, автор, может целиком отдаться творчеству.

Решился вопрос и с поездкой на семинар в Ялту. В Минске на Аленку всем было начхать. Ее никто и не вспомнил. Котировались такие фигуры, как Делендик, Петрашкевич, Василевский... Салынский позвонил Шамякину — сразу, прямо из кабинета журнала «Театр» — и сказал свое слово. Салынского поддержало и Министерство культуры. Там даже как будто бы сказали, что, если потребуется, министерство выделит лишнее место — специально для Елены Поповой.

Что возьмет «Театр» — «Площадь» или «Созвездие», — Салынский скажет в понедельник. Значит, Аленке торчать здесь еще пять дней. Я посоветовал ей не терять времени даром и съездить в Ленинград, поговорить с режиссером Падвой, что ей, кстати, советовали и в Министерстве культуры. С этим намерением — съездить к Падве — она и ушла от меня.

Аленка еще была у меня, когда раздался звонок из редакции журнала «Знамя». Звонил Валентин Осипов.

— Как с Твардовскими?

Я сказал, что еще ничего не решено. Буду звонить завтра, то есть в пятницу, и они скажут свое окончательное решение. И тут прорвалось... Я и раньше, в первый день, почувствовал, что редакция «Знамени» серьезно заинтересовалась перепиской. Но я не думал, что Кожевников как главред примет такие крутые меры.

— Когда будете разговаривать с Твардовскими, передайте им, что в ЦК КПСС считают, что переписка должна быть опубликована именно в «Знамени». Журнал «Новый мир» для этого не годится, «Дружба народов» тоже... Остальные журналы, как вы понимаете, рангом ниже — они республиканские. Таково мнение вашего земляка... белоруса...

— У нас тут земляков много! — роняю в трубку.

— Шауры, — уточняет Осипов. — Таково мнение также Беляева и... — Он назвал третью фамилию, но я не расслышал, а переспрашивать не стал. Да дело и не в фамилиях. Главное — все согласовано и утрясено на высшем уровне. Кожевников, должно быть, почувствовал, какой материал приплыл ему в руки, и решил удержать его, опубликовать в своем журнале во что бы то ни стало.

— Хорошо, передам, — вздыхаю в трубку.

— Только не называйте фамилий, пожалуйста. Фамилии Твардовским знать не обязательно. И еще — передайте, что в «Знамени» обсуждали вопрос об оплате. Скажите, что мы изыщем возможности, лишь бы заплатить и самой вдове за вступление, и всем наследникам по высшей ставке.

— И это передам, — говорю.

— Ну, держите меня в курсе. И — заходите! — роняет на прощанье Осипов. Голос бодрый, уверенный. Они в «Знамени» все взвесили, прикинули и решили. Даже вдова Исаковского подготовлена — она, разумеется, рада и счастлива... Дело за немногим — добиться (именно добиться) согласия Твардовских. И Кожевников, и тем более Осипов, наверно, уверены, что «уломать» вдову и дочерей поэта не так уж трудно. Сыграет свою роль авторитет ЦК КПСС, да и деньги... деньги ...

15 января 1976 г.

Увы, все сложнее, чем казалось Макаенку, Кузьмину и Кожевникову.

На другой день я позвонил Ольге Александровне, чтобы договориться о встрече. Мне хотелось передать ей то, что просил передать Осипов. Хорошо, она попросит бабушку (мать мужа) посидеть с Андреем и выйдет. С Андреем? Андрей что-то прихворнул, его выпускать нельзя.

В моем распоряжении оставалось полтора часа. Вышел на Красную площадь, потолкался в публике возле Мавзолея, сходил в собор Василия Блаженного и наконец опять решил позвонить, напомнить. Телефон-автомат на улице Степана Разина как раз был свободен.

— К сожалению, не могу... Бабушке звонила — нет дома... Наверно, куда-то ушла...

— Хорошо. В таком случае выслушайте меня по телефону. Заместитель главного редактора журнала «Знамя» Осипов просил передать вам следующее... — И я коротко, в двух словах, пересказал вчерашний разговор с Осиповым. Фамилий, разумеется, не называл, но сказал, что вопрос, связанный с публикацией переписки, насколько я понял, обсуждался в отделе культуры ЦК КПСС. — Поймите меня правильно: я не хочу оказывать на вас давления, боже упаси, я просто передаю то, что меня просили передать, и не больше.

— Я понимаю, — слышу в трубке голос Ольги Александровны.

— И еще... Я считаю это делом третьестепенным, даже, может быть, десятистепенным... Но, опять же, меня просили поставить вас в известность... Речь идет об оплате... В редакции журнала «Знамя» обсуждали этот вопрос и решили дать Марии Илларионовне за вступление и всем наследникам за письма высшую ставку, какую они только могут дать.

— Ну, это дело даже не десятистепенное, а тысячестепенное, — прерывает меня Ольга Александровна. — Да, тысячестепенное, — повторяет она. — Если бы «Неман», опубликовав переписку, не заплатил бы нам ни копейки, мы и тогда не были бы на вас в претензии.

Все. Разговор окончен. Договариваюсь, что позвоню в понедельник, 12 января, уже из Минска, и кладу трубку. Чувствую, что это почти отказ. Не «Неману», а «Знамени», но без «Знамени» не может печатать и «Неман». Так решили Марцелев, Кузьмин и Шауро. И смешно, и грустно. Но больше все-таки грустно.

В тот же день в пять вечера переступаю порог редакции «Знамени». Валентин Осипов встречает, привечает, начинает расспрашивать о разговоре с дочерью Твардовского. У меня создается впечатление, что он кое-что знает и кое о чем догадывается. «А что она сказала? Как относится к «Знамени»? Почему колеблется?» Я отвечаю неопределенно. Мол, у них, то есть у Твардовских, принято подобные дела решать сообща. Валентины Александровны сейчас нет в Москве — она отдыхает в Малеевке, — да и сама Мария Илларионовна на даче. Соберутся вместе, обсудят и тогда скажут свое слово.

— Вообще-то они ничего не имеют против «Знамени»? — опять спрашивает Осипов.

— Кажется, ничего не имеют... — Я пожимаю плечами.

Переводим разговор на журнальные дела. Я говорю, что неплохо было бы «Знамени» хоть изредка заглядывать в периферийные журналы, может быть, рецензировать что-то... Увы, эта мысль не встречает поддержки. У редакции «Знамени» и своих забот хватает. Потом я прощаюсь и ухожу. Осипов просит звонить, держать его в курсе. Я спрашиваю, когда редакция сдает в набор четвертый номер. Оказывается, пятого февраля. Ну, говорю, до пятого февраля-то все прояснится.

И вот я в Минске. Звоню Макаенку. Тот в недоумении. И повторяет то, что говорил, когда напутствовал меня в дорогу: «Кожевников — одно, а журнал — другое!» В понедельник звоню в Москву, Твардовским. К телефону подходит Ольга Александровна. Увы, еще ничего не решено. Мать на даче, телефонной связи с нею нет, а съездить туда не удалось — муж вернулся из командировки, — поэтому давайте отложим разговор до среды. В среду звоню снова. И снова трубку берет Ольга Александровна. На этот раз она высказывает твердое общее (всех Твардовских) мнение: «Нет! Кожевников — не тот вариант! Мы будем искать другой журнал. Думаю, это не займет слишком много времени. Позвоните в понедельник... Кстати, когда вы сдаете в набор пятый номер?» Я называю число. Ольга Александровна заверяет, что все утрясется гораздо раньше.

«Дай-то бог!» — думаю я.

3 марта 1976 г.

В «Альманахе библиофила» (выпуск второй) — статья Б. Шиперовича о Тургеневской библиотеке. Лживая насквозь. Эта ложь тем более возмущает, что сам автор, так сказать, причастен к гибели если не всей библиотеки, то, во всяком случае, доброй ее половины.

Будучи начальником библиотеки Дома офицеров 65-й армии, он, Б. Шиперович, пустил значительную часть «тургеневки» на абонемент, то есть по рукам. И так книги находились в обращении вплоть до известного постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Помню, газете «Знамя Победы» (редакция находилась в пяти минутах ходьбы от армейского Дома офицеров) понадобился критический материал, связанный с этим постановлением. Написать его взялся подполковник Николай Чайка. Но с автором случился конфуз: впопыхах он не разобрался и отнес к числу идейно вредных книг... дореволюционные издания К. Случевского и Миклухо-Маклая. Обе эти книги — из Тургеневской библиотеки.

После выступления газеты библиотеку Дома офицеров основательно почистили. Год спустя, когда редакция газеты «Знамя Победы» переехала в г. Лигниц, я побывал в Вальденбурге и обнаружил грустную картину. Несколько тысяч тургеневских книг были свалены как попало в большой комнате. Майор, сменивший на посту начальника библиотеки Б. Шиперовича, распахивая дверь комнаты, сказал:

— Это еще мой предшественник постарался... Если что понравится, берите, не жалко!

Именно там я взял книги с автографами В. Брюсова, Н. Пояркова, однотомник В. Баратынского с пометками, сделанными, как мне кажется, рукой Ивана Бунина... Эти книги и посейчас находятся у меня. Там же мне попались на глаза роман Б. Савинкова «То, чего не было» и книга А. Горнфельда «Муки слова», которые у меня взял почитать и все читает и читает Евг. Евтушенко.

7 марта 1976 г.

Звоню Эдуарду Николаевичу, директору библиотеки имени Ленина. Пересказываю историю «тургеневки», а заодно и содержание лживой статейки в «Альманахе библиофила». Причем говорю таким тоном, как будто мне доподлинно известны не только история, но и нынешнее местонахождение всего тургеневского книжного фонда.

И что же? Эдуард Николаевич клюнул! Несмотря на то, что разговор происходил по телефону, он стал вздыхать, страдать, жаловаться... Да, остатки «тургеневки» были перевезены в Минск, в «ленинку». Но вот беда — книги затерялись среди миллионов других... Попробуйте их изъять и собрать в одно место! Такая команда дана, однако дело это страшно трудоемкое, и до сих пор удалось отыскать и изъять лишь тысячи полторы книг.

Подробно рассказываю, что было в «тургеневке», когда летом 1947 года, в Лигнице, я перебрал ее почти всю своими руками. Я приходил по воскресеньям, начальник библиотеки Дома офицеров группы войск Володя Попов, мой однофамилец, впускал меня в чердачные комнаты, где были сложены книги, и оставлял одного. Я блаженствовал. Еще бы — такие богатства! И главное, передо мной были книги редкие и редчайшие, которых я до того не встречал нигде. «Красный генерал» Ивана Бунина, «Невольник чести», поэма о Пушкине, кажется, графини Пантойфель-Нечецкой, стихи Георгия Иванова, всякие альманахи, сборники, изданные эмигрантами в Риге, Харбине, Берлине, Чикаго... Даже просто перебирать и листать их было интересно. Открывался новый мир, чуждый и неведомый мне.

Сборник Георгия Иванова, изданный в Берлине в 1932 году, начинался такими стихами:

Говорят, что нет царя,
Говорят, что нет России,
Говорят, что бога нет, —
Только мутная заря,
Только звезды ледяные,
Только миллионы лет.
Говорят, что никого,
Говорят, что ничего —
Там темно и так мертво,
Что темнее быть не может
И мертвее не бывать,
Что никто нам не поможет
И — не надо помогать!

Но дело даже не в этом, продолжал Эдуард Николаевич. Пусть не сразу, пусть через год-два, а тургеневский фонд будет изъят из обращения и собран в одном месте. По имеющимся у него сведениям, эмигранты, живущие в Париже, начали поиски тургеневской библиотеки. Они хотят, чтобы «тургеневка» вернулась на старое место — в Париж, — и стала там тем, чем она была — своего рода памятником Тургеневу и центром русской мысли и русской культуры во Франции. Мы как будто и не прочь вернуть и в то же время не знаем, как это сделать.

* * *

А между тем книги-то продолжают расползаться. Как-то, года два назад, мы разговорились с Борисом Саченко. Он похвастался, что ему удалось достать несколько книг из «тургеневки». И не где-нибудь, а здесь, в Минске...

28 апреля 1976 г.

В редакции жизнь бьет ключом. Макаенок отклонил роман Герчика об онкологах. Собственно, ему посоветовали отклонить в ЦК — Кузьмин и Машеров... Причина: роман слишком очевидно привязан к Минску, прототипы легко узнаются, Александров выведен ангелом, на самом же деле он... ну, не совсем порядочный человек.

После этого, когда я болел, Рудов выступил на партийном собрании и облил меня, а заодно и Савеличева, непристойной, отвратительной грязью. И чего только не наговорил, бог ты мой! Повторять тошно. И все ложь, ложь, ложь. Вообще-то случай смешной — я давал Рудову рекомендацию, когда тот вступал в Союз, я ратовал за него и в комиссии, и на заседании президиума, и вот на тебе!.. Должно быть, и правда ни одно доброе дело не остается безнаказанным.

Белошеев хлопочет о наградах в связи со своим 60-летием. Я подписал ходатайство о награждении его Почетной грамотой Союза журналистов СССР. Здешний, минский Союз журналистов хочет хлопотать о присвоении ему, Белошееву, звания заслуженного работника культуры Белоруссии. Но — хлопотать через Макаенка. А последний настроен скептически: «Я сам еще не имею этого звания...»

Переписку Твардовского и Исаковского все же будем печатать. Листов пять-шесть даст «Дружба народов», в 7, 8 и 9-м номерах. С 8-го номера начнем печатать и мы, в «Немане». Полностью. Все двенадцать авторских листов.

Что ж, лучше поздно, чем никогда.

5 мая 1976 г.

Снова о «тургеневке»...

Приходит Дмитрий Павлович Мороз, минский книголюб, и сообщает, что в букинистическом магазине начали мелькать книги со штампом тургеневской библиотеки. Он сам видел четыре тома «Великой смуты» Деникина и «Жизнь Николая Второго» — обе изданы в Париже в начале двадцатых годов.

Я тут же снял трубку и позвонил Эдуарду Николаевичу, директору «ленинки».

— Книги из нашей библиотеки к букинистам попасть не могли, — сказал он убежденно. — Имейте в виду, что на всех наших книгах кроме штампа тургеневской стоит штамп и нашей библиотеки. Один чудак понес было сдавать уворованные книги, так попался, и его судили. Утечка могла произойти еще в то время, когда эти книги только привезли и свалили в Доме правительства. Некоторое время они лежали неучтенными, и их могли растаскивать кому не лень. Скорее всего, вот эти книги и попадают сейчас в букинистический магазин. А мы что ж... Мы продолжаем изымать помаленьку.

— И сколько же изъяли? — спрашиваю.

— На сегодняшний день уже две с половиной тысячи! — почти радостно произносит Эдуард Николаевич.

Я говорю, что надо бы связаться с букинистами и попросить их «тургеневские» книги покупать, но не продавать кому попало — оставлять для той же «ленинки». Эдуард Николаевич пообещал это сделать, то есть связаться и попросить, — и сделать безотлагательно.

1 сентября 1976 г.

Из передовой «Правды» за 31 августа с. г.:

«Важнейшая черта ленинского стиля работы — высокая требовательность к себе и другим, творческая неудовлетворенность достигнутым. Как бы ни были велики успехи в строительстве нового общества, партия сосредоточивает внимание на очередных проблемах, на недостатках и трудностях, которые надо преодолеть. По мере роста масштабов и сложности решаемых задач, отмечалось на XX съезде КПСС, строгий, критический подход ко всем делам приобретает особое значение».

Сколько у нас говорится и пишется правильных слов! А на деле... на деле все наоборот. Вот и эта передовая... Как можно сосредоточить внимание на недостатках и трудностях, когда мы всячески замалчиваем эти недостатки и трудности?

В прошлом году, говорят, в России была страшная засуха... А в газетах об этой засухе ни слова! Хуже того, некто NN объявил девятую пятилетку лучшей из пятилеток... Весной в магазинах хоть шаром покати — ни яиц, ни мяса, с молоком и то перебои... А мы знай трубим: «Лучшая из пятилеток!.. Все хорошо, лучше некуда!..»

И эта ленинская черта... Ленин требовал гласности. Не замазывать глупости, промахи, недостатки, а открыто и честно говорить о них народу, — вот его требование. Увы, мы похоронили его и предали забвению.

17 сентября 1976 г.

История с перепиской двух поэтов не кончилась, как мы ожидали.

Журнал «Дружба народов» опубликовал в трех номерах (7, 8 и 9) большую часть. Причем самую интересную часть. По сути дела журнал снял сливки, оставив обрат.

Но Марии Илларионовне этого показалось мало. Она в претензии к «Неману». Почему не сдержал обещания и не печатает всю переписку, как в свое время договаривались.

Сходила или позвонила в сектор литературы ЦК КПСС. Тов. Беляев, в свою очередь, позвонил в наш ЦК. И — завертелось, закрутилось колесо.

Дважды звонил мне Г. М. Кононов, зам. зав. отделом пропаганды, попросил всю переписку для ознакомления. Прежде чем давать, мы сверили с публикацией «Дружбы народов» и пометили письма, не вошедшие в эту публикацию. Картина получилась грустная. Москвичи опустили лишь 76 писем, большая часть из них — это письма Мих. Исаковского, пустые, бессодержательные. Да и письма Ал. Твардовского (не вошедшие в публикацию) немногим лучше.

Что делать? Вопрос должен решиться днями. Первый вариант — перепечатать все из «Дружбы народов» — мы отвергли сразу, и в ЦК (в частности, Г. М. Кононов) с нами согласились. Осталось еще два варианта: не печатать совсем или, если это окажется невозможным, — напечатать всю переписку, целиком, как она была подготовлена нами год назад. Я при этом настаивал, чтобы печатать мы начали (если без этого нельзя) не ранее, как со второго, февральского номера будущего года. В ЦК все согласились с этим. В том числе и Кузьмин.

По правде сказать, история с перепиской уже превратилась в анекдот. Кто виноват в этом? Трудно сказать... В разговоре с Макаенком, заглянувшим в редакцию на минутку, я сказал, что в прошлый раз струсил А. Т. К., то есть Кузьмин. Макаенок возразил. По его словам, виноват не А. Т. К., а Шауро, занимающий в этом вопросе шаткую, неопределенную и вот уж поистине трусливую позицию.

19 сентября 1976 г.

Ко мне попала машинописная копия воспоминаний А. Гладкова, автора пьесы «Давным-давно», о Борисе Пастернаке. Воспоминания субъективные, сплошная апология Пастернака, но любопытные в некотором роде. Интересны, в частности, штрихи из жизни писательской братии в Чистополе в 1941—1942 гг. Если верить Гладкову, тот же Пастернак бедствовал, а Конст. Федин и Леонид Леонов и в ус себе не дули. Леонов, например, содержал прислугу и... сторожа, дабы воры не проникли в квартиру и не украли набитые всяким добром чемоданы.

Вот вам и радетели о благе народном! «Писатель, если только он волна, а океан — Россия...» По воспоминаниям, не похоже, чтобы эти писатели были особенно «возмущены». Интересно было бы узнать, внесли они что-либо в фонд обороны? Тогда это принимало характер эпидемии. Мы, фронтовики, двенадцатую часть денежного содержания, а иногда и больше, отдавали в фонд обороны. Находились люди, и таких было немало, которые жертвовали сбережения, драгоценности.

Однако полнее выписан, разумеется, образ самого Пастернака, поэта, безусловно, очень талантливого и самобытного. Сейчас кое-кто ставит его выше Твардовского. Но тут есть одна закавыка. Пастернак как мастер стоит, может быть, и выше Твардовского. Но он никогда не займет в сердце читателя (во всяком случае, русского читателя) такого места, какое уже занял Твардовский. Хотя Пастернак по духу тоже русский. Это подчеркивает и Гладков. Вот знаменательные слова, которые записал автор воспоминаний:

«Во мне есть еврейская кровь, но нет ничего более чуждого мне, чем еврейский национализм. Может быть, только великорусский шовинизм. В этом вопросе я стою за полную еврейскую ассимиляцию. Мне лично единственно родной кажется русская литература, русская культура, с широтой любых влияний на нее, в пушкинском смысле...»

29 октября 1976 г.

Странная осень. Туманы — зги не видать. Деревья как были, так и остались одетыми, хотя уже конец октября.

В редакции существенные перемены. Савеличев подал заявление с просьбой перевести его на должность редактора отдела науки. На место Савеличева согласился пойти Козько. Жиженко, заваливший критику и библиографию, пойдет литработником отдела прозы. На критику ставим Ялугина. Калюта соблазнился телевидением (повышение). На его место (литработником отдела очерка и публицистики) сватаем Светлану Алексиевич из «Сельской газеты»...

Что даст такая реорганизация (первая крупная на моей памяти), поживем — увидим. Во всяком случае, я уверен, хуже не будет.

Работать с каждым годом труднее. Главлит и раньше не обходил нас своим вниманием, а теперь готов задушить в своих дружеских объятиях. Вот уже дней десять с пристрастием «читает» повесть Лидии Вакуловской, которую мы публикуем в 12-м номере за этот год. Боимся, как бы не пришлось делать номер заново, то есть снимать Вакуловскую и ставить что-то другое.

А тут еще юбилей Брежнева... Звоню Макаенку: так и так, мы хотим ограничиться вкладкой с портретом... «Погодите, я посоветуюсь в ЦК». А на другой день: «Говорят, в БЕЛТА есть цветные снимки, давайте дадим на четырех страницах!» Объясняю, что это фантастика — мы к этому не готовы, да и бумаги нет... «Ну, вы подумайте, подумайте...» А тут и думать нечего. Дадим вкладыш с портретом и хватит.

Хлопотал о кооперативной квартире для Аленки. И вот — ответ за подписью начальника отдела ЖСК некоего Дергачева: «Отказать!» Придется писать председателю горисполкома Ковалеву. Макаенок мог бы, конечно, и позвонить, с Ковалевым он на дружеской ноге, вместе коньяк пьют, но... после женитьбы он стал слишком сытым и равнодушным ко всему, что лежит за пределами его личных интересов.

Вот так-то!

31 октября 1976 г.

В эти дни отмечается 80-летие со дня рождения Федора Панферова. Вспоминается, как я видел его однажды.

1959 или 1960 год — память уже начинает изменять... Осень. Мы с Филиппом Пестраком и Иваном Кудрявцевым как раз были в Бресте, занимались подпиской на журналы, в том числе и на «Неман»... И вдруг узнаем: «Приезжает на читательскую конференцию в Иваново по роману «Волга — матушка река» сам автор, Федор Панферов.

— Надо, хлопцы, встретить. Пойдем и скажем, что мы от Союза писателей... — предлагает Филипп Семенович.

Приходим на вокзал. Спрашиваем, где гости. На нас смотрят косо, подозрительно, но — показывают: «Вон в той комнате». А в «той комнате», глядим, уже порядочно народу: представители обкома, горкома, райкома... На нас, конечно, ноль внимания. Однако мы стараемся не уронить себя, не ударить в грязь лицом. Первым подходит к Панферову и здоровается с ним Филипп Семенович. Потом Кудрявцев и я... Панферов кивает на соседа слева. Мы здороваемся и с «соседом». Им оказался Ярослав Смеляков. Оба они еле лыко вязали.

Вообще-то у нас была тайная мысль: дескать, повезут гостей, а заодно и нас пригласят, как представителей Союза писателей республики. А там, куда пригласят, наверно, можно будет выпить и закусить. Увы, надежды наши не оправдались. Не знаю, как это случилось, только нас — всех троих — оттерли от столичных гостей. Выйдя на привокзальную площадь, мы увидели, как машины трогаются с места, увозя их в неизвестном направлении.

Что касается читательской конференции, то она была подготовлена что надо и прошла на уровне. О ней потом в «Лит. газете» появился довольно пространный отчет.

2 ноября 1976 г.

Главлит снял «Повесть о Джоне и Дженни» Лидии Вакуловской.

Повесть безобидная, она направлена против показухи и шумихи, но... если мы говорим с трибуны, что у нас все хорошо и лучше не надо, значит, и правда все хорошо и лучше не надо. Подвергать сомнению... Гм-гм... Этого мы никогда не позволяли и не позволим!

Между тем жить становится все труднее. В магазинах хоть шаром покати. Появится какая-нибудь жалкая колбаса, и ту нарасхват. Вдобавок цены взвинтились. Ливерная раньше стоила 50 коп. килограмм. Сейчас (качеством если и лучше, то очень не намного) стоит 1 руб. 80 коп. Вчера выбросили где-то свинину. Оля, наша шоферша, рассказывала, что началась давка с кулаками и руганью. Яйца тоже стали редкостью. Хлеб и тот серый, рассыпается в руках, — наверное, на помол пустили фуражное зерно.

Акцию Главлита люди восприняли по-разному. Многие искренне огорчились. И не только потому, что придется заново делать два номера — двенадцатый и первый, — повесть Лидии Вакуловской всем нам нравится. Мы ожидали, что она будет иметь успех. Только наш главный редактор остался равнодушен. Больше того, признавая повесть талантливой, он вместе с тем находит, что автор глумится над людьми. Над советскими людьми.

Я возразил:

— Автор не глумится, а просто с улыбкой и усмешкой показывает людей... Наших, советских людей, вынужденных заниматься очковтирательством.

Но Макаенка это не убедило. Он остался при своем мнении.

Вчера мы с Леонидом Шакинко заехали в Главлит, забрали корректуру 12-го номера и отдали дражайшей Марине Константиновне две повести из первого номера — дабы восполнить пробел, образовавшийся в двенадцатом... Работники Главлита веселые, шутят, смеются — ну как будто ничего и не произошло.

Разговор зашел о повести Юрия Трифонова «Дом на набережной», опубликованной в «Дружбе народов» и уже подвергшейся запрещению. Во всяком случае, библиотекарям приказано не выдавать на руки номер журнала с этой повестью.

Я пошутил:

— А как Марина Константиновна, подписавшая к печати «Дом на набережной», еще работает?

Все засмеялись, в том числе и наша Марина Константиновна. Мы с Леонидом Шакинко поздравили главлитовцев с праздником — 59-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, — и пошли делать свое дело.

3 ноября 1976 г.

Макаенок ищет сторожа — охранять дачу. Условия: комната на даче, питание и плюс ко всему 80 рублей наличными. Если поторговаться, — даст и больше.

12 ноября 1976 г.

Вчера Макаенок опять заговорил об уходе. Он и раньше порывался. Но если раньше разговор носил абстрактный характер, то теперь другое дело. Оказывается, он уже толковал с Кузьминым и даже будто бы предложил на свое место... мою кандидатуру. Сообщая об этом по секрету (даже жене, сказал, ни слова), он добавил, что главное — как посмотрят Аксенов и Машеров.

По правде сказать, меня все это не обрадовало, а скорее огорчило. Во-первых, Макаенок нам нужен, как имя — настоящим редактором он никогда не был... И мне, коль об этом речь, поздно подниматься на вершину журналистики — годы не те... Огорчило и другое: начнутся всякие разговоры, переговоры, копание в анкетных данных, и все кончится ничем, как было уже однажды, когда Борис Павленок приглашал меня в Комитет кинематографии своим первым заместителем. Тогда и Мазуров (он был Первым секретарем ЦК КПБ) одобрил выбор Павленка, а все равно не вышло.

И сейчас не выйдет. Я уверен в этом. Вот почему я сказал Макаенку, что моя кандидатура вряд ли пройдет, поэтому он должен подумать над другой, тоже достаточно приемлемой. Хорошо было бы найти русского литератора, который бы полюбил журнал и смотрел бы на него как на дело своей жизни. Иначе он — журнал, поднятый с таким трудом и завоевавший широкую популярность, — может опять захиреть и превратиться в кормушку для узкого круга людей.

17 ноября 1976 г.

Ездил с Макаенком смотреть его новую дачу. Почти всю обратную дорогу опять говорили о редакторстве. Макаенок «двинул» вот какой вариант: я — главный, Козлович, Шабалин или Матуковский — заместитель. Впрочем, Козловича отвергли сразу — молод, да и на отдел некого... Против Шабалина я ничего не имею, хотя и знаю его плоховато. Однако Макаенок отдает предпочтение Матуковскому. Что ж, согласен и на Матуковского, хотя Матуковский и не лучший вариант. Ну, да все это еще на воде вилами писано.

Наконец выпал снег. В городе — сырость, слякоть, а у нас на Востоке-2 бело, свежо, как-то весело и приятно.

27 ноября 1976 г.

Завершается подписка. Результаты еще не известны, но уже сейчас ясно, что из-за недостатка бумаги дела идут худо.

Вчера получили слезное письмо. Пишет некая Елена Сергеевна Иванова, уполномоченная по подписке моторного завода города Мелитополя. На этом заводе «Неман» выписало 150 человек. Принесла Елена Сергеевна подписку в городское агентство, а начальник, некая Анна Карловна Ширяева, ей от ворот поворот: уровень, определенный на этот год, уже превзойден.

«У меня к вам большая просьба, — пишет далее Елена Сергеевна. — Как же мне быть, разве я сейчас могу это все возвратить людям? Да меня растерзают...»

Пришлось весь день заниматься этим делом. Звонил директору издательства, звонил Александре Антоновне Антиповой, сочинил и послал срочную телеграмму в Мелитополь — Ширяевой — за подписью Макаенка, потом заказал телефонный разговор с той же Ширяевой и ждал, не выходя из кабинета, битых три часа. Наконец соединили... Анна Карловна, конечно, безмерно рада. Но... вместо 150 просит уже дополнительно 280 экземпляров! Пришлось согласиться и на это.

Договорились так: что позволено по инструкции, она заказывает в обычном порядке — через Запорожье и Киев, а заказ на эти 280 экз. посылает непосредственно в Минск, Антиповой. Так сказать, в обход закона.

27 декабря 1976 г.

Вышел Макаенок.

— Хватит, теперь буду читать только рукописи, подготовленные к печати.

Об уходе ни слова. Больше того, у меня сложилось впечатление, что уходить он раздумал.

Перед Новым годом расплатился за дачу. Она обошлась ему в 29 768 р. 28 коп. Человеку, получающему 100 р. в месяц, надо было бы работать 25 лет! Четверть века!

Вчера произошла катастрофа. Возвращаясь из Беловежской пущи, машина, шедшая со скоростью сто километров в час, врезалась в автобус и... вот результат: Сурганов, Беда и милиционер погибли, двое — врач и шофер — находятся при смерти.

Поохотились, называется. Кстати, охота была организована для Рауля Кастро. Он хотел ехать в Минск вместе с Сургановым — уже залез в машину, — но его, говорят, силком вытащили и уговорили остаться. И хорошо, что остался. Иначе и ему бы несдобровать.

27 января 1977 г.

Муки с публикацией переписки Твардовского и Исаковского продолжаются.

Казалось бы, все ясно. Указания опубликовать полностью исходят из верхов, от самого Зимянина. И здесь — в нашем ЦК — читали с пристрастием: и Петрашкевич из отдела культуры, и Кононов из отдела пропаганды... Ан нет! Дошло до Главлита, до дражайшей Марины Константиновны, и дело опять застопорилось. В мартовском номере вырезали десять (!) журнальных страниц, главным образом, письма Михаила Исаковского.

Главлиту (или еще кому, не знаю), видите ли, не нравится, что большой русский поэт в годы войны, живя в Чистополе, нуждался, нуждался в деньгах, в хлебе насущном и т. д. Твардовскому было легче — он находился в действующей армии, получал денежное содержание, которое и пересылал семье, к тому же много писал и издавался. Исаковский же оказался на мели. Отсюда и бесконечные жалобы в письмах к другу.

В этом, я убежден, нет ничего порочащего, принижающего наш строй. Когда народу трудно — и поэту трудно. Иначе поэт — не поэт, а медное ботало, которое вешают на шею блудливым коровам. Но Главлиту какое до этого дело. Товарищи из Главлита видят свою задачу в одном: держать и не пущать!.. Во что бы то ни стало держать и не пущать!

21 марта 1977 г.

Звонил Василь Быков. Интересовался судьбой повести Лисицына. Повесть слабая, но печатать будем.

Я попутно завел разговор о новой повести самого Быкова. Он сказал, что повести еще нет, и когда будет, сейчас сказать трудно, — у меня сложилось впечатление, что ему просто хочется отдать ее в какой-нибудь московский журнал.

Все рвутся в Москву — Быков, Шамякин, даже Козько. Ну да бог с ними, как-нибудь проживем и без них. Обидно только за Козько. Не успел опериться, а туда же! Мы его «открыли», мы его приветили, проталкивали в Союз писателей, хлопотали насчет квартиры... То, что свою новую повесть Козько отдал в «Дружбу народов», вызвало в редакции отрицательную реакцию. Как писатель он остался таким же, каким был, ни на волосок не вырос, а как человек сразу потерял что-то.

3 апреля 1977 г.

Наконец завершили публикацию переписки Твардовского и Исаковского.

Трусость местного начальства (в первую очередь Кузьмина) привела к тому, что все урезали, сократили, скомкали. В сущности, мы повторили то, что дала «Дружба народов», вот и все. Будущие историки литературы вынуждены будут обращаться в архив, куда, надо полагать, М. И. передаст оригиналы писем.

Нам же остается только вздохнуть с облегчением. Каждый из трех номеров, где публиковались письма, пришлось переверстывать. В результате эти номера получились не такими, какими нам хотелось их видеть, — в них поневоле попали случайные материалы. Да и перед Твардовскими (особенно перед М. И.) неловко. Мария Илларионовна справедливо хотела видеть всю переписку как нечто целое и законченное. Увы, это скромное желание осуществить оказалось невозможно.

14 апреля 1977 г.

Интервью Андрея «Смеяться, право, не грешно» в «Вечернем Минске» за 12 апреля.

«— А кроме него (театра. — Г. П.) есть еще увлечения?

— В первую очередь есть серьезное дело, требущее внимания и времени. Обязанности депутата Верховного Совета республики, обогащающие постоянными встречами с людьми, и редактирование журнала «Неман». Но бывают и свободные часы, когда с удовольствием предаюсь рыбалке, рисую, брожу по лесу или занимаюсь резьбой по дереву».

Вот так!

4 июня 1977 г.

В «ЛіМе» напечатан отчет с пленума Союза писателей. О моем выступлении ни слова, хотя говорил-то я дельные вещи. Я хотел дать понять, что переводы на русский важнее, чем на какой-либо другой язык. Переводы, например, на английский, французский, немецкий и т. д. носят скорее престижный характер. Вот, дескать, и нас Европа знает! А на русском книги белорусских писателей, во-первых, расходятся миллионными тиражами, во-вторых же, — через русский проникают и в ту же Европу. Отсюда и значение качества. Сейчас за переводы с белорусского берутся все кому не лень. А надо, чтобы брались мастера, опытные писатели. Переводят же с казахского и аварского Юрий Казаков и Вл. Солоухин. Почему с белорусского должны переводить не шибко грамотные Михаил Горбачев и Валентина Щедрина?

16 июня 1977 г.

Лето. Жара. Душно... Душно во всех смыслах.

Из Москвы пришло новое штатное расписание. Нам предлагают сократить четыре единицы, в том числе художественного редактора и фотографа. Восемнадцать лет ломали голову над тем, как вылезти на свет божий, завоевать популярность у читателя... Вылезли, завоевали, стали прибыльными (в этом году прибыль превысит 300 000 рубликов), и вот на тебе!

На строительство Дома литераторов ухлопали 1 800 тысяч, сейчас для обслуживания этого, в сущности, никому не нужного дома (никому, в том числе и самим литераторам) содержится что-то около полусотни бездельников — это

ничего! На это денег не жалко. А для «Немана» пожалели. Причем никому нет дела до того, что журнал стал заметным фактом культурной жизни не только республики, но и всей страны, — взяли и обрезали. Одним махом. Не думая и не рассуждая.

28 июня 1977 г.

Заходил Брыль. Принес два эссе — о Лынькове и Адамовиче. Мы хотели дать их в первом номере будущего года, но он попросился в двенадцатый этого, 77-го.

Разговор зашел о Ширме. Брыль сейчас живет с ним в одном доме, иногда видит, как Ширма, поддерживаемый под руку своим племянником, совершает короткие прогулки.

— И что старик держится за этот Союз композиторов? Зачем он ему?

Я вспомнил покойного Мележа, который нашел в себе мужество отказаться от должности секретаря Союза писателей.

— Так Мележ был еще молодой! — заметил Брыль.

Речь зашла о разных мелких журнальных публикациях.

— Я сначала перелистываю весь журнал, потом читаю, начиная с мелочей, — сказал Брыль.

Мне понравились странички из дневника, опубликованные в пятом номере «Маладосці». Они напомнили мне дневники Пришвина. Я спросил, читал ли он, Брыль, книгу жены Пришвина — «Наш дом». Оказалось, знает, что такая книга вышла, но еще не читал.

— Я ей послал свои «Витражи», где ей посвящено несколько строк. Жду, когда она в обмен пришлет мне свою книгу.

Во время разговора вошел Шакинко, наш худред, — посоветоваться, как дать Гимн. Извинился: дела!.. Брыль оживился: «Ничего, мне это тоже интересно!» И пока мы обсуждали и прикидывали, намечая расположение нот, выбирая шрифты, — сидел рядом и внимательно слушал.

* * *

Видно, и правда, удел России — страдание. Она страдает даже тогда, когда веселится и радуется. Недаром, видно, и песнь русская — унылый вой...

Но — нельзя верить, что она уже погибла или погибнет в ближайшее время. Нет! Россия выжила под соломенными крышами, выживет и под шиферными.

Дай бог ей силы и терпения.

6 сентября 1977 г.

Вышел на работу после отпуска. И сразу очутился в водовороте всяких дел.

Аркадий Савеличев оставил у меня на столе свой большой роман «Забереги». Только сел читать, является Чаусский. Сообщить «новость» — Никифора Пашкевича будто бы назначают главным редактором журнала «Неман»... Чаусский ушел — явился Илья Борисов — в редакции лежат его материалы, интересуется, когда мы их напечатаем. Борисов не успел уйти, как в дверь постучался Николай Виногоров — его детективную повесть мы держим больше года. За Виногоровым — Виктор Козько, за Козько — Степан Почанин с товарищем из московского КГБ — партизанские записки принесли... Словом, прощай, роман! Чтобы прочитать такую глыбу, надо «заболеть», по меньшем мере, на неделю.

И — телефонные звонки. Из них только один приятный. Янка Брыль сначала, как бы между прочим, поинтересовался, нет ли у нас лишних экземпляров тех номеров журнала, в которых напечатан роман Маркеса «Осень патриарха». Оказалось, ему прислал письмо Павел Нилин и просит этот роман. Я сказал, что посмотрю в редакции, какими резервами мы располагаем, и потом скажу. Но Маркес был для зачина. Дальше Янка Брыль перешел к главному, как он сказал.

Он хотел бы, чтобы я перевел его странички из блокнота. Листа три — три с половиной. «Странички» мне понравились, я это говорил Брылю раньше, еще перед своим отпуском, и теперь сказал, что возьмусь за эту работу с удовольствием.

17 сентября 1977 г.

Читаю Брыля в переводе покойного Дм. Ковалева и... спотыкаюсь на каждом шагу. Нет, не то! Мне, читателю, наплевать, что это перевод,— я хочу читать русскую книгу, на русском языке. Это и есть мое кредо, мой метод и принцип — и пусть белорусские писатели (коль речь о них) не обижаются, когда я, при переводе, что-то опускаю, а что-то чуть-чуть видоизменяю в угоду этому — русскому — читателю. Мое дело передать не букву, а дух оригинала.

30 октября 1977 г.

Мелочи жизни.

Бронислав Спринчан рассказывает, что, выступая перед пропагандистами Белорусского военного округа, Иван Шамякин хвалил журнал «Неман». И начал похвалы следующими словами:

— Когда в журнал пришел Макаенок, тираж его стал расти и сейчас достиг ста пятидесяти тысяч экземпляров...

5 ноября 1977 г.

Макаенку присвоено звание народного писателя республики. Доволен. Поздравления принимает с лицом, цветущим от счастья.

Вчера, когда мы устроили в редакции маленькое застолье по случаю 60-летия Октября, он внес и свою скромную лепту, поставил бутылку коньяка и бутылку шампанского.

А вечером звонил Брыль, только что вернувшийся из Сочи, где лечился и работал. Против маленького предисловия, которое я написал к его заметкам, ничего не имеет. «В конце концов, это дело редакции!» Но по тону я почувствовал, что оно, это предисловие, ему понравилось. Не возражает он и против фотографии, на которой мы остановили свой выбор.

Одно его смущает: в заметках есть место, где он называет повесть Змитрока Бядули «Соловей», ставшую хрестоматийной, слабой в литературном отношении. Не обидится ли Бядулиха, то есть женка Змитрока Бядули? У него, у Брыля, уже был случай... Он делал доклад о Льве Толстом и, касаясь белорусской литературы, не упомянул Бядулю. И Бядулиха обиделась: «Не ожидала я от вас, Иван Антонович! Не ожидала!» Нечто подобное может произойти и на этот раз.

Я сказал, что волков бояться — в лес не ходить. Да и выступаете вы не как критик, выносящий приговор, а как писатель, высказывающий свое личное мнение. «Так и в предисловии же об этом говорится, то есть о том, что заметки субъективны!» — подхватил Брыль. Решили ничего не убирать и не менять — оставить до корректуры, — там видно будет,

27 ноября 1977 г.

Звонил Виктор Козько. В издательстве «Мастацкая літаратура» дали резко отрицательную рецензию на его новую повесть. Автор рецензии, некто Шупенька, пишет следующее:

«Неманская школа нашей прозы с ее раскованной манерой повествования не дает возможности раскрыться во всю силу и некоторым по-настоящему талантливым людям...» К числу последних — талантливых — причислен, разумеется, и Козько.

Вот тебе раз и два — скованность, зажатость дает, а раскованность не дает... Ничего себе логика!

Продолжение следует.

АЛЕКСАНДР РОГАЛЕВ

Рогволод и Рогнеда: сущность имени

«Бе бо Рогволод пришелъ из-заморья, имяше власть свою в Полотьске». Таково сообщение «Повести временных лет» о первом (из известных нам) полоцком князе. Год рождения этого правителя в источниках отсутствует. Годом смерти считается 980-й (или, по другим версиям, 970-й, 975-й), когда новгородский князь Владимир Святославич захватил Полоцк.

Почти невозможно точно определить начало княжения Рогволода в Полоцке. В исторической литературе называется несколько дат — 960-е, 970-е годы, середина 40-х годов X века. Среди этих скупых фактов можно найти материал для размышления.

Князь-вещун

Сегодня, пожалуй, любой белорусский школьник на вопрос «Кто такой Рогволод?» ответит: князь. А что значит — князь?

Понятие *князь* имело ряд значений, менявшихся во времени. Одно из них в русском и белорусском языках кануло в историю и забылось. По крайней мере, в современных словарях и справочниках оно не отмечается. Между тем для X века, для времени Рогволода, эпохи язычества это значение слова *князь* было вполне актуальным. Что мы имеем в виду?

В ту далекую эпоху *князем* называли не только предводителя войска, правителя феодальной области, но и вершителя культовых ритуалов, по-современному — священника. Из славянских языков такое толкование слова *князь* наиболее устойчиво сохраняли верхне- и нижнелужицкий языки, развившиеся на основе древних наречий поморских славян. О существовании в прошлом этого значения косвенно свидетельствует и родственное слову *князь* польское слово *ксёндз*, осевшее в русском языке на правах экзотизма, а в белорусском языке являющееся вполне полноправным лексическим фактом словаря и имеющее значение «католический священник».

Не следует, однако, думать, что в языческую эпоху любой славянский князь был и волхвом. Вещунство, жречество — это не должность и не звание, автоматически возлагавшиеся на того, кто становился князем, а свойство души, природная склонность, врожденная способность человека.

В древнерусских историко-литературных памятниках есть прямое указание на вещие способности двух князей. Один из них — полулегендарный правитель Новгорода и Киева, объединивший Северную и Южную Русь, Олег Вещий (год рождения неизвестен, умер около 912 года). Второй — полоцкий князь Всеслав Брячиславич (год рождения неизвестен, умер в 1101 году), обладавший, по свидетельству автора «Слова о полку Игореве», вещей душой, один из последних защитников и хранителей традиционного язычества.

Всеслав-Чародей — праправнук Рогволода. Интересно, что именно он назвал одного из своих сыновей *Рогволодом* в честь славного предка. Имя *Рогволод* носил еще один князь из полоцкой ветви — Рогволод Борисович, внук Всеслава. Больше это имя ни в одном княжеском доме не появлялось, а среди южнорусских князей (Ярославичей и их потомков) оно вообще не употреблялось ни разу.

Особое имя

Имена русских князей делятся на две группы — дохристианские (языческие) и христианские. Имя *Рогволод* относится к первой группе. Во все времена существовал набор устоявшихся княжеских имен. Поэтому в княжеских домах как в языческую, так и в христианскую эпоху имена постоянно повторялись. Среди специфических княжеских имен языческого периода отыскивается ключ не только к осмыслению именования князя Рогволода, но и к установлению подлинной сущности этой достаточно загадочной исторической фигуры.

Имена славянских князей-язычников по своему этимологическому значению идентичны аналогичным именам в других индоевропейских языках и представляют собой эпитеты-характеристики не просто человека, а воина и вождя, идеального в понимании наших далеких предков правителя.

Воин-вождь должен быть славен. Отсюда многочисленные имена на *-слав*: *Вячеслав*, *Милослав*, *Святослав*, *Твердислав*, *Болеслав*, *Хвалислав*, *Изяслав* и т. п. Воин-вождь обладает властью, и слава приходит вместе с властью. Вот почему среди княжеских имен нередкими были имена *Властимир*, *Владимир*, *Властислав*, *Властибор*.

Власть вождя должна расти, чему соответствовали имена *Ростислав*, *Ростигнев*, *Святослав*, *Святополк* (исходное значение корня *свят-* — «набухший, выросший, усилившийся».

К этой же группе имен относится имя *Вячеслав* — от корня *вяч-* в значении «больший, сильнейший»). Власть будет настоящей при условии ее устойчивости и твердости. Эту аксиому подтверждало княжеское имя *Твердослав*.

Правитель-воин должен быть всегда готов к борьбе, войне. В битве вождь яростно сокрушает врагов. Эту тему отражают имена *Борислав*, *Божебор*, *Мстислав*, *Ярополк*, *Яромир*, *Ярослав*, *Гневомир*, *Воибор*, *Воимир*, *Воислав*, *Мстивой*.

С другой стороны, чтобы мудро править, вождь должен отличаться терпением и спокойствием, что подчеркивали имена *Тихомир*, *Томислав* (от *томити* — «прощать, терпеть»). Правителя-князя всегда восхваляют, превозносят его доброту, красоту, милость и любовь к подданным и подчиненным, особенно к воинам, дружине. Этим объясняется наличие среди княжеских именных эпитетов-характеристик имен *Хвалислав*, *Хвалимир*, *Милослав*, *Милолюб*, *Миловид*, *Любомир*, *Добролюб*, *Доброслав*, *Добронрав*.

Имя *Рогволод* — «обладатель рога» — выпадает из списка языческих имен славянских князей. Рог считался символом божественной силы, плодоношения и богатства (ср. исландское слово *rögg* — «сила, мощь» и старинное русское выражение *рогато жить* — «богато, в достатке»), защиты от враждебных духов. Рог был предметом для определенных колдовских действий, волхвования, культового возлияния [3. С. 278]. Обладатель рога как непременного атрибута языческого культа, безусловно, принадлежал к жреческому сословию.

Жрец и жрица

Летопись указывает на приход Рогволода в Полоцк из «заморья». «*Заморьем*» в X веке считалось южное побережье Варяжского (Балтийского) моря, территория поморских славян, с которыми Русь, особенно северная ее часть, имела очень тесные связи (см. «Имя *Белая Русь* в контексте этнополитической истории

Русской земли»). Самыми большими и знаменитыми центрами поморских славян являлись города Волин и Аркон.

Волин располагался на одноименном острове в Балтийском море. Аркон лежал на острове Руяне (Рюгене), вблизи Поморской бухты в Одерском заливе. Именно в Арконе, как помнит читатель, находилось главное культовое место всех поморских славян — святилище бога Святовита с четырьмя головами.

В правой руке кумир держал рог, изготовленный из разных металлов. Этот сакральный рог через определенное время наполнялся из рук жреца для предугадывания погоды, определения плодородия, совершения иных магических действий. Раз в году, после сбора урожая, люди со всего острова устраивали после жертвоприношения животных праздничный пир во славу бога Святовита. Таковы свидетельства очевидцев, отраженные в сочинениях древних авторов, в частности, Саксона Грамматика [2. С. 358].

По всей видимости, из Аркона, а может быть, и из Волина, происходил человек, который в «Повести временных лет» указан как Рогволод. Можно предполагать, что миссия этого жреца заключалась в распространении и укреплении языческого культа поморских славян в Придвинье и в подтверждении династических претензий их элиты на главный город в верховьях Западной Двины — Полоцк.

Миссия эта, вероятно, была длительной, поскольку летопись утверждает, что Рогволод «имяше» власть свою в Полоцке (древнерусская глагольная форма «*имяше*» указывает на длительность действия, совершавшегося в прошлом). Не исключено, что задачей правителя-жреца Рогволода было распространение влияния поморских славянских центров также на более глубинные районы древнего пути «из Варяг в Греки». Этим, возможно, объясняется появление Тура в Турове. Заметим, что имя *Тур*, упоминаемое в летописи рядом с именем Рогволод, также имеет явную культовую подоснову, связанную с древнейшими верованиями язычников-славян. В имени *Тур* отобразилось почитание тура-быка как тотема, в котором воплощена душа тотемного предка.

Одной из ключевых фигур в Полоцке описываемого времени была Рогнеда. Традиционно ее считают дочерью Рогволода. Высказывалась также версия о том, что Рогнеда была женой полоцкого правителя. На наш взгляд, Рогнеда — прежде всего жрица, «невеста» языческого демона, служительница культа и сподвижница Рогволода.

Думать так позволяет весьма надежная мотивировка имени *Рогнеда* на базе литовских слов *raganauti* («колдовать, заклинать»), *raganius* («заклинатель, ясновидец; колдун»), *ragana* («ведунья»). Поморские славяне впитали, вобрали в себя и свой язык пестрый субстрат — «виндальский» (кельтский) и руго-русинский (особый индоевропейский народ, растворившийся также в балтах и восточных славянах). Поэтому объяснение имени славянской жрицы на балтском языковом материале не должно удивлять, тем более что приведенные балтские номинации продолжают, как можно полагать, предшествовавшие им более древние индоевропейские языковые факты.

Впрочем, имя *Рогнеда*, как и *Рогволод*, является скорее не столько настоящим именем, сколько своеобразным иносказанием, функциональной характеристикой, эпитетом лица. Такими же эпитетами-характеристиками, как мы видели, были и славянские княжеские имена. На истинные имена жрецов и жриц, как и многих князей, обычно налагалось табу.

Воля истории

Князь Владимир, который захватил Полоцк, убил Рогволода и силой взял Рогнеду в жены, не предполагал, что тем самым посеет зерна непримиримой вражды между князьями полоцкой и киевско-черниговской ветвей. Посредством брака с Рогнедой Владимир замышлял объединить всю Русь под своим началом.

Матерью Владимира была Малуша, которую мы считаем дочерью древлянского князя Мала, плененной среди руин столицы древлян Искоростеня и воспитанной бабушкой Владимира княгиней Ольгой. Поэтому Рогнеда назвала Владимира «робичичем». Язычник Владимир исповедовал иной языческий культ, нежели Рогволод и Рогнеда. По мысли Владимира, брак с Рогнедой даст право его будущим детям стать законными правителями всей Руси — и северной, и южной.

Отказ Рогволода выдать замуж Рогнеду ломал все планы амбициозного новгородского князя. Владимир решил если не миром, то войной завладеть Рогнедой. Свершившийся брак с княгиней-жрицей заставил Владимира Святославича произвести в Киеве религиозную реформу, заключавшуюся в объединении разных языческих культов.

Но киевский князь не добился признания со стороны полоцкого жреческого сословия. Более того, вызвал своими действиями недовольство прочих жреческих кланов. Не к этому ли времени восходит заговор с целью убийства Владимира, во главе которого стояла Рогнеда?

Видя провал своего замысла, князь Владимир Святославич решил расправиться с языческими культами и их центрами путем принятия христианства. Языческая жрица Рогнеда была ему больше не нужна. Владимир Святославич захватил крымский город Херсонес и заставил византийских императоров отдать ему в жены царевну Анну. Новому браку предшествовало крещение Владимира.

Рогнеда, по-видимому, была крещена насильно и пострижена в монахини. Сын ее Изяслав, полоцкий князь, находился в оппозиции к Владимиру вплоть до загадочной смерти в расцвете лет в 1001 году, вслед за матерью Рогнедой, скончавшейся годом раньше. Внук Брячислав, по сути, начал войну с Киевом. Правнук Рогнеды Всеслав оказался самым непримиримым врагом киевских Ярославичей.

Волком рыскать в ночи

Всеслав Брячиславич унаследовал вещие способности Рогнеды и Рогволода. Вещунами-прорицателями, волхвами-гадателями являлись, как правило, чрезвычайно пассионарные люди, насыщенные биохимической энергией, весьма впечатлительные, с художественным мышлением, с сильным биополем, умевшие посредством говорения, шептания, пения, особых молитвенных формул воздействовать на других людей, реально творить их мироощущение, подчинять своей воле.

Выпивая, съедая или вдыхая особое наркотическое снадобье (культовое средство), вещун-жрец доводил себя до состояния экстаза. Одновременно он громко пел, а затем падал без сознания, впадал в забытье. В таком состоянии душа жреца как бы отделялась от тела, возносилась к небесам, путешествовала в облике птицы.

Душа вещуна, как верили, могла проноситься и по земле в облике оленя или волка, уходить в глубины моря в облике рыбы, перескакивать по деревьям белкой. Этим волшебным искусством владел и вещий поэт-сказитель Боян, упомянутый в «Слове о полку Игореве».

Люди, присутствовавшие при сакральном акте, с нетерпением ожидали возвращения вещей души. Когда тело оживало, жрец начинал рассказывать о настоящем, прошлом и будущем, обо всем, что видела его душа во время этого немыслимого для обычного человека «путешествия».

В таком контексте следует понимать утверждение автора «Слова о полку Игореве» о способности Всеслава-Чародея перевоплощаться и волком рыскать в ночи. Впрочем, дети Всеслава Брячиславича были христианами. Вещая душа Рогволода больше не воплощалась в потомках князя-жреца X века. В XII веке полоцкие князья измельчали и потерялись в истории.

АЛЕСЬ МАРТИНОВИЧ

Сердцем — с Беларусью, душой — с Якутией

От Волмы и Припяти до Лены


Эдуард Карлович Пекарский.

Получилось как в пословице, впервые услышанной им, кажется, еще в годы юности, когда летом отдыхал у своего двоюродного дедушки в местечке Барборов. Она звучала примерно так: «Калі шанцуе, дык і Хвілімон танцуе!»

Танцевать и в самом деле было отчего. Эдуард Карлович и подумать не мог о том, что внезапно все повернется так благоприятно.

Начало же всему положила весть. Кто-то из детей хозяина, вскочив в юрту, во весь голос крикнул: «В наслег священник пожаловал!»

В здешних местах появление приезжего человека — всегда событие, и оно не может не заинтересовать. Тем более, если это священник. Людям не хватает общения, впечатлений, а затеяв нехитрый разговор, отвести душу никогда нелишне. Как-никак, вокруг бесконечная тундра, и только местами, словно те небольшие островки среди безбрежного моря, расположились на большом расстоянии одно от другого якутские селения, вперемежку с которыми находятся и поселения ссыльных.

Юрты коренного населения и строения приезжих или сосланных сюда не ставятся рядом. В лучшем случае — за версту друг от друга, а то и больше. Таковы местные обычаи, а «придя» в гости, свои порядки устанавливать не будешь. Поэтому и Пекарский, когда строился, обычай этот не стал нарушать. Понравилось ему место как раз за версту от соседа-якута. И начал строиться именно там. Именно строиться, а не просто ставить юрту.

Хоть и нелегко приходилось с материалами, не мог отказать себе в удовольствии иметь дом, пускай и не просторный, но хотя бы внешне похожий на те, которые ставят на его далекой родине.

Сам выбирал толстые деревья...

Сам валил их...

Сам обтесывал...

И только тогда, когда возводил стены, позвал на помощь якутов, затем с обтесанных старательно, будто обструганных, плашек сделал пол. Те, которые были

потоньше, использовал для нар. Рядом с домом через некоторое время появился амбар, служивший одновременно и сараем.

К соседу наведывался только тогда, когда случалось вольное время. Чаще это было зимой. Ведь в это время работы той — только по хозяйству управиться. Держал четырех коров, быка, нескольких телят. Да и коня имел. Как-то ведь жить нужно, на чужую помощь рассчитывать не приходилось. Как говорят, что заработаешь, то и съешь. Летом вовсю старался. До боли в суставах, до полной утомленности. Не до отдыха было. Здешнее лето совсем короткое. Каких-то два с половиной месяца. Их и нужно было использовать как можно лучше, с наибольшей пользой, чтобы спокойно зимовать.

Под щедрыми лучами солнца трава растет так быстро, что, кажется, приглядись лучше — и заметишь, как тянутся ее ростки вверх. Однако некогда любоваться этой красотой. А она вокруг такая, что глаз не отвести. Словно огромный ковер кто-то на земле разостлал. Будто и не в Якутии находишься, а где-нибудь в родной Беларуси. Даже не верится, что пройдет немного времени, неожиданно резко похолодает, небо затянется тучами, день за днем будут идти непрерывные дожди и небо превратится в сито, с которого моросит и моросит. Не удастся сено своевременно убрать — можешь ни с чем остаться. Промокнет, сгниет. Поэтому в эти месяцы каждая семья все время находится на сенокосе.

Не отставал от других и Пекарский. Правда, его старания не всегда приносили желаемый результат. Год назад оказался в очень тяжелом положении. Зима только началась, а скот уже нечем было кормить. Сена собрал всего каких-то двенадцать с половиной возов, да и оно сгнило. К счастью, свет не без добрых людей. Руководство наслега пошло навстречу. Оказали помощь, выделили пять возов хорошего сена. Его Пекарский перемешал с подгнившим и как-то продержал своих животных до конца зимы.

Кстати, подобная взаимопомощь у якутов была нормой, и сам Эдуард Карлович, когда наступали лучшие годы, охотно поддерживал других. А пережив тот, не лучший для него год, наученный горьким опытом, все следующее лето провел на своем участке. Чтобы экономить время, сделал шалаш. В нем не только отдыхал днем, но и ночевал. А еще отказался от косы-горбуши, которой пользовались якуты. Была она приделана к кривой и короткой ручке, поэтому приходилось замахиваться над головой, словно саблей, а в результате трава не косилась, а ссекалась. И тяжело, и непродуктивно. Иное дело традиционная литовка, которую, хоть и с трудом, но удалось достать. И работаешь с удовольствием, и результат сразу виден. Правда, все равно немало пота прольешь, пока скосишь весь участок. А он немалый — если обойти весь по окружности, верста получится.

А что именно верста, и не меньше, убедился, когда начал забор ставить. Столько жердей понадобилось! Как подумаешь, даже страшно становится. Зато польза заметная. Можно быть спокойным, что трава останется целой. А подобная осторожность не лишняя. У якутов домашний скот никто не пасет. Летом и ближе к осени, пока земля не покроется снегом, а также ранней весной, коровы и кони предоставлены сами себе. Ходят где им заблагорассудится. И на лугу, и в лесу, только смотри, чтобы не нанесли тебе вреда.

Летом работы было с избытком. А зимой... Зимой хватало свободного времени. Одно плохо — мороз сильнейший. Да и полярная ночь долгая. Однако же не первый год он в Якутии, ко многому успел привыкнуть. Поэтому, несмотря на то, что от мороза дыхание перехватывало, к соседям часто ходил. Особенно любил бывать у якута, жившего от него за версту. Был тот немолодой уже, имел дружную семью. Жил, правда, бедно. Но, как убедился Эдуард Карлович, среди якутов часто наблюдается то, что и среди других народов. Смотришь: бедняк-бедняком, а душа у него щедрая, открытая!

Человек человека ищет

Поэтому и тянуло Пекарского к соседу. О чем только они не говорили, что не обсуждали! Больше всего нравилось Эдуарду Карловичу слушать разные местные истории, а еще якутские песни — длинные, протяжные. Сначала они были Пекарскому непонятны, а когда немного освоился с якутским языком, убедился, что в этой монотонности, в которой, как кажется на первый взгляд, преобладают только тоскливые, грустные мотивы, есть своя красота.

Однако на этот раз пойти в знакомую юрту была иная причина: заболела дочь соседа. А Пекарский успел зарекомендовать себя хорошим доктором, поэтому к нему часто обращались за помощью. И теперь, посоветовав, как лучше ухаживать за больной, сидел Эдуард Карлович тихо у огня, пока и не вывел его из задумчивости этот крик: «В наслег священник пожаловал!»

Священника Эдуард Карлович знал. Это был Димитриян Димитриянович Попов с соседнего селения Ытык-Кёль. Правда, лично с ним еще не познакомился.

Возможно, этой случайной встречей все и окончилось бы, если бы через некоторое время Пекарский не оказался с отцом Димитрияном в соседнем, как говорили в здешних местах, русском доме. Хозяин его не преминул приветить у себя такого гостя, а с Пекарским у него давно были хорошие отношения. Однако, хотя и очутился Эдуард Карлович с Поповым почти рядом, хотя они сразу и узнали друг друга, но пока батюшка не обратился к нему, разговора сам не начинал.

Первым шаг навстречу сделал отец Димитриян. Он взял чайник, в котором вскипела вода, и обратился к Эдуарду Карловичу, тихо сидевшему на некотором отдалении от стола:

— Не соизволите ли, уважаемый, попить чайку со священником?

Пекарский отказываться, конечно, не стал. Поблагодарил за приглашение, сел ближе к столу.

Сама атмосфера располагала к искренности. Инициативу в свои руки взял отец Димитриян:

— Говорите, Пекарский ваша фамилия? — спросил он словно для большей убедительности, когда Эдуард Карлович представился ему.

Чувствовалось, что Попову хочется поговорить.

— Родом из неблизких отсюда краев, не иначе? — Он большими глотками отпивал чай. Трудно было не заметить, что отец Димитриян получает удовольствие даже не столько от чая, сколько от возможности поговорить с человеком.

Когда чайник опустел и его наполнили водой вторично, выяснилось, что и отец Димитриян, как и Эдуард Карлович, работает над составлением словаря якутского языка. Более того, батюшка пообещал свои записи передать Пекарскому.

Такому неожиданному подарку поначалу не хотелось верить. Однако Димитриян Димитриянович сразу внес ясность:

— Не отказывайтесь, уважаемый господин Эдуард, — при этом он внимательно посмотрел на Пекарского. — Извините, что вот так, едва не сразу, начал называть вас по имени. Простите... Но я уже старый человек, намного старше вас, поэтому и позволил... А поскольку старше вас, то и могу беспокоиться, чтобы начатое мною дело было доведено до конца. А вы как раз тот, кто это и может сделать. Так что тянуть долго не буду. Что сам передам вам, а что через свою дочь...

После прощания с Поповым и вспомнилась Эдуарду Карловичу пословица: «Калі шанцуе, дык і Хвілімон танцуе!»

А ему повезло... Еще как повезло! Поэтому и хотелось от радости танцевать.

Правда, по возвращении домой это чувство уступило место иному: «С неблизких отсюда краев не иначе?»

За кружкой горячего, ароматного чая Пекарский только малость вспомнил о своей прежней жизни. Только самую малость...

Теперь же, слушая за окном завывание ветра, он долго ворочался на нарах, которые неожиданно стали слишком твердыми. Понимал, что сон не приходил из-за того, что так много переживаний и воспоминаний вызвал у него разговор с Поповым. Поэтому мягкие мятлики камыша, собранные на озере, находящемся не так и далеко от его дома, и положенные на нары вместо матраса, не создавали уютности, как это было раньше.

А еще он, этот сухой камыш, пахнул чем-то давно знакомым. Чем конкретно, Эдуард Карлович понял не сразу. И только тогда, когда устал, ворочаясь на нарах, наконец-то вспомнил: примерно так пахнет и аир! Аир, собранный в заболоченных местах Волмы, Припяти... Хотя о Волме вспомнил зря, тогда был слишком мал, чтобы что-то запомнить. А насчет Припяти — правильно. Сестра его двоюродного деда Ромуальда Пекарского бабушка Волосецкая часто приносила аир в хату. Бабушку он, правда, не любил, да и она не слишком радовалась его пребыванию в доме.

Да бог с ней, с бабушкой Волосецкой! Сколько времени прошло со дня его нахождения в Барборове! Но ничто не забывается и ничто не проходит бесследно. Внезапно всплывет в памяти, притом вызовет странные чувства. Если бы и старался, вряд ли можно было соединить подобное. Запах аира с берегов Припяти и запах камыша с озера, затерявшегося в якутской тундре. Хотя, а что здесь странного?

Тяжела дорога к справедливости

Родился Эдуард Пекарский 25 октября 1858 года в фольварке Петровичи. Тогда это был Игуменский уезд, а ныне Смолевичский район Минщины. Мальчик был первенцем в семье Карла и Терезы Пекарских. Хотя отец Эдуарда и принадлежал к древнему шляхетскому роду, но не сказать чтобы жил в достатке. Арендаторский труд, конечно же, не приносил ни славы, ни богатства. Разве что новых впечатлений хватало из-за частых переездов с места на место.

Впечатления впечатлениями, однако ими сыт не будешь. Вскоре умерла мать. Пришлось отдать мальчика на воспитание в крестьянскую семью. А через некоторое время родная тетя Эдуарда, которая жила в Минске, забрала племянника к себе. Благодаря ей он овладел грамотой, научился писать по-польски и по-русски.

Самое время было подумать о дальнейшей учебе. Отец направил сына в Мозырскую гимназию. Тогда и познакомился Эдуард со своими двоюродными дедом и бабушкой, жившими в полесском местечке Барборов. Юноше понравились эти прекрасные места, но из-за дедовой скупости (не говоря уже о скупости бабушки Волосецкой), из-за его постоянного недовольства всем и всеми он чувствовал себя у родственников не очень уютно. Наконец решил проявить принципиальность. Заранее посоветовавшись с отцом, на каникулы остался в Мозыре, а чтобы иметь хоть какие-то деньги, занимался репетиторством с отстающими гимназистами.

В 1873 году Пекарский переехал в Минск. Однако и в Минской гимназии Эдуард проучился недолго, всего полгода. Отец узнал, что директором Таганрогской гимназии стал бывший директор Мозырской, и направил туда сына. Благословил на учебу внука и дед.

Учеба в Таганроге стала для Пекарского началом его революционной деятельности. Правда, кружок, в который он входил, власти вскоре разогнали. Пошли слухи, что всех выдал провокатор. Подозрение пало на Эдуарда, поэтому он, обиженный, после завершения учебного года перевелся в Черниговскую гимназию. Однако от продолжения революционной деятельности не отказался. Устроился в сапожную мастерскую, чтобы удобнее было вести пропаганду среди ремесленников, рабочих.

Несмотря на то, что революционная деятельность отнимала много времени, учился хорошо. Но не найдя взаимопонимания с некоторыми преподавателями, подал заявление об отчислении. На этот раз забеспокоился дед Эдурда Ромуальд Пекарский. Эдуард дал слово продолжать учебу и поступил в Харьковский ветеринарный институт. Деду хотелось, чтобы внук стал ветеринарным врачом. Внук же желал как можно быстрее очутиться в самом центре революционного движения. А что центр его находится в ветеринарном институте, категорично утверждали ученики Черниговской гимназии. И они были недалеки от истины.

Что это и в самом деле так, на склоне своей жизни Пекарский признался в своих «Отрывках из воспоминаний», которые в 1924 году печатались на страницах журнала «Каторга и ссылка».

Произошли волнения в Харьковском ветеринарном институте. Зачинщиков арестовали. К ним, безусловно, относился и Пекарский, однако ему удалось скрыться. Уже находясь на нелегальном положении, он узнал, что исключен из института без права поступления в какое-либо другое высшее учебное заведение. Кроме того, Пекарского заочно присудили к пяти годам административной ссылки в Архангельскую губернию.

Бунтовщик через несколько месяцев «всплыл» в качестве писаря Княже-Богородского волостного управления Тамбовского уезда Ивана Кирилловича Пекарского. Имя и отчество поменял для того, чтобы не слишком выделяться среди местного населения. Эдуардов, притом Карловичей, доселе никто там не встречал. Вскоре сблизился с агрономом Михаилом Девелем, помещиком Михаилом Сатиным, письмоводителем, у которого начал работать с июня 1879 года, вошел в состав революционного общества «Земля и воля».

Когда же полиция вышла на след революционеров, Пекарский снова ушел в подполье, получив с помощью друзей паспорт на имя мещанина Николая Полунина. Прятался некоторое время в Смоленской губернии, но поскольку им заинтересовался становой пристав, перебрался в Москву. Однако Эдуарда Карловича и здесь выследили. И арестовали...

Дело Пекарского рассматривалось 10—11 января 1881 года в Московском военно-окружном суде. Его признали виновным в том, что «принадлежал к тайному обществу, ставившему целью свергнуть путем насилия существующий государственный строй», а также в том, что «жил под чужим паспортом», в результате его осудили на пятнадцать лет каторги. Правда, одновременно суд постановил ходатайствовать перед Московским генерал-губернатором смягчить Пекарскому наказание. В конце концов губернатор, принимая во внимание молодость Пекарского, его болезненное состояние, каторгу заменил ссылкой на поселение «в отдаленные места Сибири с лишением всех прав и состояния».

Впереди была долгая и тяжелая дорога...

В феврале 1881 года Пекарского перевели в Вышневолоцкий политический острог Тверской губернии. Весной в арестантском вагоне повезли в Нижний Новгород. А потом пришлось и на баржах плыть, и пешком идти, и на телегах ехать. В результате оказался в Красноярске, а оттуда его дорога лежала в Иркутск, в котором очутился 27 сентября 1881 года с кандалами на ногах и с воспалением легких, поскольку в дороге заболел.

Дальнейшая его судьба зависела от генерал-губернатора Восточной Сибири. Тот отдал распоряжение отправить Пекарского 8 октября в Якутскую губернию. В Якутск вместе с конвоирами добрался только 8 ноября. Оно и понятно, какая дорога! И берегами Лены ехали, и по льду... Принял Эдуарда Карловича сам якутский губернатор. Местом поселения для него выбрал Первый Игидейский наслег Ботурусского улуса (по нынешнему административному делению Алексеевский район Республики Саха) — 230 верст на северо-восток от Якутска.

По приезде в Игидейцы Эдуарда Карловича назначили хозяином межводной станции.

Познать народ — изучить его язык

Постепенно дела наладились. Но Пекарский хотел не только выжить в этих суровых условиях, но и жить... А чтобы жить (жить, а не просто существовать!), нужно было обязательно найти взаимопонимание с местным населением. Достигнуть же этого куда проще, если овладеешь местным говором.

Не случайно говорят: язык — душа народа. А ему хотелось заглянуть в эту душу, почувствовать всю глубину ее и богатство. А еще изучить местные обычаи и традиции.

Значительно позже Пекарский признается: «Я думал, что весь якутский народ — это есть часть российского народа, и я буду продолжать делать то, что я делал в России, то есть вести пропаганду».

Воодушевленность делом, которое хотелось продолжать, вскоре принесла ему первые желаемые успехи. Через каких-то полгода Эдуард Карлович не только мог разговаривать по-якутски, но и при необходимости приходил на помощь начальству наслега, если ему нужно было провести с русскими переселенцами какие-либо переговоры.

Первым учителем Пекарского в овладении якутским языком (он относится к тюркской группе и очень тяжел для восприятия европейцами, поскольку есть звуки, которые можно правильно передать только после долгой тренировки) стал слепой отец содержателя той станции, где Эдуард Карлович работал несколько месяцев по приезде в Игидейцы. Старик Очокун (в отдельных публикациях встречается и вариант Почекун) показывал ему отдельные предметы и называл их по-якутски.

Эдуард Карлович узнал, что в 1858 году вышла «Краткая грамматика якутского языка», составленная епископом Диянисием (Дмитрием Хитровым). Слова в ней передавались латынью. Эта «Грамматика» стала для него также своего рода учебником. Кроме того, в руки Пекарского попали и некоторые другие издания, выпущенные на якутском языке миссионерским обществом, — «Евангелие», «Деяния апостолов», «Псалтырь»... Из этих книг он выписывал отдельные якутские слова, чтобы затем найти их русское соответствие.

Пришел Эдуарду Карловичу на помощь и Петр Алексеев, с которым они подружились и неоднократно встречались. А сделать это было не так и трудно. Алексеев также был выслан в Ботурусский улус и жил в 18 верстах от Пекарского. А поскольку оба имели лошадей, то, по необходимости, легко добирались друг к другу. Алексеев подарил другу рукописную книгу, привезенную им из Корийской крепости, где он перед этим отбывал наказание на золотых приисках. Ее Алексееву, в свою очередь, передал князь Тыцианов, который проходил по «процессу 50-ти» и находился с Алексеевым в дружеских отношениях.

Эту книгу Пекарский также использовал для записей. Да и свою тетрадь завел. Так понемногу и работал. В книгу записывал русские слова с переводом на якутский язык, в тетрадь — якутские, перевоплощенные по-русски.

И вот теперь эта встреча с отцом Димитрияном. И обещание поддержки.

«Везет все же тебе, Пекарский! — подумалось ему, когда, наконец-то, начал приходить сон. — Везет».

Попов сдержал слово. Как и договорились, начал передавать свои записи. Иногда привозила их его дочь. Постепенно количество собранных якутских слов составило больше трех тысяч. Эдуард Карлович не прятал своей радости от того, что дело сдвинулось с мертвой точки и результаты стали ощутимы. Однако для этого была и другая, и, скорее всего, более важная причина.

Как узнал из публикации в газете «Неделя» за 1885 год, во время одного из заседаний Московского общества любителей природоведения, антропологии и этнографии нашелся выступающий, который утверждал, что якутский язык очень беден и насчитывает всего три тысячи слов. Эдуард Карлович, который уже смог убедиться в словарном богатстве местных говоров, не мог внутренне с этим

согласиться. Да и появилось еще одно подтверждение, что правда находится на его стороне. Пекарский познакомился с «Якутско-немецким словарем», составленным петербургским ученым Отто Бёрлингом. Два экземпляра его оказались у ссыльного террориста Николая Тютчева. Один из них он подарил Эдуарду Карловичу. Хотя этот словарь и был далек от совершенства, он, тем не менее, включал в себя более четырех с половиной тысяч слов.

Значит, не ошибся. Богат якутский язык! Еще как богат! Поэтому нужно и дальше работать в этом направлении. И Эдуард Карлович работал, хотя и приходилось все делать в очень тяжелых условиях. Составлением словаря в основном занимался зимой. Не хватало денег, не было самого необходимого. Позже он признавался: «Часто не было письменных принадлежностей, приходилось пользоваться каждой осьмушкой бумаги, у которой одна сторона чистая. Не было свечей, и приходилось читать, а иногда и писать, при свете камина, рискуя испортить себе глаза».

Еще тяжелее стало, когда в 1896 году умер отец Димитриян. К счастью, были уже и новые помощники, а среди них в первую очередь ссыльные. Ананий Орлов, Николай Виташевский, Марк Натансон охотно предлагали свои переводы якутских слов на русский язык. А ссыльный Всеволод Ионов, как выяснилось, сам несколько лет занимался составлением русско-якутского словаря. Свои материалы он передал Пекарскому, а работу по дальнейшему сбору уже продолжал под его непосредственным руководством.

Дело первопроходца — дело нужное

Наконец, первый вариант «Словаря якутского языка» был завершен. Он состоял из семи тысяч слов. Весть об этой уникальной работе дошла даже в Париж. Известный языковед П. Якоби прислал Пекарскому письмо, в котором спрашивал, когда этот словарь увидит свет и как его можно будет приобрести. Одновременно Якоби давал советы. Эдуард Карлович вынужден был прилагать усилия по изданию словаря. Как выяснилось, сделать это не так и просто. Попробовал связаться с Николаем Тютчевым, когда узнал, что того собираются отправить на родину. Считал, что в Казани Тютчев обо всем договорится с известным востоковедом Николаем Ильминским. Однако, как стало вскоре известно, Тютчева выпускать из Сибири не собирались. Его направили на поселение в Красноярск.

И все же Тютчев просьбу Пекарского не забыл. Зная, что надзирателем Иркутского острога является один из членов Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества и под его непосредственным руководством осуществляется вся научная работа в этом регионе России, он передал ему письмо Эдуарда Карловича. К сожалению, этот надзиратель оказался обычным бюрократом, и письмо-просьба легло на стол Иркутского генерал-губернатора А. Игнатьева. Последний, чтобы во всем разобраться, сделал запрос якутскому губернатору К. Светлицкому. А вот тот заинтересованно отнесся к делу. Он приказал своим подчиненным связаться с Пекарским и попросить его передать рукопись в Восточно-Сибирский отдел Географического общества.

Работая над словарем, Эдуард Карлович одновременно исследовал быт якутов, их обычаи, материальную культуру. И в этом направлении нашел единомышленников, с которыми было трудиться легче и плодотворнее. Например, вместе со ссыльным революционером Георгием Осмоловским написал статью «Якутский род до и после прихода русских», которая была помещена в «Памятной книжке Якутской губернии» в 1896 году, а написана тремя годами раньше. В этом же ежегоднике появлялись и другие публикации Пекарского.

И вообще, несмотря на завершение срока ссылки, он оставлять Якутию пока не собирался. Об этом написал в письме отцу 2 мая 1894 года: «Раньше, чем

окончится печатание словаря, мне нечего и думать о возвращении на родину, хотя даже и будет получено на это дозволение, потому что нельзя бросать работу, которой отдано тринадцать лет лучшей поры жизни».

В 1894—1896 годах Пекарский участвовал в экспедиции Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, которую проводил руководитель делами отдела ссыльный Дмитрий Клеменц. Он не мог не понимать, что значит для развития науки деятельность Пекарского. Вот что воспоминал на этот счет сам Эдуард Карлович: «Мой словарь якутского языка Клеменц назвал тем конем, на котором можно будет выехать в том случае, если экспедиция не даст желаемых результатов. В этом смысле Клеменц, видимо, вел переговоры с Сибиряковым. Поэтому Сибиряков ассигновал на экспедицию 10 000 рублей и на издание словаря 2 000 рублей».

Благодаря материальной помощи Сибирякова, словарь вышел в Якутске в 1898 году. Всего же Пекарским на то время было записано около 20 тысяч слов, а его картотека насчитывала 15 тысяч единиц. Эдуардом Карловичем заинтересовалась Российская Академия наук, и благодаря ей Пекарский смог в конце 1899 года поселиться в Якутске. Академией ему была назначена помощь размером 400 рублей в год. Но этого не хватало, поэтому он устроился в канцелярию окружного суда, а также искал другие заработки. И конечно же, доводил до завершения работу над словарем. Кроме того, в 1900 году нашел помощников, составил «Краткий русско-якутский словарь», который издавался дважды.

На 1903 год приходится участие Пекарского в работе Нелькано-Аянской экспедиции. Его задачей было изучение быта эвенков, в результате чего появилось исследование «Очерки быта приянских тунгусов», ставшее для своего времени настоящим научным открытием и не утратившее своего значения по сегодняшний день.

Результат всей жизни

Наконец настал день прощания с якутской землей. Эдуард Карлович не скрывал радости, что сможет полностью посвятить себя науке — его пригласила Академия наук в Петербург, чтобы завершить работу над словарем. Вместе с тем и грустно было — столько лет отдано суровому краю, так много друзей и знакомых оставлял в Якутии.

Первый выпуск «Словаря якутского языка» вышел в Петербурге в 1907 году. А всего их было 13. Последний увидел свет уже в 1930-м. 1907 годом помечен первый том записанных им «Образцов народной литературы якутов» на якутском языке (заключительный, третий, издан в 1918 году). За первый выпуск словаря Пекарский был удостоен золотой медали Академии наук. А еще за этот выпуск и первый том «Образцов народной литературы якутов» получил золотую медаль Русского географического общества.

Трудам Эдуарда Карловича была дана высокая оценка и выдающимися учеными своего времени. Известный тюрколог Василий Радлов отметил, что словарь Пекарского не только является чудесным пособием для изучения якутского языка, но и дает целостную картину жизни этого народа. Он признавался: «Я не знаю ни одного языка, не имеющего письменности, который может сравниться по полноте своей и тщательности обработки с этим истинным сокровищем якутского словаря, да и для многих литературных языков подобный словарь, к сожалению, остается еще надолго желаемой недоступностью».

И в самом деле, какое богатство открылось благодаря словарю! 60 000 слов! Однако это не только словарь отдельного языка в его традиционном понимании. Пекарский не просто приводил слова в алфавитном порядке, но и не обходил вниманием быт, обычаи, верования якутов, знакомил с их народными обрядами. Как в данном случае не согласиться с оценкой, данной Валентином Грицкевичем:

«За 45 лет был совершен подвиг. Пекарский создал не просто словарь якутского языка, а настоящую энциклопедию всего уклада жизни народа, его материальной и духовной культуры».

А что значил словарь для самого Пекарского, хорошо видно из статьи известного фольклориста М. Азадовского, помещенной в журнале «Советская этнография» (1934, № 5) сразу после смерти ученого (не стало Эдуарда Карловича 29 июня 1934 года). Азадовский вспоминал, как хотел привлечь Пекарского к работе над одним коллективным исследованием, где его знания особенно пригодились бы. Однако Эдуард Карлович только давал ценные советы, а от непосредственного участия в работе отказался: «Знаете, жить мне осталось немного, и я должен, во что бы то ни стало, окончить «Словарь», — я не имею права брать свое время на что-нибудь другое».

К сожалению, постоянная занятость Пекарского после его возвращения из ссылки не позволяла ему поддерживать тесные связи с родной Беларусью. Побывать на земле своего детства он смог только в 1906 году. Тогда в Пинске встретился с мачехой, братом и сестрой. Поездка же, запланированная в 1924 году, не состоялась — все время забирала работа над словарем. До последних своих дней он продолжал систематизировать материалы, и в результате появилась дополнительная картотека из 15 тысяч единиц.

Куда более тесными были связи Пекарского с Якутией, в которой его хорошо знали и помнили и где иначе, как Адубар Хаарылабыс (Эдуард Карлович), не называли. А один из основателей якутской литературы Алексей Елисеевич Кулаковский еще в 1912 году писал Пекарскому: «У нас не было литературы, а ваш словарь должен послужить краеугольным камнем для ее создания... Вы поистине заслуживаете звания «отца якутской литературы». Без вас не нашлось бы лица, у которого хватило бы дерзости принять на себя такой колоссальный труд, как ваш словарь».

Такую же высокую оценку дал в своей статье «Мысли о якутской литературе», опубликованной в 1925 году, и еще один известный якутский писатель Серафим Кулачиков-Элляй: «В деле изучения якутского языка огромную пользу принесет «Словарь якутского языка», составленный Э. К. Пекарским. Этот словарь должен служить настольной книгой каждого литератора».

По-прежнему помнят этого выдающегося сына белорусской земли в Якутии. Еще в 1958 году в связи со 100-летием со дня его рождения там вышла книга «Эдуард Карлович Пекарский», в которой собраны воспоминания и статьи, рассказывающие о его жизненном пути и научной деятельности. Да и поныне в Республике Саха чтят память о том, кто, по сути, первым открыл богатство якутского языка.



«Выпьем за шагавших под огнем…»

Писатели в «Белорусской военной газете»

Как-то из одной командировки возвращались мы в Минск дружной бригадой в составе трех человек. Наговорившись вволю об увиденном, подмеченном в глубинке, делились разными газетными байками. Попутчики — журналисты разных поколений. Один — возраста предпенсионного. Другому — уже под семьдесят. Самым молодым оказался автор этих строк, у которого за плечами — тоже года не юные, было мне тогда немногим за сорок… Разговор зашел о военных газетчиках, о нашей белорусской военной газете «Во славу Родины». Теперь она так и называется — «Белорусская военная газета». Сначала вспомнили Виктора Трихманенко, потом Холодкова, затем Николая Косаренко, Дидыка, Григория Соколовского, Валерия Пинчука, Леонида Захаренко…

Все — из редакторского корпуса старейшей окружной, а теперь — газеты военного ведомства, первый номер которой вышел в свет в 1921 году. Имена всех — на слуху у белорусского читателя. Ведь и не случайно, как оказалось, все попутчики так хорошо помнили, знали военных журналистов.

Но мне, продолжая тот наш дорожный разговор, хотелось бы вспомнить не только главных редакторов (одно время должность руководителя газеты военного округа называлась несколько иначе — «ответственный редактор»), но и имена писателей, работавших в разные годы в «Во славу Родины». Не претендуя на полноту в раскрытии темы, уверенно могу заметить, что история военной газеты — часть истории и белорусской литературы, и даже часть истории многогранных ее связей с русской и еще… таджикской, туркменской, узбекской и киргизской литературами. Такая вот память стоит за ее пожелтевшими страницами. Некоторые фрагменты давайте попробуем восстановить.

…У Константина Симонова есть замечательное стихотворение — «Песня военных корреспондентов». Оно и песней стало. И исполнял этот гимн творческим людям в военных мундирах легендарный Леонид Утесов:

От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы не скитались мы в пыли.
С лейкой и с блокнотом,
А то и с пулеметом
Сквозь огонь и стужу мы прошли.
Без глотка, товарищ,
Песню не заваришь,
Так давай по маленькой нальем.
Выпьем за писавших,
Выпьем за снимавших,
Выпьем за шагавших под огнем!

Эта песня гораздо младше «Белорусской военной газеты», родившейся, как я уже заметил, в 1921 году. Сначала редакция располагалась в Смоленске. Кстати, когда начинал писать эти заметки, заглянул в «Белорусскую Энциклопедию» (том четвертый, 1997 год). О газете — всего десять строчек. Процитирую: «Во славу Родины», газета Министерства обороны. Издается ежедневно с июня 1921 г. в Минске на русском языке. До 1947-го называлась «Красноармейская

правда». До 1992 г. орган БВО (в 1941—44 гг. газета Западного фронта, в 1944—45 гг. — 3-го Белорусского фронта). Печатает материалы по истории и культуре Беларуси, о боевой подготовке, жизни армии, военно-патриотическом воспитании и др.». Вот и вся статья! Но энциклопедия есть энциклопедия. Хотя стоит заметить, что в 1992—1995 гг., да и в последующие годы газета часто публиковала материалы на белорусском языке. Иногда стремление энциклопедических издателей и авторов энциклопедий к лаконичности оказывает не лучшую услугу читателю. Но будем надеяться, что со временем кто-то напишет настоящую историю «Белорусской военной газеты». Кстати, в нынешний юбилей на страницах издания появилось много публикаций военного журналиста нового поколения Сергея Климковича, посвященных истории «Белорусской военной газеты». Картина литературной памяти становится гораздо шире, чем в отведенных десяти энциклопедических строках.

Труднее всего изучать истоки. Нет живых свидетелей, не все из услышанного можно документально подтвердить. А если и есть документы, то, как правило, они спрятаны в далеких и иногда малоизвестных архивах.

Но точно известно, что в «Красноармейской правде» в 1920-е гг. печатался красный командир Кондрат Атрахович — будущий народный писатель Беларуси, академик Академии наук Беларуси, Герой Социалистического Труда, автор многих и многих книг, трижды лауреат Государственной премии СССР (две из них назывались еще Сталинскими) Кондрат Крапива. В 1920—1923 гг. он служил в Красной Армии командиром взвода. И первая публикация начинающего поэта-сатирика — стихотворный фельетон «Жили — были» — появилась в военной газете 13 апреля 1922 года. На русском, кстати, языке. Было и еще несколько публикаций в «Красноармейской правде». Но это не вся сопричастность классика белорусской литературы к военной газете. В начале Великой Отечественной, в 1941 г. известный к тому времени писатель, недавно пришедший с советско-финляндской войны, окажется в штате «Красноармейской правды». Спустя многие годы сам народный писатель так будет вспоминать о том времени — в очерке, посвященном Михасю Лынькову: «Окончательно сблизила нас война. В первый же ее день после вероломного нападения гитлеровских нелюдей на нашу страну мы явились в пункт приписки. Это была редакция газеты «Красноармейская правда» — орган Западного военного округа. Кроме Михася Лынькова здесь были Илья Гурский, Василь Борисенко, Алесь Стахович и еще некоторые знакомые литераторы. Во время жестокой бомбардировки Минска 24 июня мы находились в подвале помещения ОБВШ (Объединенной Белорусской военной школы) возле Театра оперы и балета. Больше всего мы переживали за наши семьи: моя была в это время в доме отдыха в Пуховичах — в опасной близости от военного аэродрома. Михасева семья была в Минске на улице Опанского, но и он не имел возможности ее навестить. Мы вот-вот должны были выйти из города, и он, как дисциплинированный солдат, не мог позволить себе в таких обстоятельствах самовольную отлучку…» Отступая вместе с другими частями, остановились писатели возле станции Гнездово под Смоленском, недалеко от штаба Западного фронта. Здесь находился и первый секретарь ЦК КП(б)Б Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. Он и поручил белорусским писателям издание газеты «За Савецкую Беларусь». По всей вероятности, и наборщика, и еще пару человек «типографского персонала», и печатную машину — даже выделили из штата и арсенала «Красноармейской правды».

А что же сама газета Западного фронта? Придет время — и Константин Симонов напишет:

Есть, чтоб выпить, повод —
За военный провод,
За У-2, за эмку, за успех.
Как пешком шагали,
Как плечом толкали,
Как мы поспевали раньше всех.
От ветров и водки

Хрипли наши глотки,
Но мы скажем тем, кто упрекнет:
«С наше покочуйте,
С наше поночуйте,
С наше повоюйте хоть бы год!»

Но тогда шли первые страшные бои. Красная Армия отступала. И каждый день войны давал новые уроки. Вот что вспоминал спустя много лет фронтовой фотокорреспондент «Красноармейской правды» (его воспоминания опубликованы в журнале «Наше наследие» совсем недавно, в 2005 году): «…25 июня редакция покинула город. Мы вышли на Московское шоссе. Нескончаемой вереницей тянулись жители, нагруженные котомками, узлами. Среди них были и актеры МХАТа, приехавшие накануне войны на гастроли в столицу Белоруссии. На каждом шагу валялась разбитая военная техника. Немецкая авиация, чувствуя свою безнаказанность, зверствовала, беспрерывно бомбила дорогу и расстреливала из пулеметов беззащитных беженцев.

27 июня — мы уже в Могилеве.

На аэродром, где я хотел поснимать летчиков, принимавших участие в первых боях, иду в сопровождении двух красноармейцев, направивших на меня штыки. Они приняли меня за шпиона, потому что был с фотоаппаратом. Никакие документы не принимались в расчет. Понадобилось несколько часов для выяснения моей личности. Хотели прикончить меня немедленно, как фашистского лазутчика, — накануне так и поступили с нашим замом редактора. Но обошлось».

И далее — из воспоминаний М. Савина: «…Лагерь редакции «Красноармейской правды», теперь уже газеты Западного фронта, расположился в окрестностях Вязьмы. Палатки, в которых мы жили, прижались к кустарнику. Машины с типографским оборудованием стоят рядом. Выкопаны траншеи, щели. Вернувшиеся с передовой корреспонденты готовят материалы в номер.

Бои идут далеко перед Вязьмой, а здесь царит тишина… Самый конец сентября.

На другой день редактор Миронов собрал корреспондентов и сообщил, что все должны срочно выехать в части, что завтра начнется наше наступление. Мы были взбудоражены до крайности. Вот оно, наконец-то, пришло. Мы так долго ждали этого часа, надеялись и верили.

Вместе с Сашей Шестаком я отправился в штаб фронта, что был невдалеке, попытаться сесть в связные самолеты, которые летали в штабы армий. На опушке большой сосновой рощи — шлагбаум. Стоят часовые. Не успели пройти — тревога, летят немецкие самолеты. И тут же началась бомбежка.

Земля содрогалась от града бомб. Я лежал, плотно прижавшись к стволу сосны, и считал, что пришел мой конец. Страха не было. Было жалко недожитой жизни. Увидел лица своих родных, их глаза, залитые слезами. А бомбы все визжали, взрываясь какая близко, какая подальше. Эти минуты, а их было, как потом выяснилось, всего десять, казались долгими часами. Наконец все стихло. Рассеялся дым и открылась ужасная картина разрушения. Разбиты все постройки, в которых размещались разные службы штаба. Порублена роща, не устояли от прямого попадания и блиндажи в несколько накатов. Из них выносили раненых. Саша оказался тоже живым.

Не успели мы опомниться, как начался второй налет…»

Уже в первые месяцы войны в штате «Красноармейской правды» работали писатели Евгений Воробьев, Вадим Кожевников, Морис Слободской, Цезарь Солодарь. Все к 1941 году имели за плечами немалый опыт журналистской и писательской работы.

О работе Мориса Слободского, кому-то из нынешних читателей, возможно, известного по участию в создании сценария «Кавказской пленницы» и других кинокомедий Гайдая, можно отдельную книгу написать. В 1943 году «Красноармейская правда» опубликовала его «смехотворческую», язвительную по отношению к гитлеровцам и их гнилой фашиствующей идеологии повесть «Новые похождения бравого солдата Швейка». По своему идейному накалу, по глубокой

иронии, сарказму она вышла далеко за «флажки» литературного, карикатурного ремейка. И многим бойцам доставила немало радостных минут. Газетой зачитывались, передавали друг другу как дорогую реликвию. Возможно, кому-то через смех, горькую иронию повесть помогла перестать бояться фрицев. Несколько лет назад «Литературная газета» напечатала отрывок из повести, указав, что впервые она публиковалась именно в «Красноармейской правде». Вот как начинались «Новые похождения…»: «…Когда голый Швейк, стыдливо прикрываясь повесткой, вошел в комнату комиссии, врач начал с того, что оттянул ему челюсть и посмотрел в зубы. Затем, заставив Швейка поднять левую ногу, он стал старательно прощупывать ему щиколотку. А когда потерявший равновесие Швейк попытался переступить на правой ноге, доктор крикнул: «Тпру! Не балуй!» — и вытянул его по спине резиновыми трубками стетоскопа. Потом, продолжая осмотр, он начал диктовать писарю: — Пишите: Иосиф Швейк. Нагнетов и наминов нет, экстерьер подходящий, бабки высокие… Мокрецом не болел?

— Никак нет, — бодро ответил Швейк, понявший, что попал в руки к ветеринару, — вот только, осмелюсь доложить, при ходьбе засекаюсь на левую ногу.

— Пройдет! Пишите: годен! Подводите следующего… А тебе, — он кивнул в сторону Швейка, — можно заамуничиваться и рысью в комнату номер три!

В комнате номер три заседала расовая комиссия. Вместе со Швейком вошел чех Коржинка. Увидев их, доктор Хинк даже сплюнул:

— Ну вот, опять! Вы только посмотрите на эту пару, Франц, — обратился он к своему помощнику. — Что я буду их осматривать, мерить их дурацкие черепа и толстые носы, когда за версту видно, что это чехи! Ведь ты чех? — спросил он у Коржинки.

— Я чех, но я больше не буду, — ответил испуганный Коржинка.

— Вот видите! За целый день ни одного арийца. Если так будет продолжаться, мы с вами полетим отсюда к чертям собачьим, на фронт. Командование требует хотя бы одного арийца в день, а где я его возьму, рожу, что ли? — И доктор Хинк раздавил окурок с такой яростью, что даже погнул медную пепельницу. — Ну а вы? Тоже чех? — обратился он к Швейку. — Осмелюсь доложить, это мне неизвестно. С одной стороны, моя прапрабабушка была очень легкомысленной особой и, кажется, жила месяц в Германии, а с другой стороны, по бумагам я безусловный чех. Но вообще-то говоря, бумага еще ничего не значит. В трактире «У чаши» недавно был такой случай: там служил негр-барабанщик. Он был не только черный, как сапог, он был по всем бумагам негр. Но однажды пан фельдфебель Кунст, из районного штурмового отряда, сел с ним играть в двадцать одно и за полчаса спустил негру сначала все деньги, а потом всю одежду, так что остался в одних кальсонах и при штурмовом значке. Тогда пан фельдфебель объявил этого негра евреем, отобрал назад весь выигрыш, все деньги этого барабанщика и сломал об него его же барабанные палочки.

— Не морочьте мне голову, — сказал доктор Хинк, — отвечайте толком, чех вы или не чех? Впрочем, что я спрашиваю, — у арийца должны быть светлые волосы, высокий рост… А вы? Да вы только посмотрите на себя.

— Осмелюсь доложить, — я уже смотрел. Но, возможно я исключение. Вообще эти признаки — очень темная вещь. В Будейовицах, например, я сам видел одного цыгана-конокрада, жгучего брюнета с усиками. Он был настолько похож на нашего фюрера, что, когда его вешали за то, что он угнал у зеленщика Прашека его рыжую кобылу, вся толпа кричала «Хайль Гитлер!» Кстати, этот случай с господином рейхсканцлером Гитлером напоминает мне того черного кобеля, которого я взял щеночком, думая, что это чистокровный сеттер, а когда он вырос, оказалось, что это простая дворняжка, настоящее дерьмо. В довершение всего он взбесился и перекусал всех в квартире, так что…

— Довольно, довольно! — в отчаянии сжимая виски, сказал Хинк. — Знаете, что, Франц, — обернулся он к своему помощнику, — запишите-ка его арийцем! Все-таки хоть один будет! Черт с ним!

И Швейк был записан арийцем.

Как единственный ариец Швейк был зачислен в группу диверсантов-парашютистов, которых должны были сбросить в тылу у русских. Самолеты с парашютистами уже готовились к вылету.

— Ну, дружище, — сказал лейтенант, подписавший назначение, — я завидую вам. Вы получаете возможность умереть за фюрера как герой уже в первый день вашей службы.

— Осмелюсь доложить, я не тороплюсь, — сказал Швейк. — И если вы мне очень завидуете, мы можем поменяться.

— Время дорого! — сухо оборвал его лейтенант, ставший вдруг очень официальным. — Отправляйтесь на аэродром. И помните, что в нашем деле главное — осторожность.

— Осмелюсь доложить, — сказал Швейк, — по-моему, в этом деле главное — парашют. Если он не раскроется, никакая осторожность мне уже не поможет.

— Насчет этого не волнуйтесь, — улыбнулся лейтенант, — все будет хорошо. Население встретит вас цветами.

До вылета оставалось два часа. Швейк совершенно искренне считал их для себя последними двумя часами на этой грешной земле. Он шагал по улице к трамвайной остановке, и на добродушном лице его застыла нездешняя улыбка, как бы говорящая: «Я — Иосиф Швейк, которого угораздило попасть в парашютисты. Смотрите на меня в последний раз». Швейк шагал, размышляя о том, что теперь спасти его может только какое-нибудь чудо.

И, как ни странно, как раз в этот момент на Швейка обрушилось чудо в виде щуплого офицерика с оттопыренными ушами. Чудо буквально свалилось ему на голову откуда-то сверху и сшибло его с ног. Оно вставило в глаз оправу разбившегося при падении монокля и, уперев мутный взор в живот Швейка, заявило:

— Безобразие! Как они смеют швыряться германскими офицерами! Я обер-лейтенант фон-Райнбах, мадам! Со мной шутки плохи! Вы знаете, откуда я?

— Так точно, знаю, — ответил Швейк, уже успевший подняться. — Вы изволили вывалиться из окна второго этажа трактира «Золотой бык».

И он был прав. Обер-лейтенант вывалился именно оттуда.

Обер-лейтенант фон-Райнбах, который встал или, вернее, сел на пути Швейка, прежде всего приказал бравому солдату отвезти себя домой. Швейк, конечно, с удовольствием выполнил это приказание и с еще большим восторгом принял предложение пойти к обер-лейтенанту в денщики. «Лучше быть живым денщиком, чем мертвым парашютистом», — подумал он…»

Уже в 1943 году издательство Наркомата обороны СССР выпустило в свет «Новые похождения бравого солдата Швейка» отдельной книгой. Вместе с Александром Твардовским и другими сотрудниками «Красноармейской правды» День Победы Морис Слободской встретил в Кенигсберге.

Работал во фронтовой газете и публицист, прозаик, драматург Цезарь Самойлович Солодарь. Родился он в 1909 году в Виннице. Умер в Москве в 1992 году. Автор книг «Кассиль и о Кассиле», «Лицемеры», «Ложь», «Ситцевый бал», «Дикая полынь», «Укрыватели». Многие пьесы Цезаря Сломоновича шли в театрах юного зрителя — «Мальчик из Марселя», «У лесного озера», «Правда о старом кинжале» и другие. А в сентябре 1942 года Александр Тавардовский начал публиковать в «Красноармейской правде» легендарного «Василия Теркина». Но это, пожалуй, отдельная и необъятная тема… Несколько лет назад замечательное документальное исследование посвятил судьбе публикации «книги про бойца» в белорусской военной газете Михаил Федорович Кадет. Незаурядный армейский журналист послевоенного времени, яркий публицист, он тоже оставил свой след в истории «Во славу Родины».

После Великой Отечественной войны у «Белорусской военной газеты» было несколько адресов в Минске. Долгое время редакция находилась на улице Первомайской. Это здание и сегодня принадлежит Министерству обороны Республики Беларусь. В разные годы в газете служили прозаик Георгий Попов, поэты Петро Приходько, Александр Дракохруст, работал служащим поэт и прозаик, замеча-

тельный публицист Аркадий Капилов. Его сегодня вспоминают не часто, а между тем — яркая личность, чуткий к слову и людям человек. Уже будучи в отставке, служил в газете поэт и публицист, автор многих историко-документальных исследований, замечательной по своей правдивости книги о генерале Павлове, на которого Сталин поспешил повесить многих собак первых неудач 1941 года, генерал-майор юстиции Михаил Дмитриевич Токарев. В первой половине 1950-х в окружной газете работал прозаик, автор романа «Белая Русь», многих исторических повестей Илья Клаз. Мало где можно прочитать о сопричастности с военной газетой поэта, переводчика, киносценариста Михася Калачинского, которого белорусские писатели старшего поколения еще помнят как многолетнего главного редактора журнала «Беларусь». Первые его поэтические книги, адресованные детям, увидели свет еще до войны — в 1938 и 1939 годах. В 1940 году Михаила Ивановича приняли в Союз писателей. А первая послевоенная поэтическая книга — «Сонца ў блакіце» вышла в 1949 году. Выход этого сборника в свет поддержали рецензиями сразу три авторитетных литератора — Микола Аврамчик, Анатоль Велюгин и Владимир Карпов. С 1947 по 1953 годы Михась Калачинский работал в газете «Во славу Родины» литературным секретарем. Благо армейский опыт у газетчика был немалый: с 1941-го по 1945-й поэт был сотрудником армейской газеты «Герой Родины» 46-й армии — она входила сначала в Закавказский, Степной, затем во 2-й, 3-й Украинский фронты. Судьба свела Михася Калачинского со многими военачальниками, героями, писателями. Очень жаль, что, так много сделав в литературе, Михаил Иванович не оставил после себя книги мемуаров. Ему было что рассказать последующим поколениям. Наверное, не придавал этому значения. И считал, что все сказал своими стихотворениями… Конечно же, и Михась Калачинский хорошо знал песню на стихи Константина Симонова:

Там, где мы бывали,
Нам танков не давали,
Но мы не терялись никогда.
На пикапе драном
И с одним наганом
Первыми въезжали в города.
Так выпьем за победу,
За нашу газету.
А не доживем, мой дорогой,
Кто-нибудь услышит,
Снимет и напишет,
Кто-нибудь помянет нас с тобой…

С газетой Краснознаменного Белорусского военного округа в разные десятилетия сотрудничали многие белорусские писатели. Часто со стихотворениями в переводе на русский язык выступали поэты Пимен Панченко, Иван Колесник, Виктор Шимук, с рассказами — Иван Шамякин, Алесь Шашков, Александр Капустин и другие авторы. Стоит заметить, что большую лепту в деле знакомства с белорусской литературой коллектив редакции внес в конце 1980—1990-е годы, когда коллективом военной газеты руководил поэт полковник Григорий Соколовский.

А что касается сопричастности «Красноармейской правды» с другими культурами и литературами, то не стоит забывать, что в годы Великой Отечественной войны она выходила на нескольких языках — таджикском, туркменском, киргизском, узбекском. И в национальных редакциях тоже работали писатели. В туркменской — поэт и публицист, автор поэмы «Константин Заслонов», написанной и изданной еще в годы войны, Аннакули Маметкулиев, в таджикской — прозаик Фатех Ниязи…

Такая вот многогранная, связанная со множеством писательских имен, история у газеты «Красноармейская правда» — «Во славу Родины» — «Белорусская военная газета».

Максим ВЕЯНИС

ИРИНА МАРТИНКЕВИЧ

Полесские родники

***4** сентября 2011 года в моей родной Ганцевщине пройдет республиканский праздник — День белорусской письменности.*

И это не случайно. Наша земля щедра на литературные таланты. В Беларуси и далеко за ее пределами известно имя А. К. Сержпутовского, знаменитого этнографа и фольклориста.

Гордость и слава края — судьбы и многогранное литературное творчество Василя Проскурова, Михаила Рудковского, Виктора Гордея, Владимира Марука, Алеся Каско, Ивана Кирейчика, Ивана Логвиновича... Не иссякает этот животворный родник: на смену известным поэтам и писателям приходят молодые мастера слова. Не зря когда-то, побывав в нашем крае, Аркадий Кулешов сказал: «Тут у кожную хату зойдзеш, пісьменніка знойдзеш», а Василь Быков подтвердил: «Тут нібы грыбы растуць паэты».

Я люблю свой край с лесами и озерами, клюквенными болотами и брусничными полянами, колосистыми полями и «буслянками» на крышах домов.

Радостно на душе при встречах с трудолюбивыми и мудрыми, гостеприимными и талантливыми земляками.

На моей Родине, как нигде, бережно хранят традиции и обряды, с уважением относятся к мастерам, хранящим секреты старинных ремесел, — ко всему, что составляет неповторимую и самобытную культуру.

Сияют храмов купола

Города, как люди: у каждого своя судьба, свой неповторимый облик. Город наш, как, впрочем, и весь район, на первый взгляд может показаться ничем не примечательным. Но с незапамятных времен хранит Ганцевичская земля огромные богатства. Не золото и алмазы, но клад все же ценный — памятники археологии, истории, архитектуры и культуры, которые теперь восстанавливаются, реставрируются.

Наиболее ценными из памятников архитектуры являются православные церкви, католические каплицы и старинные шляхетские усадьбы, многие из которых были настоящими культурными очагами. У каждого из них своя история. Например, Церковь во имя святого великомученика Георгия Победоносца в д. Большие Круговичи, построенная на деньги местного помещика Ксаверия Обуховича в 1771 году, первоначально была униатской, а в XIX веке переведена в православие.

Сохранились четыре Памятные книги — за 1860, 1865, 1871 и 1901 годы. В них содержится много интересной информации об этом христианском храме. Согласно Памятной книге за 1871 год, к Круговичской Свято-Георгиевской церкви была приписана Свято-Вознесенская церковь в деревне Огаревичи. В состав прихода входили деревни: Круговичи, Мельники, Шашки, Огаревичи,

Ганцевичи, Гута. Прихожан насчитывалось 1045 мужского пола и 1030 женского. Священником был Юлиан Онуфриевич Горбацевич, который окончил Минскую духовную семинарию и служил священником с ноября 1855 года. При церкви имелась сельская приходская школа, открытая в 1869 году, которая находилась в общем доме. Обучались здесь 29 мальчиков и одна девочка.



Спасо-Преображенская церковь в д. Будча.

Первая церковь в д. Будча была построена в 1623 году, называлась Свято-Троицкой и по обустройству была униатской. Деньги на ее строительство дали владельцы деревни Иван и Екатерина Жуки. В 1836 году она была переведена в православие.

Новая церковь в честь Преображения Господня в Будче находится в центре деревни на старом закрытом кладбище. Она была построена из дерева в 1896 году возле того места, где находился старый сгоревший храм. При церкви имелась церковно-приходская школа, в которой учились 58 мальчиков и две девочки. Обе церкви являются памятниками деревянного зодчества.

Уцелев в Великую Отечественную войну, церковь пережила период советского атеизма. Но сохранился один очень интересный документ — типовой договор между крестьянами деревень Будча и Чудин и исполкомом Ганцевичского районного Совета депутатов трудящихся о передаче в бессрочное пользование *«здания православной церкви и культового имущества»*. Этот договор был заключен 15 мая 1948 года. А перед этим в апреле состоялось определение двух списков: *«основателей общины прихожан»* и *«членов ревизионного совета и ревизионной комиссии»*. По этому договору две церкви, Будчанская и Чудинская, передавались на безвыплатной и бессрочной основе прихожанам этих церквей во главе со священником Павлом Макаревичем, который от имени прихожан подписал договор. Свою деятельность церковь приостановила в начале 1950-х годов, когда утратила священника. Около сорока лет Будчанская христианская святыня простояла без хозяина, из-за чего была закрыта и постепенно разрушалась. Только в начале 1990-х годов силами и стараниями местных жителей был проведен капитальный ремонт, и церковь возобновила свою деятельность...

К памятникам архитектуры и зодчества относятся и другие церкви — Церковь во имя святого великомученика Георгия Победоносца в д. Чудин, часовня в д. Большие Круговичи, построенная в 1830-е годы из кирпича в стиле неоклассицизма, часовня Вендорффов в д. Ясенец, построенная в первой половине XIX века, также в стиле неоклассицизма из бутового камня, и другие.

Как образец усадебно-паркового комплекса второй половины XIX ст. сохранилась бывшая усадьба рода Подбелых, которая находится в урочище Горки, что в полукилометре на восток от Ганцевичей. В свое время он состоял из усадебного дома, хозяйственных построек, парка. Сохранились усадебный дом, въездная липовая аллея. Рядом размещается лесной массив, часть которого с западной

стороны является остатками старого парка. Лесной массив используется для городских и районных праздников, народных гуляний.

«Данники Огаревичи» упоминается при ревизии пущ и переходов старинных в 1867 году. Имение известно по Инвентарю за 1697 год. Им владели Свежинские герба Порай. В начале XX века имение перешло к Опацким герба Прус. Последними владелицами были Мария Опацкая и Ирена Свежинская. В 1911 году последние достроили усадьбу, придав ей эклектические черты. Дом из 11 комнат окружал красивый парк: симметричные еловые, липовые, грабовые, тополиные аллеи. Тропинки обрамлялись цветочными композициями. Западную часть усадьбы занимал большой хозяйственный двор. Сохранилось крепкое, на цоколе, с высокими фронтонами здание амбара. Выделяется контрастным сочетанием красных кирпичных стен с побеленными карнизами, наличниками, лопатками, квадратными нишами в рамах. Над окном фронтона, обрисованного зубчатым поясом, выложена дата постройки — 1911 год.

Последняя владелица усадьбы Мария Опацкая жила в усадьбе со своими детьми, была очень доброй и образованной. К нелегкому крестьянскому труду относилась с уважением. Держала дома большую библиотеку. Ее гувернеры вместе с панскими детьми обучали грамоте смышленых крестьянских детишек. К сожалению, дальнейшая судьба Опацкой была трагической: в 1939 году усадьбу конфисковали, а ее с детьми отправили в Сибирь. О том, как потом сложилась их жизнь, жителям деревни ничего не известно. Сейчас усадьба находится на балансе местного СПК. Это одновременно и мини-гостиница, и кафе. Сюда охотно наведываются местные жители, останавливаются иностранцы, приехавшие поохотиться или просто полюбоваться прекрасной природой.

«Историю писали курганами...»[1]



Курган в урочище Юлино.

Ганцевичская земля богата археологическими памятниками — курганами и курганными могильниками. В народе их чаще называют «копцами» и «волотовками». Встречаются они преимущественно скоплениями. Согласно дохристианским верованиям, курганы были пристанищем умерших. Наши предки верили в бессмертие души человека, думали о потустороннем мире как об объективной реальности, о чем свидетельствуют многочисленные предметы в захоронениях — покойникам «на тот свет» ставили посуду с ритуальной едой, клали орудия труда и оружие. Обряд погребения был связан с обрядовыми действиями, которые могли довести до состояния экстаза, исступления. Исполнители обрядов верили, что они общаются с духами, к которым обращались с просьбами исцеления людей от болезней, хорошей охоты, улова, для вызывания дождя и т. д.

[1] Из стихотворения Виктора Шнипа.

«Здесь был этнографический рай...»[1]

Огромное наследие белорусского фольклориста и этнографа Александра Сержпутовского сделало его известным ученым. По поручению Русского музея, где работал Сержпутовский с 1907-го по 1917 год, совершил 25 экспедиций не только по Беларуси — по Литве, Польше, Украине, Кавказу. Александр Казимирович подготовил 45 фундаментальных работ. С благодарностью его вспоминают во всех странах, где он изучал быт, культуру, фольклор. Литовские ученые пишут о нем: «Экспонаты, приобретенные А. К. Сержпутовским, характеризуют многообразную хозяйственную и промысловую деятельность литовских крестьян XIX — начала XX вв., их основные и подсобные занятия: земледелие, животноводство, пчеловодство, охоту, рыболовство, деревообработку, прядение и ткачество, а также разнообразную утварь, предметы обстановки жилища, одежду... суммарная источниковедческая ценность этих коллекций безусловна». Не менее лестная оценка его трудам дана дагестанскими учеными: «Большой вклад в создание кавказских коллекций Российского этнографического музея внес белорусский фольклорист Александр Сержпутовский. Он был одним из тех, кому мир обязан документальным подтверждением существования уникальных малочисленных этносов, таких, как бежтинцы, гинухцы, ботлихцы, багулалы, каратинцы, а также наличием аварских и андийских коллекций».

Но более всего научная деятельность известного белорусского этнографа и фольклориста, неутомимого собирателя народных сказок Александра Казимировича Сержпутовского связана преимущественно с Полесьем. Родом из деревни Белевичи Слуцкого повета Минской губернии (сейчас Слуцкий район), однако всю жизнь он своей родиной считал Ганцевщину. Объясняется это тем, что через семь месяцев после рождения сына семья Сержпутовских переехала на хутор, который находился между деревнями Чудин и Переволоки. Сегодня это только лесное урочище Шарпутовщина. Тут, в полесской глуши, на берегах Лани, прошли детство и юность будущего ученого. Сначала он как любитель увлекся изучением языка, быта, духовной и материальной культуры белорусов-полешуков. Увлечение, однако, оказалось таким сильным, что позднее этнография стала делом всей его жизни. Из всех своих этнографических экспедиций восемь Александр Сержпутовский осуществил по Беларуси, причем первая была организована в 1906—1907 гг. в родные места, на Полесье. Только во время этой экспедиции им было собрано 800 этнографических предметов (земледельческие орудия труда, предметы жилья, домашняя утварь, одежда, ткани, вышивки, транспортные средства, бондарные и столярные изделия, инструменты рыбной ловли и пчеловодства, предметы народной медицины, музыкальные инструменты, сделано свыше 200 фотографий из быта народа). Александр Сержпутовский дважды побывал с экспедициями на Полесье. Каждый раз он навещал и отцовский хутор возле Переволок. Итогом работы в Беларуси стали сборники «Сказки и рассказы белорусов-полешуков» (1911), «Сказки и рассказы белорусов из Слуцкого уезда» (1926), «Суеверия и предрассудки белорусов-полешуков» (1930). Сохранился рукописный сборник «Белорусские песни» с 53 текстами, записанными в конце 1890-х в Мозырском повете. Кроме всего изучал диалекты белорусского языка. На белорусский язык перевел несколько стихотворений Т. Шевченко. В журнале «Чырвоны шлях» публиковал очерки «Малюнки Беларуси».

Творческому наследию нашего земляка будет уделено огромное внимание на Днях письменности.

---

[1] Из книги В. Короткевича «Колосья под серпом твоим».

Здесь началась дорога в жизнь великого поэта

Ганцевщина связана и с именем выдающегося классика белорусской литературы — Якубом Коласом. Его творчество также будет в центре внимания предстоящего праздника.

«Ваша Люсинская школа была моим первым учительским местом, с которого началась моя дорога в жизнь... Я вас любил чистым юношеским сердцем, хотел помочь вам найти лучшую дорогу в жизни, лучшую, чем та, по которой шли ваши деды и отцы», — писал Якуб Колас в письме жителям деревни Люсино в июне 1948 года. В Люсино писатель работал практически два года — с 1 октября 1902-го по 1 сентября 1904 года. Сведения «Памятной книжки Минской дирекции народных училищ за 1902—1903 учебный год» свидетельствуют, что на то время в Люсинском училище (школе) было 37 учеников — 35 мальчиков и 2 девочки, а учителем с оплатой труда в 240 рублей был назначен Константин Михайлович Мицкевич (литературный псевдоним Якуб Колас. — ***Ред.***), который окончил курс Несвижской учительской семинарии. Молодой Колас увлекся педагогической деятельностью, целыми днями занимался с детьми в школе. В 1960-е годы здание школы, в которой работал Якуб Колас, разобрали. На месте бывшей школы, к 120-летию со дня рождения писателя, по решению местных властей был установлен памятный знак — возведен новый фундамент и выложен венец из круглых бревен.

Земля мастеров

Незамутимы и глубоки,
В пущах Полесья бьют родники.
Вечером поздним, ночью глухой
Можно в них звезды тронуть рукой.

Я предлагаю вам прикоснуться к другому источнику — традиционным ремеслам Ганцевщины. Отправимся в путешествие по времени. Помогут нам в этом два предмета схожей формы. Стоят они на скамейке — два цилиндра: один деревянный, другой полотняный. Один — из льна — покатится и заструится белизной полотна, почти столетие назад сотканный умелой проворной рукой труженицы-крестьянки из Локтышей или Чудина, что стоят на берегу лесной речки Лань. Или из Люсина, Хатыничей, что вдоль Бобрика-речки расположились. И тут и там прядут льняную нить женщины. Жужжит веретено, течет время, и нитка превращается в тонкое полотно для рушника, наметки, сорочки.

Катится другой цилиндр — ступица — основа колеса крестьянской телеги. Наматывает колесо версты полесских дорог. Дни и годы, столетия людской истории, воплощенной мастерским трудом наших земляков в чудесные вещи. Вот валеночки: белый войлок, свалянный шестьдесят лет назад заезжим шаповалом, который ходил из деревни в деревню, из дома в дом целую зиму и обувал полешуков в теплые валенки. А другой мастер, местный сапожник (И. А. Ленковец) одел эти валеночки в кожаные туфельки, подбил подошву сотней-другой деревянных гвоздиков да украсил голенище дубовой веточкой из той же кожи, что и туфельки. И тепло, и удобно, да и красиво как! А портной (М. А. Ленковец) расстелил на столе отрез сукна, прикинул что-то в уме, оглядев с ног до головы зарумянившуюся девушку, что несмело выглядывает из-за отцовского плеча. Взял в руки портновский метр, ловко снял мерки с той, что скоро будет форсить в новенькой «броварочке» на посиделках и вечеринках. А жена портного и говорит: «Гляди



Члены клуба мастеров «Багач» Ганцевичского дома ремесел со своими изделиями.

же, шей с умом да по совести. Может, шьешь одежку на всю жизнь...» Шестьдесят лет прошло с тех пор. А вот она, броварочка, как новенькая: карманчики отстрочены. Декоративные швы по спинке стройность девичью подчеркивают. Добротная вещь, красивая, на всю жизнь сшитая. Сегодня ее хозяйке за семьдесят, а тогда пятнадцать было...

Летит время, но не уходит бесследно. Каждый из живущих оставляет свой, пусть и не совсем заметный след в истории народа, но ощутимый на своей малой родине.

В Ганцевичском районном Доме ремесел собрано более трехсот экспонатов. Основу их составляют пятьдесят традиционных рушников и коллекция предметов традиционного костюма. В основе этой коллекции десяток женских сорочек. Здесь вы можете познакомиться с изделиями из лозы, глины. Вас удивит разнообразие и тонкость кружев, связанных нашими землячками в разное время, восхитит фантазия резчиков по дереву, которые дали дереву новую жизнь с помощью различных видов его художественной обработки.

Время бежит, но не иссякает источник народного творчества. Народные ремесла, возникшие из необходимости создавать орудия труда, предметы домашнего быта, одежду, обрели новое назначение: сделать дом неповторимо красивым, подчеркнуть свою индивидуальность, украсить мир вокруг себя.

Об авторах собранной в Доме ремесел коллекции образцов народного творчества мы знаем немного: фамилию, имя-отчество да из какой деревни. А вот о современных мастерах-умельцах сведения в Доме ремесел собираются подробные. Более десятка традиционных ремесел сохранено на Ганцевщине и по сей день. Развиваются новые виды декоративно-прикладного творчества. Клуб мастеров «Багач», что действует при Доме ремесел, объединил два с половиной десятка ведущих мастеров по ткачеству, вышивке, вязанию кружев, художественной обработке дерева, соломы, лозоплетению, плетению и вышивке бисером, самодеятельных художников.

Творчеством занимаются семьями. Семья Шуляк из д. Денисковичи нанизывает бисер на нити, а потом сплетает их в чудные формы цветов, букетов и целых садов.

Семья Козак — основа коллектива Дома ремесел. Ткачихи не одного поколения этой семьи передали свои любовь и умение к этому ремеслу Нине Козак, а она — дочери Наталье. Да и пятилетняя внучка уже мастерски перекидывает нити, гордясь тем, что и ее поясок пополняет коллекцию изделий мамы и бабушки.

Рушники, сотканные в Доме ремесел, соответствуют старинным образцам и по узорам, и по цвету, и по духу. Ведь мастерицы стараются сохранить все лучшее, что досталось им от бабушек, и вложить в них свою душу. В 1998 году ткачиха из д. Огаревичи Ф. Е. Крысюк получила Гран-при за лучший традиционный белорусский рушник на I Национальной выставке народного творчества «Живые криницы», а вскоре ее мастерство подтвердилось званием «Народный мастер».

В 2010 году коллекция рушников «Спадчына», сотканная мастерами Дома ремесел Н. Н. Козак и Н. С. Рабцевич, заняла второе место в республиканском конкурсе «Лучший белорусский сувенир», объявленном Управлением делами Президента Республики Беларусь. Фестиваль-ярмарка ремесел «Весенний букет» определил эту коллекцию в номинации «Лучшие традиционные рушники Беларуси».

Как белые крылья аистов, парят над нашей землей рушники. Чистой дорогой стелются они под ноги молодоженам, с хлебом-солью дарятся гостям и разлетаются по свету в качестве сувениров как свидетельство мастеровитости наших людей, чистоты их помыслов.

Отсчитывает время часовой механизм, одетый в оправу из спила старой яблони, катятся секунды, как клубок нитей, из которых мастерица вяжет кружево, фиксирует полет облаков над родной деревней кисть художника. Катятся часы и дни в Вечность, как в плетеные из лозы и соломы короба катятся сладкие лесные ягоды да красная клюква из белого мха.

Течет время. Все изменяется, неизменны у нас лишь трудолюбие и мастерство людей, стремящихся создать вокруг себя красоту, посеять добро.

«Зовица» — хранительница обрядов

Красочно и образно о нашем уголке Полесья сказал когда-то Якуб Колас в трилогии «На ростанях»: «Яму па душы быў і гэты глухі куток Палесся, яб якім яшчэ дома так многа цікавага наслухаўся ад аднаго старога аб’ездчыка, і гэты народ з яго асаблівай моваю і звычаямі так не падобны да мовы і звычаяў тых беларусаў, з гушчы якіх выйшаў Лабановіч: гэты некрануты край старажытнасці, якая на кожным кроку кідалася яму ў вочы і затрымлівала на сабе ўвагу, і гэты выгляд самой мясцовасці, агульнага тону якой не мог яшчэ улавіць Лабановіч, але ў якой таксама многа цікавага і, на яго погляд, прывабнага».

Герой романа Лобанович — прототип самого Якуба Коласа, который работал в Ганцевичском районе учителем, и многое пережитое писателем легло в основу романа. Характеристика району в произведении дана верная. Здесь действительно особенный язык и обычаи, и особенные люди-полешуки. Где еще можно увидеть в современном городе бабушек в национальной одежде своего, местного покроя, да еще с торбочками, на которых вышиты узоры. И держат их пояса не хуже знаменитых «слуцких». Глядя вслед таким колоритным бабушкам в национальной одежде, люди говорят: «Вот Раздяловка пошла». Это значит, что женщина — житель Раздяловичей, деревни, которая разместилась на окраине района среди лесов и болот, где люди испокон веков имеют доход от сбора ягод, особенно клюквы, которой богаты здешние места, и где бережно сохраняют свои традиции. В этих словах нет пренебрежения, в них уважение к человеку, почитающему свое прошлое. Ведь без прошлого нет будущего. Дома эти женщины в



Народный фольклорно-этнографический ансамбль «Зовица» Раздяловичского сельского Дома культуры.

повседневной жизни используют вполне современную одежду, но вот выезжая в районный центр по делам или для того, чтобы навестить детей и внуков, непременно наденут традиционный полесский наряд, сшитый своими руками. Так как считают, что она самая праздничная. В этом и есть самобытность полешуков — не стесняться, а гордиться одеждой и вещами своего местного колорита.

По местной легенде, еще в давние времена сюда ссылали разжалованных военнослужащих. Деревня в буквальном смысле является кладом народного творчества. Сюда неоднократно приезжали фольклорные экспедиции из Бреста и Минска, чтобы собрать сказки и былины, песни и пословицы, частушки и загадки. В деревне все люди певуны, поют на всех праздниках. Чтобы сохранить свои традиционные песни, нашлись творческие люди, которые по своей инициативе решили создать коллектив. Начало всему положила Рабцевич Софья Николаевна. Об этом она вспоминает сама.

— Раньше в деревне люди пели постоянно. Соберутся женщины в праздничный день на улице и поют. Это сейчас редкость услышать песню в деревне во дворе. Запоешь, так ведь подумают, что пьяный. А раньше это было обычным явлением, пели и дома, и на работе. Ведь с песней и работается легче, она настроение и себе, и окружающим повышает.

Однажды на свадьбе затянули старую песню, еще которую наши мамы пели. Все заслушались. А я подумала: как мои подруги, родственницы красиво и задушевно поют. Многие женщины хотели подпевать, да только слов не знали. И мелькнула мысль: а ведь сколько еще давних песен есть, а пройдет время и их все забудут, они просто отомрут. А в них и память о наших родителях, которых уже нет. Забыть эти песни, значит оказать неуважение к их памяти. Поговорила с подругами, и они согласились создать фольклорный коллектив. Обратилась к тогдашнему директору сельского Дома культуры Авдейчик Алле Павловне с этой идеей — она поддержала. Так и был создан коллектив.

Сначала выступали с концертными программами, в которых были все местные песни, на сцене нашего сельского Дома культуры. Со временем объездили все деревни района, выступали на различных мероприятиях в городском Доме культуры. Приходили на репетиции уже каждая со своей песней и рассказывали, откуда услышали ее, кто пел и когда. Получался интересный рассказ о семье, о быте, как жила династия, о чем мечтала, что сбылось, а что нет. Были радостные и грустные воспоминания. Так было каждый раз, но песня объединяла и роднила нас в памяти о прошлом, где-то хорошем, где-то не очень. Мы будто переживали заново дни нашего детства и нашей юности, и душевней становились для нас песни из далекого прошлого, они становились для нас такими близкими.

Участниками коллектива являются: Софья Николаевна, Татьяна Васильевна, Софья Федоровна, Валентина Павловна, Анна Федоровна Рабцевичи и Мария Степановна Киселевич. Название ему дали «Зовица», так как всех участников связывают родственные отношения. Все они золовки, жены братьев, это видно по их фамилиям. Из года в год повышалось творческое мастерство. В апреле 1997 года фольклорный коллектив становится героем программы «Односельчане» Белорусского телевидения, в 2000-м — победителем районного тура и участником Международного фестиваля регионального танца, песни и музыки «Палескі карагод». 2001 год стал знаменательным для «Зовицы»: фольклорно-этнографическому коллективу Раздяловичского СДК решением коллегии Министерства культуры Республики Беларусь было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».

Из года в год повышалось исполнительское мастерство коллектива. Свидетельством этому стало участие «Зовицы» в международных фестивалях традиционной народной культуры «Древлянские Джерела» на Украине и «Песни болот» в Польше.

Коллектив соединяет в себе все виды творческой деятельности — музыкальную, народные праздники и обряды, разговорный жанр, хореографическое и декоративно-прикладное искусство. «Зовица» объединила творческих личностей, которые собирают, сохраняют и продолжают народные традиции. В своих концертных программах используют и местный, своеобразный юмор, который отражает быт сельчан. Самодеятельные артисты восстановили и внесли в жизнь стародавние обряды: «Радзіны», «Рэкруты», «Вяселле», «Сёмушны вянок», «Хрэсьбіны», «Каравайчыкі». В песенном репертуаре больше 100 песен зимнего, весеннего, летнего и осеннего празднично-обрядового цикла, которые исполняются в аутентичной манере. Самодеятельные артисты выступают в народных костюмах, изготовленных своими руками и выполненных в традиционном для этих мест стиле.

При «Зовице» работает детский коллектив-спутник, который перенимает все духовное наследие. На районном празднике детства юные артисты выступили с детской фольклорной программой «Дай зямлі, і яна табе аддасць», в которой были представлены праздники земледельческого цикла с местными традициями.

Фольклор, как жанр народного творчества, в буквальном смысле означает «душа народа». Душу народа, ее самобытность, толерантность и раскрывает народный фольклорно-этнографический коллектив «Зовица» Раздяловичского сельского Дома культуры.

Библиотеки на карте Ганцевщины

Являясь неотъемлемой и органической частью культуры Ганцевщины, девятнадцать публичных библиотек этого региона объединены в районную централизованную библиотечную систему. Помимо традиционного обслужива-

ния читателей они призваны на высоком, качественно-новом уровне решать их информационные запросы, оказывать значительное воздействие и понимание всех государственных процессов и явлений.

Сегодня каждая библиотека региона имеет свой особый и неповторимый колорит. Они отличаются друг от друга не только интерьером, но и содержанием работы с жителями региона и по праву называются очагами культуры.

В своей работе сотрудники библиотек воплощают множество интересных и уникальных по содержанию проектов. Для одних приоритетом является краеведение, других увлекает поэзия, литературное наследие края, третьи популяризируют экологические знания среди детей.

В нескольких километрах от райцентра находится агрогородок Огаревичи. Без труда здесь можно попасть в роскошный Дом культуры, на третьем этаже которого расположилась библиотека с ее богатым книжным фондом, широким ассортиментом периодических изданий, оснащенная современными техническими средствами. Здесь проводятся многочисленные выставки. Гордость библиотеки — огромное количество краеведческих материалов, объединенных в историко-краеведческом центре с романтическим названием «Буслiны край, мой вырай i прыстанак». Здесь собраны книги литераторов-земляков, многочисленные тематические подборки о земле, о людях, прославивших своим трудом этот край, об организациях и учреждениях, которые находятся на территории агрогородка. Библиотекари-энтузиасты записали для будущих потомков трогательные истории о жизни простых женщин этой местности с непростой судьбой и богатой трудовой биографией. Очерки помещены в сборнике «Двадцать портретов женщин XX столетия». Сколько же в этих историях силы и глубины чувств, поучительного и трогательного!

Можа, недзе ёсць вёскi яшчэ прыгажэй.
Нам не хопiць жыцця, каб усе абысцi.
Ды за нашы Хатынiчы ўсё ж даражэй,
I мiлей, i блiжэй нам нiдзе не знайсцi.
Можа, у вёсках чужых людзi лепей жывуць,
Ды такiх вышыванак, я знаю, няма.
I нiдзе так прыгожа не вяжуць, не ткуць,
Як у нашых гасцiнных i цёплых дамах...

Эти стихи своему родному краю, своим Хотыничам посвятила поэтесса Нина Ковальчук. Она воспевает красоту родного края, пишет о жизни, о людях, что живут рядом. Ее творческие способности были открыты работниками Хотыничской библиотеки, которая объединяет талантливых людей. Частые гости здесь и местные поэты Владимир Бабулин, Нина Товтын.

Долгое время библиотека «жила» по соседству с сельским Домом культуры, в небольшой, двадцатиметровой комнатушке. Жила, работала... И только создание на базе отдельных деревень агрогородков позволило увидеть председателю Ганцевичского райисполкома В. М. Столяру в старом, почти уже разваливающемся здании магазина уютную, светлую, и самое главное, современную библиотеку. С чувством неподдельной радости обновленную Хотыничскую библиотеку открывали в 2008 году руководство района, общественность агрогородка, читатели. И сегодня более чем для тысячи жителей это место, где можно получить самую разнообразную информацию, где есть возможность отдохнуть душой... Это дом, двери которого открыты для учителя и школьника, механизатора и строителя, поэта и музыканта, пенсионера...

Не совсем обычный статус — библиотека-музей — имеет книжный дом деревни Мальковичи. Под крышей этого дома кажется, что прошлое встретилось с днем сегодняшним. Центральное место по праву отведено книгам, журналам и газетам, а дальше — экспозиция, посвященная историческому прошлому, быту и культуре предков, материалы о современной деревне.

Путешествуя по залам, как будто листаешь страницы альбома, где фотографии сменяют уникальные экспонаты (а их в библиотеке-музее больше 600!), архивные документы, предметы быта людей, живших в деревне в начале 50-х годов. Сундук, металлическая кровать, патефон, стол, покрытый белоснежной скатертью... Поверьте, впечатляет! Об этом свидетельствуют записи в книге для гостей. В 2010 году библиотеку посетил министр культуры Республики Беларусь Павел Латушко и на добрые воспоминания оставил следующую запись: «Вельмі ўражаны ўбачаным, бібліятэкай, выставай, экспазіцыяй. Дзякую вам за нястомную працу на карысць нашай роднай беларускай культуры, здароўя, шчасця, дабрабыту вам і вашым сем'ям. З вялікай павагай, Павел Латушка, 28.10.2010 год».

Примечателен на карте Ганцевщины библиотечной и еще один дом книги — в деревне Люсино. Сама деревня претерпела огромные изменения и отличается от той, в которой жил и учительствовал Якуб Колас. Теперь ей придан статус агрогородка. Благоустроенные дома, нарядные, все в цветах, ухоженные улицы, красиво одетая молодежь. Здесь трепетно сохраняют память о великом поэте и писателе, бывшем учителе, который прославил их Люсино. В Люсинской библиотеке собрано богатое литературное наследие Якуба Коласа: книги, многочисленные тематические подборки о его творчестве, фотографии и воспоминания бывших коласовских учеников. А еще хозяйка этой библиотеки Елена Сергейчик так удачно воплощает на сцене образ паненки-красавицы Ядвиси, что все больше и больше ощущаешь неразрывную связь времен и поколений. Длинная коса, грациозная стать, традиционный для люсинских женщин костюм делают ее неподдельно-реальной героиней знаменитой трилогии Якуба Коласа «На ростанях».

В преддверии Дня белорусской письменности, который в сентябре пройдет на Ганцевщине, деревня, школа, библиотека — в эпицентре предпраздничных событий. К памятному знаку, который находится на том месте, где когда-то стояла школка, сегодня со всех уголков съезжаются люди, чтобы вспомнить Якуба Коласа, чтобы побывать на том месте, с которого начиналась история Ганцевщины литературной.

Сегодня библиотеки района работают по-разному и находятся в разных условиях. Но все они несут добро и свет знаний.

Браво, «Улыбка»!

Много лет назад Елена Макатревич, библиотекарь детской библиотеки, побывав в Брестском театре кукол, задумалась: а почему дети небольшого провинциального городка не могут встречаться постоянно с кукольными литературными героями?

Поразмыслив, твердо решила — театру быть! Игрушкам, которые остались после ее уже повзрослевших сыновей, дала другую жизнь: пошила новую одежду, подрисовала, подремонтировала...

Вся эта история, кажется, была совсем недавно, а в 2009 году кукольный театр «Улыбка» отметил уже свое 20-летие. За эти годы сменилось не одно поколение юных артистов, творческому коллективу было присвоено звание «образцовый», которое театр «Улыбка» с успехом подтверждал не единожды. Сегодня в репертуаре более четырех десятков спектаклей. Это постановки по произведениям русских и отечественных авторов, сказки зарубежных детских писателей. А какие чудо-зрелища создают юные любители кукол по произведениям литераторов-земляков! В репертуаре театра сказки Алеся Каско, спектакли по произведениям Владимира Марука, Виктора Гордея, Алексея Голоскока и др.

Иногда кажется, что сегодняшних детей невозможно ничем удивить. А Елене Макатревич, руководителю Театра кукол детской библиотеки, и ее воспитанникам, это удается. Девочки и мальчики, переступая порог литературно-сказочной гостиной, попадают в мир сказки, творчества и радости. «Как интересно!», «Ух ты!», «Класс!» — подобные возгласы звучат из уст детей, и эти слова лучшая награда для тех, кто стоит за ширмой, у кого в руках оживает самая обыкновенная кукла.

Последние годы работа театра «Улыбка» ведется совместно с Театром книги «Буратино». Маленькие постановки с ожившими на сцене литературными героями создают атмосферу праздника, счастья и радости, увлекают в мир книги и знаний.

Творческая, плодотворная работа «Улыбки» несет не только удовлетворение и свет. Деятельность этого коллектива, созданного на базе детской библиотеки приносит доход, а значит появляется возможность приобретения новой литературы.

«Детям этого города повезло!» — говорят те, кто хоть однажды побывал на выступлениях «Улыбки». А за последние годы в качестве зрителей в литературно-сказочной гостиной были: бывший министр культуры Республики Беларусь Владимир Матвейчук и итальянский путешественник Януш Рывер, писатели: Алесь Каско и Виктор Гордей, Василь Жукович и Михась Скобла.

Многие утверждают, что театр работает не хуже, чем профессиональный. А что касается столичных детей, то, приезжая в летнее время на каникулы к бабушкам и дедушкам, спешат в самую обыкновенную библиотеку, где их ждет необыкновенная встреча с «Улыбкой». А от улыбки, как известно, «хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется!..»



Кукольный театр «Улыбка» детской библиотеки.

Настоящее счастье Галины Дайлид

Автобус по маршруту «Ганцевичи—Чудин» стремительно катился по извилистой лесной дороге. Березы, ели, сосны...

За дорожным знаком «Будча» сердце молодой девушки забилось еще сильнее. Первая встреча с будущими родственниками, первый визит на родину мужа, первое знакомство с родиной любимого человека и его односельчанами.

Галине, коренной столичной девушке, в диковинку пришлись сельские дома с огромным количеством цветов в палисадниках. Удивили люди, которые ей, совсем незнакомому человеку, с доброжелательной улыбкой на лице говорили «Здравствуйте!». Впечатлили многочисленные гнезда грациозных аистов.

В сердце жила любовь, душа была полна радостных ожиданий, что этот край с его традициями и укладом станет родным для нее, коренной минчанки с дипломом Минского института культуры.

На широкой деревенской улице возвышается необычного строения сельский дом Дайлидов. Хозяин — водитель местного СПК, хозяйка Галина Дайлид — сельский библиотекарь, а их две дочери уже упорхнули из семейного гнезда — стали студентками.

— Мне иногда кажется, что в Будче я родилась, — говорит Галина Петровна. — Меня все знают. За десятки лет, проведенных здесь, и я каждого человека считаю близким и родным. Здесь мой дом, моя работа.

Около десяти лет Галина Дайлид работает в сельской библиотеке. Ей повезло: она пришла в библиотеку, которая считалась одной из лучших в районе. Надо было работать, чтобы не сдать завоеванные ранее позиции. И ей это удалось: современный интерьер выделяет это учреждение среди других библиотек. Во всем чувствуется душа и энергия хозяйки библиотеки — изобилие цветов, как в здании, так и на улице. Но главное — это, конечно, работа библиотеки. Энтузиастами под ее руководством собран уникальный материал по истории деревни, о ее людях и достопримечательностях.

— Начинала-то я работать в сельском клубе, — рассказывает Галина Петровна. — Но, заходя в сельскую библиотеку, чувствовала: вот оно, мое! В то время хозяйкой библиотеки была Галина Алексеевна Савеня, которая для многих жителей деревни была примером и в быту, и в семье, для меня она стала еще и примером в работе.

Сельская жизнь Галину Дайлид научила многому. На хозяйском подворье у нее корова, свиньи, куры... Она лихо водит автомобиль, без страха садится за трактор. Трудовой день Галины начинается на зорьке, а заканчивается, когда последние огни гаснут над ее, уже родной, деревней Будча.

Не все смогут понять, что любовь к ближнему, привязанность к земле и людям дороже благоустроенной многоэтажки в столичном квартале... Немногим понятно, в чем настоящее счастье Галины Дайлид. А его она действительно нашла в краю, где гнездятся грациозные аисты, рядом с сельским парнем Игорем.

Библиотека имени земляка

Главной книжницей Ганцевщины является Центральная районная библиотека. С 1996 года она носит имя известного на всю республику журналиста, талантливого мастера очерка Василия Федоровича Проскурова. После смерти Проскурова вдова Лидия Степановна передала в библиотеку множество фотографий из семейного архива, грамоты, награды, рукописи, книги из личной библиотеки Василия Федоровича. Именно книги с автографами знаменитых литераторов говорят о широком круге знакомств Проскурова, о трепетном и уважительном

отношении к нему. «Васілю Фёдаравічу Праскураву — дарагому майму другу, з кім раздзелена і каму абавязаны большасцю старонак гэтай кніжачкі, калі наогул не ўсімі нарысамі. Іван Кірэйчык, 1969 г.», «Васілю Фёдаравічу Праскураву, чалавеку добрай душы і светлага таленту, — ад шчырага сэрца. Генадзь Бураўкін, 1987 г.», «Дарагому Васілю Фёдаравічу Праскураву на ўспамін аб сустрэчах на Палессі — з самымі добрымі пачуццямі і пажаданнямі. Ніл Гілевіч, 1978 г.».

Рассказать о Проскурове, о его творческом наследии помогают Проскуровские чтения, которые ежегодно проводятся в библиотеке. Принимают участие в них ученики Проскурова, родные и близкие люди, те, для кого Василий Федорович был примером в жизни и в трудовых буднях. Участником последних Проскуровских чтений был и внук журналиста, Василий Матвеев, как две капли воды похожий на своего деда, он носит его же имя... Он продолжил журналистскую династию Проскуровых и, несмотря на свою молодость, считается талантливым и признанным журналистом.

Изучение, систематизация проскуровских документов позволила библиотеке открыть еще один литературный талант Проскурова. Оказывается, он писал стихи.

Плывут в бездонном небе журавли.
Сады, леса позолотила осень.
И еле слышен за рекой вдали
Веселый гомон медностволых сосен.

Одно из стихотворений Василия Проскурова зазвучало песней. Расслышал музыку, читая поэтические строки Проскурова, талантливый музыкант Валерий Мартинкевич.

Стёжкой-дорожкой,
Змейкой росистой
Бродит гармошка
Во поле чистом...

Звучит песня, завораживая человеческую душу... Живет проскуровское слово, живет память о знаменитом земляке.

г. Ганцевичи



Поэзия — не ремесло...

Размышления о творчестве Михася Башлакова на фоне его книги лирики «Віно адзінокіх»

Не шибко разбираюсь в марках вин. Иное дело — поэзия... Но договоримся заранее — это мое мнение, а не ваше, и я оставляю за вами право не соглашаться со мной. В то же время я не собираюсь свое мнение согласовывать с вашим, потому что убежден в своей правоте.

Моя задача — определение места Михася Башлакова в современной литературе.

Первый поэт, который встретился Михасю Башлакову, был Маяковский. Благодаря депутату сельсовета Мартынову, прозванному Уточкой. Депутат, понятно, о своем бессмертии беспокоился. Может, вспомнят о нем потомки: «А, это тот, что памятник поставил...» Кому только — вот вопрос. Себе отгрохать памятник при жизни он не мог. Но сколько выдающихся личностей ждут не дождутся, когда поставят им памятник... в поселке Баштан...

И поехал депутат в Гомель. А в худфонде... всех марксов и лениных расхватали. Ах, какое идейное время было!.. Лишь из угла угрюмо косился невостребованный горлан революции. В кузове грузовика добирался Маяковский до глухого поселка. Это еще одна неизвестная страница его биографии. Веснушчатые листья кружились над ним. Накрапывал мелкий осенний дождик. Никогда не навестит его здесь Лиля Брик... Поддерживая бюст поэта, сидел, нахохлившись, депутат Уточка, совсем не подозревая, что беспартийный памятник обуревали человеческие чувства...

В то время Михась ходил в школу за несколько километров из Станции Терюхи в Грабовку и каждый раз сталкивался взглядом со скучающим у дороги, вечно недовольным Маяковским. Владим Владимыч все переживал, наверно, что когда-то наступил на горло собственной песне... Михась, наученный горьким опытом классика, такой промашки допустить не мог.

Живых поэтов — оказывается, были и такие, — он встретил в редакции районной газеты «Маяк», куда отправил свои первые стихи, а потом пожаловал и сам. Самой яркой фигурой в литобъединении был, безусловно, рабочий Владимир Шварц. Он ошарашивал всех неожиданными образами и был для нас недосягаем:

Костер подпрыгивал, то падал,
То погружался в едкий дым,
То вдруг трагедию распада
Он ощущал, как Древний Рим...

Это было время, когда книги нужно было искать. Вийон, Бернс, По, Верхарн, Лорка... Нет, они не были чужими. Каждое их слово впитывал Михась. А как великолепен Назым Хикмет в переводе Тверского!

К морю хочу возвратиться.
В зеркале вод голубых
Весь я хочу отразиться...

И вдруг перебой ритма:

Плывут корабли в серебристые дали,
Плывут и плывут.
Не ветром заботы, не ветром печали
Их парус надут...

А польские поэты? Сколько эта нация дала первоклассных поэтов! Стафф, Тувим, Броневский, Галчинский, Пшибось... Разве можно с ними

расстаться, узнав однажды? А испанцы Антонио Мачадо, Мигель де Унамуно, чех Витезслав Незвал. Что за чудо его «Прага с пальцами дождя». Нет, Михась Башлаков не мог отгородиться от других стран и народов своей белорусскостью...

Во всех областях неоглядной России таились несметные сокровища. Взять хотя бы Смоленщину. Кто знает поэта Дмитрия Осина? А Михась знал и не раз повторял его дивную строку: «А иволга в ветвях, а птица золотая...» А брянские поэты? Виктор Козырев, Николай Денисов, Александр Малахов... И как грянул на прощание Женька Константинов:

За громами новых ваших гимнов
Вспоминайте, люди, иногда:
Жил на свете Женька Константинов —
Сеял хлеб и строил города!..

А разве забудется строфа Олега Ващенко:

Когда умру, пускай не плачут трубы.
Я видел жизнь. Я дело понимал.
Я целовал целованные губы
И нецелованные тоже целовал!..

Не будь этих поэтов, еще неизвестно, каким поэтом стал бы Михась Башлаков... Его дар вызревал постепенно. И издавать его надо было за семь лет до выхода первой книги... Расчетливо придерживали: дескать, молод еще, успеется... И не в Беларуси, а в России, на Брянщине, впервые был оценен Михась Башлаков!

Но мы не договорили о Смоленщине. Она оказала большое влияние на поэта. Разумеется, Михась хорошо знал творчество Николая Рыленкова. Но по большому счету это поэт, как и Осин, автор одного стихотворения — «Столетний дуб у перекрестка». Оно щемит душу. Оно запоминается.

Твардовский велик как личность. Как-то Александр Трифонович обронил: «Не будь Шолохова, нашелся бы другой...» С этим я не согласен. И Михась, думаю, не согласится, что не будь Твардовского, кто-то другой создал бы «Василия Теркина» и лучшие стихи «Из лирики этих лет».

Однако роднее всех смолян был Михаил Исаковский. Может, потому, что свой, деревенский. Зря Горький противопоставлял его Есенину. Есенинского хватает у Исаковского:

Я стою и вслух слагаю строчки —
Как чеканит осень пятачки,
Как брусника спелая на кочке
Открывает нежные зрачки...

Помнил Михась:

Ты пролетела, молодость моя,
Как пролетают гуси над полями.

Но особенно полюбились ему стихи «Опять печалится над лугом...», «В дни осени», «С прежним другом я свиделся...».

От раннего Пастернака отталкивала чересчур густая метафоричность. Его поздние стихи «Зазимки», «Иней», «Зимняя ночь» нравились больше. С годами Пастернак все больше становился русским поэтом — поэтом большой культуры и чистоты языка. Любил Михась Павла Васильева и Бориса Корнилова, до сих пор по-настоящему не оцененных. Это могучие поэты. Рано Михась прочел и поставил на полку с любимыми книгами Олжаса Сулейменова. Иосиф Бродский остался для него чужим, за исключением трогательного стихотворения «***Ни страны, ни погоста...».

Однако самым дорогим, самым любимым русским поэтом для Михася был в те годы Сергей Есенин. Заполонил его душу Есенин, как позже Рубцов...

Конечно, Михась часто перечитывал и ценил двух самых громких поэтов тех лет — Вознесенского и Евтушенко. Но слишком уж они были городские, манерные. В них было мало того, что Михась принес в поэзию из Терюхи, Лельчиц. Им обоим нужен был барабан, чтобы оглушать публику, а Михасю Башлакову нужна тишина, чтобы один-два человека расслышали его скрипку...

Нельзя упрощать неровный путь развития белорусской поэзии, мостить его анекдотами... Но что делать с памя-

тью? Вспомнилось... Мы приехали выступать в Борисов. Разговорились с Алесем Кучаром о Янке Купале. Я уже знал, что Айзик Евелевич был заклятым врагом Купалы. Травил его в печати. Да и сам Кучар рассказывал, как приходил арестовывать поэта... Так что мне было довольно странно слышать слова Кучара о его любви к Купале. Причем, Купале дореволюционному. По словам Кучара, Янка Купала как поэт умер задолго до своей трагической гибели. Я видел, что Кучар был искренен в своей любви к Купале. Садизм, непонятный мне. Но... я слышал позднего Кучара, который много передумал и переоценил в своей жизни. А в молодости он так же искренне громил «националиста» Купалу... Существует ли белорусская поэзия после дореволюционного Купалы? Или советскость ее полностью погубила? Не совсем. Жизнь брала свое. В поэзию вливались свежие силы: Павлюк Трус, Максим Танк, Пимен Панченко...

Из более молодого поколения многое мог бы сделать Анатоль Гречаников. В этом убеждают его «Начныя вогнішчы», «Над Белай Руссю белы снег...». Однако судьба распорядилась иначе.

И все-таки равный Янке Купале не пришел. Дореволюционному Купале. Читая многих современных поэтов, с досадой ловишь себя на мысли, что они ведут партийную работу в массах. Что они на службе. Не от Иисуса, а от куса...

Поэт должен говорить от себя, а не быть проводником временной системы. Ну, надрывался Маяковский, а часто ли его перечитывают для души? Остается лишь ранний Маяковский...

Старожилы вроде меня хорошо помнят, что Михась Башлаков жил когда-то в Новобелице на улице Солнечной, а потом в Гомеле возле Любенского озера.

Однажды (а это было еще до Чернобыля, тогда Михась работал учителем в одной из гомельских школ) раздался звонок, заявился Анатоль Сыс. Отслужил армию. Искал работу, не особенно желая ее найти. Михась встретил гостя по-дружески. Как-никак, оканчивали один университет. Немного захмелев, Анатоль произнес историческую фразу:

— Міхась, дзе мне знайсці такую працу, каб нічога не рабіць, а грошы атрымліваць?..

Такой работы Михась не знал, но посоветовал наведаться на Гомельское телевидение. Там Сыс и задержался на время, потом вскорости переехал в Минск, где тоже работал на телевидении...

Михась, исколесив Чернобыльскую зону, сделав сотни и сотни выступлений в пострадавших районах Гомельщины, что потом сказалось на его здоровье, через несколько лет тоже переехал с семьей в Минск. Живя в одном городе, они редко встречались... Да и разные они были. Внешностью. Характером. Творчеством. Анатоль все реже писал стихи. Жил вчерашней славой. Дружки спаивали его без зазрения совести. Они и теперь спешат с бутылками на его могилу в Горошков. Что любил он? Вино и картины. Когда умер, в пустой квартире обнаружили только картины, подаренные друзьями-художниками.

Во время одной из последних встреч Михась попросил у него подборку стихов для журнала «Палессе», выходившего в Гомеле. Сыс отмахнулся от этого предложения, как от чего-то давно пережитого и теперь ненужного. Перевел разговор на другую тему.

— А памятаеш, Міхаська, якое цудоўнае віно мы пілі пры нашай першай сустрэчы?..

Вспомнил Михась... и через годы назвал свою книгу избранной лирики «Віно адзінокіх»...

«Віно адзінокіх» открывается стихами, сохранившимися в юношеских блокнотах. Хорошо, что он включил их. Можно проследить весь его творческий путь.

При чтении его стихов возникает музыкальный фон. Мягкий. Матовый. Или только мне слышится Вивальди, Григ, Дебюсси?

Вижу акварельную прозрачность его стихов. Его творчество родилось

на перекрестке, где сошлись вместе поэзия, музыка, живопись, и ему было дано право выбирать. А он растерялся. Ни от чего не хотел отказываться. Вот и получилось редкое явление — Михась Башлаков.

Точность рисунка. Аккуратность исполнения. Никакой неряшливости. Ни в поэзии, ни в быту. Может, я захваливаю его, все время сопоставляя его с Есениным. Кто не верит мне, возьмите юношеские стихи Михася и сравните с юношескими стихами Есенина. У Есенина среди ранних стихов есть одно гениальное: «***Выткался на озере...». У Башлакова к лучшим стихам можно причислить большинство стихов этого раздела: «***У бярозавай бялюткай хаце...», «Бярозавая рунь», «Бакены», «Бусел», «Першыя песні»... А завершает этот цикл «***З лістападамі...». Это стихотворение такое же чудо, как и «***Выткался на озере...».

Посмотрим, как рос Михась. Помню, как он маялся, ныл, когда не получались стихи. Проходили дни, недели, месяцы... А у него ничего не клеилось. И вдруг...

Мне прыснілася зноў Навабеліца
І на вуліцы Сонечнай дом,
Дзе вясной цвет вішнёвы мяцеліцца
За маім адзінокім акном...

Стихотворение, написанное раскованно, с размахом, в полный голос! «Навабеліца» — не только прощание с юностью, но и выход на новый простор. Похожий момент был у Александра Блока. Помните? «Выхожу я в путь, открытый взорам...».

Так приходят к нам великие поэты, распахивая перед нами горизонты поэзии.

Страшно подумать: многие стихи, наверно, не написались бы, если бы не поддержка Гомельского обкома комсомола, дававшего нам командировки в разные районы. Конечно, мы не только беззаботно шлындали, но и выступали. Но что скрывать? Главное для нас — оказаться в новом месте, брести куда глаза глядят. На дорогах нас подстерегали стихи, набрасывались, как разбойники. Нам оставалось их только записывать. О, сколько мы проехали, прошли, увидели! Мозырь, Светлогорск, Лоев, Чечерск, Рогачев, Наровля, Петриков, Туров, Лельчицы...

Лельчицкий район — аистиная Мекка. Аисты кружились над нами, и головы наши шли кругом. А кто из вас видел одновременно сотни журавлей? Вы знаете, где находится урочище Веслидное и Белые Берега? Слышали в лесу песню пастуха, доносящуюся из XII века?

Читайте Михася Башлакова...

О Полесье писали многие. Но ни для кого из белорусских поэтов оно не стало главной темой. Никому другому Полесье не распахивало свою душу. Дальше можно цитировать Михася Башлакова. Строчку за строчкой...

Начало семидесятых. Нам дали командировку в Лельчицы, о которых мы не знали ничего. Добирались до них, если не изменяет мне память, часов девять. Еще не было асфальта. От Мозыря сплошные рытвины. Откуда-то доносилась дивная песня «Ой, рана на Йвана...». Мне казалось: из языческих времен. Там горели костры. Девки и парни прыгали через огонь. Как когда-то я в Лещинце, угодивший в центр костра. Так что это было мной пережито еще до поездки в Лельчицы.

Устроившись в гостиницу, у которой росли высоченные березы, мы побрели наугад и скоро оказались на бесконечно длинном скрипучем мосту. Он был деревянный. Справа среди дебрей ольхи застряла луна, светившая во всю мочь. Обрывки островов. Ржанье вольных коней. Туман то густел, наплывая, то редел, и тогда даль немного прояснялась. Еще шаг — и мы не вернемся в двадцатый век. Кто отчитается за наши командировки? Языческая таинственность окутывала нас. Прощай повседневность!..

Потом мы приезжали в Лельчицы много раз. Объездили, исходили весь район. Даже к Царь-дубу наведались. Это за Дубравой, за Рубежом, за Данилегами. Где борти на дубах, где цвела гречиха...

Обычно утром, набрав на базарчике груш, яблок, помидоров, мы уходили

на целый день в Белые Берега, а если сил хватало, то добирались до Веслидного. Нас ждала Уборть. Клекот аистов, крики журавлей, цапель. Михась забредал в Картыничи, Боровое, Тартак. Но чаще мы наведывались в Липляны. С какой нежностью пишет Михась о них! Примечает даже котов, пригревшихся на стожке под старой сосной возле хаты.

Многие стихи Михася Башлакова рождались на моих глазах. Скажем, «Чмель». Сравните это стихотворение с бунинским «Последним шмелем». У Михася не хуже. Просто мы привыкли повторять, что классика недосягаема. И у Нины Шкляровой есть стихотворение о шмеле не менее живописное.

Плыў блакітны паром
Па таемным Палессі...

«На лясным хутары» Башлакова вполне мог поселиться добрый Филя. К Рубцову Михась относится родственно, чего нельзя сказать о его отношении к Юрию Кузнецову. На мой взгляд, значение этого поэта в русской поэзии преувеличено. И у Вадима Шершеневича встречаются замечательные стихи, но далеко ему до Есенина. И с Юрием Кузнецовым так...

Что касается парома, то сегодня его можно встретить на Гомельщине только возле Шарпиловки да где-то в Петриковском районе. А нам помнится еще туровский паром. Свой первый сборник Михась когда-то назвал «Начны паром». Я получил его в Гатчине. Прочел залпом. Мне стало ясно: в литературу пришел поэт, не сочиняющий, а чувствующий... Полесье заявило о себе. Но в Беларуси никто даже не заметил, что пришел поэт, которого не хватало. Такое отношение сохранится к Михасю Башлакову вплоть до Государственной премии... После премии чуть-чуть потеплело, но, в принципе, все осталось по-прежнему. Некоторые продолжают делать вид, что поэта Михася Башлакова нет.

За примером далеко ходить не надо. Возьмите хотя бы школьные учебники по белорусской литературе. Кого и чего там только нет. Увы, не лучшее из того, что есть в белорусской литературе. Я говорю прежде всего о современной поэзии. И где, скажите, пронзительные, эмоциональные, чистые и светлые стихи Михася Башлакова?.. Где анализ его творчества?.. Такое впечатление, что программы, всякие там курсы, лекции, учебники, хрестоматии по литературе составляют и пишут весьма далекие от литературы люди, совершенно не знающие, не понимающие и не чувствующие ее...

Стихи существуют не для того, чтобы их понимать, а для того, чтобы очаровываться ими... Вот, например, возьмите стихотворение Михася «Тры чаўны». О чем оно? Думаю, автор запутается, объясняя, что хотел сказать... В чем очарование? А в том, что в душе есть необъяснимое... Как советовал А. Фет: «Что не выскажешь словами, звуком на душу навей...»

А для этого нужна тишина.

Ничего особенного не происходило в Лельчицах, однако все было вновь. Проехал дед, сидя в кресле, на телеге, под роскошным фикусом. А то вдруг встретился возле магазина дядька с лукошком, в котором были еще совсем махонькие волчата... Выйдешь вечером за Лельчицы, а там на деревьях цапли, аисты, очерченные закатом.

Лельчицы... Чистое золото поэзии. Недаром здесь написалось стихотворение «Дні мае залатыя». Шедевр. А «Яніна» — одно из самых музыкальных и пронзительных его стихотворений...

Весь мир захлебывается от восторга, говоря о музыкальности Поля Верлена. Повторяю: читайте Михася Башлакова. И вы убедитесь, насколько изумительные по музыкальности стихи у белорусского поэта. Нельзя же ведь не замечать очевидное...

Открывались новые дали. Волновала душу иная музыка. Рождались новые шедевры. Будем называть вещи своими именами.

А над Кракавам дожджык крапае.
Вісла сумная бачыць сон.
І душа мая, як за кратамі,
Плача ў суцемках шэрых дзён...

Конечно же, в Польше чаще всего вспоминался Адам Мицкевич. Он был свой, из Новогрудка, и в то же время один из самых великих поэтов Европы... Михась полюбил Польшу. И в стихах «А над Кракавам...» и «Пані Марыся» эта любовь хорошо чувствуется... Затронула его душу и Литва. Германия подарила стихи «Блукаю ў старажытным гарадку» и «Анна Данкэ».

Между тем, в жизни хватало смутного, заставляющего задумываться: «Когда же?» Когда же дойдут, наконец, до сердец людей сокровенные слова? Придет настоящее признание? Вот он обращается к другу:

Да людзей не дайшлі нашы кнігі...
(Калі-небудзь павыйдуць тамы...)
І жывем прадчуваннем адлігі
Сярод лютай бязлюднай зімы...

В разделе «Зялёная восень» наиболее выделяются стихотворения «Музыка нязваная», «Касцёр на дальняй старане», «Замарожанае рэха». Они глубже по чувству, по мысли. На них растрачено больше души. Стихи не могут быть равными. Все равно найдутся и менее крепкие. У самых гениальных поэтов бывает пять-десять стихов самых-самых. Этого не надо бояться. Просто надо жить, не теряя веры в то, что вот-вот напишутся самые лучшие, самые исключительные. Они уже рядом. Они торопятся к нам. И мы должны быть готовы встретить их...

Когда перечитываешь прекрасное стихотворение Михася Башлакова «Віно адзінокіх», давшее название его книге, вспоминается Николай Ушаков, русский поэт, живший в Киеве. Вот что он писал в 1926 году в стихотворении «Вино»:

Виноторговцы — те болтливы,
От них кружится голова.
Но я, писатель терпеливый,
Храню, как музыку, слова.

Я научился их звучанье
Копить в подвале и беречь.
Чем продолжительней молчанье,
Тем удивительнее речь.

Михась Башлаков не считает нужным соревноваться с «виноторговцами», выпускающими книжку за книжкой. Время покажет, у кого вино большей выдержки, крепче. В этом смысле он солидарен с Николаем Ушаковым...

«Віно адзінокіх» следует пить медленно, по капельке, желательно наедине, упиваясь тонким ароматом. «Віно адзінокіх» для тех, кто по-настоящему любит и ценит поэзию...

Надеюсь, Михась Башлаков будет еще бродить в полесских туманах, тонуть в листопадном шорохе, выводить на гаснущих небесах незнакомые нам стихи. Но место свое в литературе он уже занял. И в этом нет сомнения.

Большая часть жизни прошла, Михась... Не пора ли нам вспомнить, какое вино мы пили в Лельчицах? Не вино ли одиноких?..

Юрий ФАТНЕВ



Король, Дама, Валет, или Роман об искушении

Анатоль БУТЭВІЧ. «Каралева не здраджвала каралю, або Каралеўскае шлюбаванне ў Навагародку». *Мн., «Літаратура і Мастацтва», 2010.*

Анатоль Бутевич на исходе первого десятилетия XXI века представил на суд зрителя странный, полный глубоких размышлений роман о временах Витовта и Ягайло. Вдумчивый читатель, готовый поразмышлять, сразу бы увидел «свою» книгу, если бы не одно «но». Автор дает произведению название ***«Каралева не здраджвала каралю, або Каралеўскае шлюбаванне ў Навагародку»***. И определяет на титульном листе тематику: ***«Займальны аповед пра каханне 17-гадовай князёўны Соф'і Гальшанскай і 70-гадовага караля польскага Ягайлы».*** Как будто бы заявляет, что произведение претендует на любовно-приключенческий роман. Так о чем же в самом деле книга Бутевича? Попытаемся рассмотреть ее...

С точки зрения романтика

Любовный треугольник — явление вечное в жизни, а значит, и в литературе. Самое стандартное положение — муж, жена и любовник (любовница). От литератора, очередной раз описывающего развитие отношений в любовном треугольнике, публика, собственно, не ожидает ни рецептов выхода из ситуации, ни излишнего морализаторства, ни обобщений. Только живописания человеческих переживаний. Только чувственность и эмоциональность! Конечно, сопереживание. История старого короля Ягайло, приревновавшего молоденькую королеву к красивому рыцарю Генрику из Рогова, безусловно, вызывает интерес и сопереживание, даже в том виде, в каком донесли ее до нас средневековые хроники. Сопереживаешь королю, едва не превратившемуся в посмешище для своих подданных. Королеве, юной и прекрасной, которую выдали замуж за старика. Рыцарю, подвергнутому пыткам в застенках королевской тюрьмы. Рыцарю особенно. Ибо — было там у него что в самом деле с королевой или не было — своей преданностью ей, непреклонностью и мужеством он заставил всех поверить в невиновность государыни и спас ее жизнь и честь.

Название роману «Каралева не здраджвала каралю» дала подлинная фраза Генрика из Рогова, много раз повторяющаяся в записях его допросов. Конечно, читатель, приобретая книгу, названную так, вправе искать в ней в первую очередь ответ на вопрос: что в действительности, по мнению автора романа, происходило в Краковском королевском дворце между королевой и ее подданным шестьсот лет назад? Но романтик с первых же страниц разочаруется. Личные истории «дамы» и «валета» практически не пересекаются. Разве только однажды, когда жена Ягайло упала с коня в снег.

«Генрык з усяе сілы напяў вуздэчку, турзнуў свайго каня, які ўжо занёс падкаваныя капыты над заснежанай Соф'яй. У апошні момант конь паспеў збочыць на поле. Генрык саскочыў, спрабаваў выцягнуць Соф'ю са снегу. Пасля пачаў атра-

саць яе ўбор, хацеў рукой сцерці з твару снег, але яго рэзка адхіліў Ягайла. Ён стаяў у глыбокім снезе, абдымаў жонку і трывожна пытаўся, ці не балюча ёй».

Ну, не было постели во взаимоотношениях госпожи и рыцаря! Вместо нее — «***цнатлівая бялізна бязмежнага палявога прастору***», посреди которого Генрику довелось дотронуться до своей попавшей в неприятность королевы.

Правда, в романе есть указания на то, что Софья и Генрик все-таки иногда где-то при дворе имели разговоры без свидетелей — как земляки, «новогородцы»:

«Нічога такога ў нас з каралевай не было, — говорит Генрик даже самым близким своим друзьям, от которых — никаких тайн. ***— А што хадзіў да яе, яшчэ нічога не значыць. Жанчына мусіць быць вернай мужу».***

Кто же тогда в сердце королевы, если не рыцарь Генрик?

«Душа прагавіта шукала суразмоўцу. Такога ж, як сама — юнага, захопленага, шчырага. Каб калі кахацца, дык безаглядна, каб заўсёды і ва ўсім разам, каб сэрца з сэрцам, вочы ў вочы, рука да рукі. Каб не жыць адно без аднаго. Каб разам чэрпаць з бяздоннага калодзежа асалоды шчасце і ўцеху сумеснага жыцця».

Так описываются в романе мысли и чувства юной княжны Софьи Гольшанской еще до того, как стала она польской королевой. Обыкновенные девичьи мечты. Но вот Софья узнает о том, что старый король просит ее руки, и перед читателем предстает уже совсем иная героиня. Гордость и радость овладевают ею. Единственное, что тревожит княжну: а вдруг дядя, князь Друцкий, в своей настойчивости выдать старшую сестру Василису замуж раньше Софьи, исчерпает терпение старого монарха и Ягайло откажется от нее? Любовь? К старику? Невероятно! Фальшиво! А может, Софья Гольшанская — просто одна из тех легкомысленных, неглубоких особ, которым годится любой спутник жизни, лишь бы обладал властью и несметными богатствами? Отнюдь! Героиня Бутевича совсем не так проста, как кажется это на первый взгляд.

«Соф'я пераконвала сябе, што яна павінна аднолькава шанаваць і Княства, і Карону Польскую, якія крэўскай уніяй звязаны ў адзін вузел. А канцы таго вузла ў руках Ягайлы. Ён апекуецца захаваннем слова, дадзенага некалі ў Крэве польскім паслам, але ён жа не дае ў крыўду ні Карону, ні Княства. Соф'я бачыць, што да колішняга свайго найроднага кутка, дзе пупавіна ягоная ў зямлю закапаная, кароль асаблівае пачуццё захоўвае».

Она наблюдательна? Безусловно. Интересуется политикой, особенно взаимоотношениями своей родной страны — Великого княжества Литовского и державы, которая досталась в управление мужу, а теперь и ей как супруге монарха — Королевства Польского. Что еще?

«Як гэта звыкла бывала ў еўрапейскіх манаршых пакоях, Соф'я скарыстала момант мілоснасці мужа... Нібыта між іншым, для мужавай жа карысці, угаварыла падатлівага і падабрэлага пасля ўцех кахання караля зрабіць новыя прызначэнні — у адпаведнасці з яе разуменнем.Ператасавала высокапасадных асоб на свой манер, насуперак маючым быць і загадзя прагназуемым перастаноўкам».

Не только интересуется политикой, но и вершит ее! Правда, чисто по-женски. Но и этот путь для королевы — исключителен. Ибо таким образом вмешивались в управление державами в основном фаворитки монархов. Фаворитки слабых монархов. Вмешивались, ища выгоды не столько для государства и народа, сколько для себя и своих родственников. Софья у Бутевича влияет на короля, радея о державе. Даже о двух — Княжестве и Короне. И в этом ее отличие от иных властных женщин, приближенных к престолам. Она воздействует на сильного короля, которого, — в романе это прослеживается, — невозможно заставить забыть о своих обязанностях ни в какой ситу-

ации. Значит, он и сам видит выгоду от перемен, но только не признается в этом юной Софье. Почему? Его радуют эти пробы властвовать. Радуют, как доброго учителя ученические успехи. Ему приятно воспитывать из супруги единомышленницу (а он воспитывает — делясь с нею своими планами, рассказывая о чужеземных монархах, предостерегая от интриг польских подданных). Это — любовь? Во всяком случае, гармония во взаимоотношениях.

«Соф'я прыязна бліснула вачыма і прамовіла:

— Справядліва, што і дагэтуль кароль не выракся мовы нашай. Нашая яна, а саромецца свайго і святыя не раяць, і Бог не заахвочвае...

Цяпер ужо Ягайла здзіўлена падняў бровы на лоб: «Ого, як разважае! Хутка набіраецца дзяржаўнасці гальшанская князёўна. Са сталасцю прыходзіць сапраўдная мудрасць. Нездарма, значыць, Соф'яй назвалі...» Ён непрыкметна паклаў сваю далонь на яе руку, пасля моцненька, але далікатна паціснуў дужымі пальцамі».

Софья Гольшанская, оказавшись личностью незаурядной, ответственной, небезразличной к судьбе своего народа и державы, охотно отметает девичьи невыразительные мечты о юном красавце и принимает в свою жизнь человека пусть и немолодого, но во много раз превосходящего по мудрости, достоинствам и харизматичности всех иных, окружавших княжну. Уважение и преклонение вызывают особый вид любви. Ягайло уважает свою разумную королеву, готовую делать все для блага польских подданных и не во вред Великому княжеству Литовскому. Софья же преклоняется перед супругом. Это их сближает. И автор книги показывает это довольно своеобразно, выстраивая внутренние монологи героев по одной и той же схеме. Его стараниями любовь семнадцатилетней девушки к семидесятилетнему старцу уже не представляется чем-то невозможным и неправильным. Но есть ли в такой любви хоть доля романтичности? Судите сами:

«І абодва смяяліся тым бесклапотным смехам, які можа быць толькі ў закаханых альбо блізкіх людзей, калі ўсё і без слоў зразумела. Вочы іхнія блішчалі прыязна і поклічна. У такія нячастыя хвіліны Ягайла душой адпачываў ад турботных гаспадарскіх заняткаў, пачуваўся шчаслівым у каханні чалавекам».

С точки зрения историка

Историк, если он серьезный ученый, довольно болезненно отнесется к неточности, допущенной литератором. А уж если в текст закрадется историческая ошибка — не избежать писателю публичного разгрома и осмеяния! Но ежели отступления от фактуры эпохи в романе невелики, тот же самый историк с любопытством будет следить за ходом мысли писателя и знакомиться с его трактовкой событий и характеров известных персонажей.

Перед историей Анатоль Бутевич почти что чист. Он неплохо изучил материалы хроник и исследования специалистов в отношении описываемой им эпохи. Расстановка сил, направления политических ветров, хронология событий — все это изложено последовательно, выверенно и четко:

«Гэта быў пакручасты, багаты на вострыя канфлікты і сапраўды лёсавызначальны час, калі для многіх дзяржаў і княстваў неадольна стаяла пытанне: быць альбо не быць? Куды хінуцца — на ўсход альбо на захад?.. Віраванне гістарычнага катла было такім крутым, што пагражала сарваць накрыўку, выбухнуць усеагульным пажарам. Патрабаваліся вялікія палітычныя высілкі і моцныя вайсковыя сілы, каб апанаваць сітуацыяй, а тым больш уплываць на яе. Рабіць гэта маглі толькі моцныя асобы».

Широкими мазками Бутевич рисует время короля Ягайло — переломное для белорусской истории. Период, предшествующий судьбоносной Грюнвальдской битве, и период подведения ее итогов. Писатель дает характеристики белорусскому народу (хотя и избегает в романе слова «белорусы», ведь навряд

ли такой термин широко использовался во времена, им описываемые):

«Не бракавала ў Княстве ні дбайных валадароў, ні дасведчаных вучоных, ні таленавітых майстроў, ні хваласпеўных распавядальнікаў, ні прагных на далёкія і экзатычныя цікавосткі падарожных — шмат хто разносіў па свеце добрыя весткі пра літоўскую зямлю, сваёй дзейнасцю даказваў яе права нароўне стасавацца з іншымі».

Народ уже сформировался, заявил о себе. Но место его в европейской семье еще до конца не было определено. И великая миссия эта оказывается возложенной на плечи сильных личностей — Витовта, как непосредственного правителя Великого княжества Литовского, и Ягайло, как его сюзерена. Может быть, даже Ягайло в большей степени. Ибо, выдернутый из среды «литвинов-белорусов», он оказывается волею судьбы в самом эпицентре европейских событий, на престоле соседней европейской державы. И при этом в его подчинении и под его протекцией остается Великое княжество Литовское.

«Не было ніякай боязі ні перад Еўропай, ні перад яе манархамі і ў Ягайлы. Пабываўшы і на возе, і пад возам, ён ведаў, на чым свет стаіць, прытрымліваўся завядзёнкі: хто ўмее — той робіць, а хто не ўмее, крычыць і вучыць. Разумеў — калі, што і як трэба зрабіць, каб дабіцца карысці, а не, дык з найменшымі стратамі дасягнуць свайго. Не абдзелены быў і ваяўнічым пылам. Ваяваць жа даводзілася нават больш, чым на ловы ездзіць».

Ягайло, центральный герой повествования, требует отдельного разговора. В белорусской исторической литературе до Бутевича (не считая, быть может, Леонида Дайнеко с его Всеславом Чародеем из романа «След ваўкалака») образ правителя так скрупулезно никем не выписывался. И хотя роман «Каралева не здраджвала каралю» не показывает Ягайло непосредственно за решением державных вопросов, чуть ли не на каждой странице его читатель узнает что-то новое, очень важное для постижения тайны: каков был король Ягайло. Сведения эти Бутевич подает в очерковом стиле — факт за фактом. Ягайло — стратег. Ягайло — щедрый в своем окружении человек. Чтит традиции народа, к которому себя относит. Умеет сопереживать. Философ. Человек, заботящийся о своем здоровье. Личность, которой противны склоки и интриги. Тонко чувствующая личность. Хитрый и расчетливый политик. Король, умеющий любить и ненавидеть...

«Шырокі не толькі натурай, але і паглядам на жыццё, на яго ўладкаванне па Божых законах. Ды, вядома, быў ён і суровым, рашучым, нават злосным, нядобрым — жыццё манарха не з адных прыемнасцяў складаецца. Каго прылашчыць даводзіцца, а каго караць і жыцця пазбаўляць. Аднак, чаго не адбярэш у Ягайлы, дык гэта кіраўнічай мудрасці. Шмат якія падзеі бачыліся яму ў сваёй гістарычнай абумоўленасці, панарамна. Умеў суадносіць свае польскія справы з дзеяннямі суседзяў, разлічваў свае крокі так, каб дарма не дражніць настроеных варожа, але і не папускаўся сваёй годнасцю, а тым больш інтарэсамі Кароны і Княства».

И этот во всех отношениях самодостаточный правитель обеспокоен — нет, не вопросом верности жены, хотя измена Софьи может больно ранить его и перечеркнуть в прямом смысле будущее их совместных детей. Ягайло находится в мучительных поисках надежных политических союзников для Княжества и Королевства.

«А дзе знайсці прыхільнікаў? Дзе яны — сапраўдныя, без назойлівай асабістай выгады? На захадзе? На ўсходзе? Хоць мо ў цэнтры еўрапейскай прасторы знаходзіцца Вялікае княства Літоўскае, ды ўсё-ткі, напэўна, бліжэй да заходніх еўрапейскіх берагоў, чым да крымскіх стэпаў».

Ягайло предстает великим политиком и правителем прошлого. Но не только. Анатоль Бутевич тактично и ненавязчиво обращает своего читателя к насущным проблемам современной политики. И оказывается, что они по большому счету — те же. Необходимость встраивания суверенной Бела-

руси в контекст европейской политики. Укрепление имиджа державы как страны больших возможностей. Поиск надежных политических и экономических партнеров. Народ белорусский, утверждает Бутевич, уже созрел для великих свершений. Сильная личность может и должна вести его по этому пути. Но должна эта личность при всем при том быть таковой, чтобы, подобно главному герою его романа, иметь право искренне признаться самому себе: ***«Як ні круці, а ўжо не баіцца смерці манарх. Бо дух, увасоблены ў справы, жыве вечна».***

С точки зрения культуролога

Утверждая, что перед Историей автор книги «Каралева не здраджвала каралю» почти что чист, следует пояснить, что же не позволило убрать из высказывания сочетание «почти что». Дело в том, что в противоречии с историей находится образ рыцаря Генрика из Рогова. Хроники утверждают, что человек, на которого пало подозрение в связи с самой королевой, был молод. У Бутевича Генрику — уже за сорок лет. Реально он — польский рыцарь. В книге — белорус из-под Новогородка. Настоящий Генрик из Рогова был набожным католиком и имел, согласно католической традиции, двойное имя Генрик-Шадибор. Второе имя поминает и Бутевич. Но у него это имя — отнюдь не христианское. Герой его — глубинный язычник, принявший крещение для продвижения по службе. Еще одна нестыковка. Хроники относят Генрика к шляхте. Роман утверждает, что рыцарь — крестьянского происхождения и в свите Ягайло появился совершенно случайно — привлек к себе внимание короля на охоте, и монарх забрал его с собой в Краков.

«Паехаў з Рогава ў далеч далёкую, даль нябачную Міхайлаў Шадзібор, пакінуў двор родны, бацькоў шанаваных і суседзяў паважаных, пушчу свойскую, поле недааранае, сенажаць недакошаную. Паехаў, каб верай і праўдай служыць каралю, аддана і сумленна».

Получается, писатель, использовав имя реального человека, вывел совершенно иного героя. Конечно, это было сделано не из-за неведения. Бутевичу нужен был именно ТАКОЙ рыцарь, чтобы провести через этот образ свои идеи. Не столько личность, сколько аллегорический образ. Не столько человек, сколько символ.

Символом чего же выступает в романе рыцарь Генрик? Как ни странно это может прозвучать, — символом белорусского народа. Поэтому он выходец из самых низов. Поэтому Рогов оказывается не на территории Великопольши, где он благополучно находится и сегодня, а под Новогородком (Новогрудком), где никогда не было ни деревни, ни местечка с похожим названием (какой-то Рогов есть под Минском, но автора он не интересует). Генрик Бутевича по-простонародному грубоват. Он может даже о самых утонченных вещах высказаться с долей деревенского юмора, иногда переходящего в сарказм. Но это только форма выражения мысли. Содержание же потрясает. Потому что рыцарь Генрик оказывается настоящим носителем духовности своего народа.

Мир, в котором он существует, Генрик подчиняет своим внутренним законам. А законы эти (на уровне отцовых заветов и матушкиных наказов) черпает в глубинных народных традициях. Ступает по грешной земле крестьянский сын Шадибор — и грязь людских пороков, которая иных с ног до головы покрывает, к нему не липнет. Потому что у него есть свое видение человеческого предназначения, свой рай и свой ад, выстроенные далекими предками еще на заре цивилизации.

«Усе ведалі, што душа забітага звера адлятае на сёмае неба. Бо там сярод макрэчы нябеснай ёсць востраў — выраем называецца. На ім акурат і жывуць прабацькі ўсіх пташак, звяроў і рыбы. Старэйшы мядзведзь, старэйшы заяц, старэйшая курапатка... Як толькі душа забітага звера дасягае сёмага неба, дзе востраў райскі, яна расказвае, як паводзілі сябе паляўнічыя. Калі не чынілі лішніх пакут, старэйшыны абавязкова

адпусцяць звера на зямлю, каб пладзіўся, каб род свой прадаўжаў. А калі, не дай Бог, душа паскардзіцца на людскую жорсткасць, непамысна тады будзе. Не адпусцяць старэйшыны з выраю пташак, накіруюць у іншыя мясціны рыбу, не дазволяць звярам вяртацца ў тыя лясы, дзе нядобрыя людзі жывуць».

В мире Генрика все красиво и гармонично. На облаках ***«раздабрэлыя даўгабародыя і сівавалосыя дзяды спачываюць. Нават не зважаюць, што поруч з імі дужацелыя дзецюкі з прыгожымі паненкамі забаўляюцца, а наўзбог крылатая дзятва ў чыжыкі гуляе».*** Языческий бог Перун посылает на землю дождь, ударяя по тучам каменными топориками, которых у него так много в заплечной торбе. ***«Вось, аказваецца, чые сякеры знаходзілі рогаўцы на сваіх палетках», — падумалася Шадзібору».*** Зимой по лесам ходит ***«магутны басаногі бог холаду Зюзя»,*** но и ему не под силу справиться с «чертовым оком», коварным местом посреди роговской трясины. И заманивает снежным блеском в самую чащобу одиноких путников «хитрая панна Мара».

«Калі ж багіня змроку і холаду Мара, альбо Марэна, заспее каго ў дарозе, дык напусціць такога мораку, так засціць усё чарадзейным марывам, што як ні супраціўляйся, а саб'е з панталыку, пераблытае ўсе шляхі-дарогі — ніколі дадому не вернешся».

Но вместе с языческими богами в потустороннем мире, представляемом Генриком-Шадибором, есть место и для Христа как символа праведности и жертвенности, и для святых Юрия и Авласа, которым вверяет судьбу сына, покидающего родные места ради чужбины, его мать-крестьянка, и для святого странника-заступника всех обиженных Миколы.

Выведенный палачом во двор Краковского замка для казни, Шадибор знает, как ему кажется, уже абсолютно все о жизни и смерти, о рае и аде. И не боится мучений. Он определяет для души своей место на облаках, рядом с душами праведных предков. Потому что ни разу не поступился совестью и умышленно не сотворил никому зла.

«Бо ён жа рыцар. Рыцар духу, а не цела. Цела можна папсаваць, скруціць, знявечыць, а духу ніхто і ніколі не адолее. Калі сам ты не кінеш яго пад ногі. Калі не дазволіш таптацца па ім, глуміцца з яго... Лепш хай свая душа ў вырай адляціць, чым некага невінаватага ўдаць...»

Бутевич противопоставляет понятия настоящего рыцарства и рыцарства бутафорского. И заявляет, что рыцарь — это совсем не тот, кто может ***«з рыцарскай галантнасцю і паспешлівасцю»*** бросить соблазненную им панну, «***маўляў, баявая справа чакае»***; не тот, кто ***«дэманструе свае здольнасці пад час турніраў, калі гарцуе на пляцы»***, а тот, для кого неприемлемо предательство во всех его проявлениях. Тот, кто умеет быть верным и благодарным и знает, что причинять боль ближним — грех. А это как раз базовые основы мировоззрения белорусов. Поэтому белорус Генрик становится самым преданным, самым верным, самым настоящим из рыцарей короля Ягайло и королевы Софьи.

С точки зрения философа

Итак, начнет свои рассуждения философ, у нас есть три героя, причем — представители трех разных поколений. Литвины, но у читателя они должны ассоциироваться с белорусами. Время действия романа — 15-й век, но проблемы эпохи соотносимы с насущными проблемами современности. И что же происходит с героями на предложенном историческом фоне? Они оказываются перед серьезными испытаниями. Выстоят или не выстоят? Вот в чем вопрос. И испытания эти можно определить одним словом: искушение.

Чем же искушаемы герои? Кем? Для чего? Обратимся к роману. Ягайло, Софья и Генрик — выходцы из Великого княжества Литовского — волею судьбы или, может быть, по предназначению свыше, оказываются за пределами своей родины, в ином окружении, среди людей иного менталитета и традиций.

Если приезжий не гость, время пребывания которого в чужой стране ограничено, безусловно, рано или поздно в отношении него должны вступить в силу ассимилятивные законы. И, в принципе, это правильно. Поэтому мудрый Ягайло изменяет до определенных границ себя и допускает некоторые довольно серьезные политические метаморфозы в Великом княжестве Литовском. Такова плата литвинов за право войти ***«у еўрапейскі прасцяг»***. Но вот давление извне становится все сильнее и настойчивей.

«Ад яго вымагалі адмаўлення ад ліцвінскага, ад язычніцкага — ад сваіх каранёў. Але што значыць дуб без кораня?»

Перед магнатством Короны встает задача — добиться окончательного слияния Княжества с Короной и превращения литвинов в поляков. Это деяние, буде Ягайло пойдет на него, должно стать гарантом его спокойного правления, постоянных восхвалений и передачи власти по кончине короля его наследникам — ведь, воспитанные в польских традициях, они перестанут быть литвинами. Не правда ли, серьезное искушение? Но только ли польским подданным выгодна ассимиляция литвинов? Ягайло подозревает в закулисной этой возне интриги крестоносцев, которые, желая отомстить за Грюнвальд, подбивают соблазненных их золотом польских магнатов на действия, выгодные им. Мучительные раздумья Ягайло замечательно описаны в романе.

«Радасць і драма суіснуюць у ягонай душы. Радасць за мір і згоду, не так сямейную, як міжнародавую ў ягонай многалюднай і рознасцю веры пазначанай гасподзе. Ні Княства, ні Карона, дзякаваць Богу, не ваююць між сабой. Хоць сёй-той з уладных палякаў ледзь не штурхае да таго, наважваючы інкарпараваць Княства, падпарадкаваць яго Каралеўству Польскаму. Драма — бо Ягайла, як умее, як абставіны дазваляюць, як характар падказвае, супраціўляецца гэтаму. З гадамі больш зразумеў, сапраўды душою спасціг — яго ліцвінскае гаспадарства мусіць быць асобным... таму, што народ там адрозны ад тутэйшага, польскага. Хоць мо і не надта дыхтоўны напаказ, не кідкі на знешнія праявы, ды вельмі ж чуллівы і пачуццёва моцны, абачліва прагматычны. Глыбока ў сваю крынічную зямлю закаранёны».

С людьми среднего возраста — иной разговор. Их пленяют блеском королевского двора, легкостью карьеры, роскошью жизни, доступностью всевозможных развлечений. Рыцарь Генрик, ты выбрался в королевский Краков из литвинских болот? Ты не имел ничего, кроме собственых амбиций, а можешь обрести так много! И для этого нужно только одно — стать таким, как все иные рыцари! А каковы эти рыцари?

«...на самой справе дайшло да таго, нібыта рыцарства не на полі бітвы праяўляецца, а ў пасцелі. Некаторыя за гарсэтамі і сукнямі свету не бачаць... А мо крыжакі праз сваіх адзінаверцаў, што даўно жывуць у Кракаве, ды іншыя панскія месцы апанавалі, знарок такія норавы падтрымліваюць? Каб аславіць славян, зняславіць, у блуд увесці, каб свайго дабіцца, землі іхнія падпарадкаваць?»

Как будто бы в подтверждение таких мыслей, на пути Генрика появляется немец Зэнек, который пытается приучить мягкосердечного литвина к якобы необходимым для формирования рыцарского духа жестокостям. Он настойчиво доказывает, что скифы, от которых будто бы происходят литвины, — на поле боя снимали скальпы с поверженных врагов, а из черепов делали пиршественные кубки. Впечатлительный Генрик переживает замешательство, связанное с попыткой переоценки ценностей.

Королева же Софья, как представительница молодого поколения, искушаема доступностью любовных утех и кажущейся вседозволенностью. Недаром придворный интриган Целак глубокомысленно и последовательно знакомит юную госпожу с биографиями трех ее предшественниц на королевском престоле, которые — нет, он не утверждает, но так говорят люди, — не хранили верность своему коронованно-

му супругу, но благополучно избежали наказания. А ведь и в самом деле — сколько вокруг молодых и достойных рыцарей! А пан король — стар. И он так мало уделяет внимания своей юной супруге.

Искушение повисает в воздухе, наполняет каждую страницу романа, становится почти осязаемым. Искушение для каждого в отдельности — и для всего народа в целом. Но герои справляются с испытанием — быть может, потому, что держатся вместе. Вот тогда и вступает в действие план № 2 — любой ценой разрушить их единство. Единство соратников, единство земляков, единство народа. А нарушить его можно только посеяв недоверие друг к другу. Недоброжелателям это удается. Король почти поверил в греховность Софьи и в предательство Генрика. Королева начинает сомневаться в своих чувствах к супругу и даже в мыслях уже рисует заманчивую картину: они вместе с оклеветанным рыцарем бегут в Великое княжество Литовское, прихватив с собой сына Софьи, маленького королевича Владислава. Генрик... Вот только Генрик, как истинный представитель своего народа, и остается тем монолитом, который находит силы до конца сопротивляться злу, даже оставаясь единственным воином на поле брани. Его непреклонность, его страстная вера в правду и справедливость, в то, что «каралева не здраджвала каралю» просто потому, что, будучи королевой, женой государя и матерью его детей, она не могла так поступить, и удерживают всех от падения.

И Софья вдруг вспоминает, что она — та, которая дает жизнь новой династии монархов, и потому ради потомков своих должна быть стойкой. А Ягайло, скинув с глаз пелену отчаяния и горечи, вновь оказывается в силах отличать искренность от злобного наговора.

Так о чем же книга Анатоля Бутевича? О нас с вами. О народе, стремящемся к великим свершениям и постигающем великие истины. О народе, который можно победить только разобщив его и посеяв недоверие. О людях, которые не должны верить недоброжелателям, каяться в грехах, ими не совершенных, и которые не должны стыдиться предков своих. Это очень нужная и очень современная книга!

Ирина МАСЛЕНИЦЫНА



Найденное время Александра Станюты

Судьба книг и читателей в нынешней действительности — несовпадение. Читатель не может найти нужную книгу — потому что выходит она тиражом в 200 экземпляров и «пиарится» плохо: нужным книгам искусство пиара чуждо. Книга ищет читателя, читатель жаждет книги, но оба остаются одиноки. Речь не о писателе, он одинок, как говорится, «по определению»: иначе вряд ли и писателем был бы. Но написанная книга, оторвавшись от создателя, начинает жить собственной жизнью, и эта жизнь — живая. «Живой, как жизнь», — сказал Корней Чуковский о языке. Я процитирую то же — в отношении книг. Сейчас конкретно — в отношении книг Александра Станюты «Стефания», «Городские сны», «Сцены из минской жизни». Все это нужные книги, оставшиеся одинокими.

Я буду писать обо всех трех, хотя роман-диалог (иначе не назовешь) «Стефания» издан в 2005 году, «Городские сны» — в 2009-м, и лишь «Сцены из минской жизни» — в нынешнем году. Почему обо всех сразу? Во-первых, потому что все это одна книга. Живая книга жизни. Во-вторых, потому что все они для меня — внове. Я о них не знала — потому и начала эту рецензию пассажем о несовпедении книги и читателя. Я вообще не знала о том, что в Минске живет писатель Александр Станюта. Я знала (не лично, но визуально) Александра Александровича — профессора БГУ: в давние годы, когда я училась на филологическом, о его спецкурсе по Достоевскому ходили легенды. Я знала его как литературного критика. И, конечно же, знала, что он — сын великой Стефании Станюты: ее черты отчетливо проступали в его лице. Но я не знала, что по филфаковским коридорам — тогда еще того, старого корпуса на Красноармейской (это уточнение кажется необходимым после прочтения его текстов) — рядом с нами, шумливой стайкой студентов, ходит не просто «препод», пусть и очень хороший. Ходит писатель. Настоящий.

Итак, три книги, в которых пульсирует жизнь, бьется эпоха. Она и в самом деле пульсирует, бьется, сжимается, расширяется. И далеко не только в том, о чем мы по привычке думаем — не в славных делах, свершениях и битвах. Эпоха — в каждодневной жизни человека, которая промелькивает мимо нас, как незначительная, неважная... В жизни, которую мы игнорируем в гонке за великими свершениями или за вполне меркантильными устремлениями. А когда понимаем, что главное-то было — в шуршании «ржавых» листьев под ногами (они больше никогда не будут так красивы, как в детстве); в бабушкиной вышивке на холщовом полотне (где оно сейчас?); в словах, которые использовали в семье — только в этой, только в твоей, и, может быть, ты этих слов, полупольских-полубелорусских, в юности стыдился; в именах людей; в названиях улиц и в том, что на них находилось, — так вот, когда мы понимаем, что главное было именно ЭТО, его уже нет. Оно исчезло. Непоправимо. Навсегда.

Понимаю: пишу вещи обычные, но оригинальничать не хочется. Мелким кажется сейчас оригинальничание.

Может быть, потому, что автор нимало не занят подобными убогими попытками: он не старается «интересничать»: он просто интересен. И речь его, вспоенная классикой — и русской, и белорусской, — интересна. И опыт — мыслей, чувств и пережитого. И ракурс интересен, но об этом — самом главном для меня — чуть ниже. И люди, о которых он пишет, интересны: не только мать — Стефания Станюта (в «Городских снах» — Леокадия Забелло), но и те, чьи имена утеряны нашей памятью... или и найдены не были.

Вот и нашлось определение того, что делает Александр Станюта. Он по крупицам находит, воскрешает время. Не скажу, что он делает это первый. Такие попытки уже предпринимались. Самая яркая — труд жизни гениального Марселя Пруста, названный «В поисках утраченного времени». Для Пруста было невыносимо, что переживаемый им мир пропадет, исчезнет с его уходом. А ведь мир культуры, мир людей существует именно как совокупность фактов человеческого переживания. Воображаемая совокупность, конечно, — ибо невозможна здесь реальная «сумма»: как все главное и лучшее в нашей жизни — это вне бухгалтерии. Пруста мучило, что вместе с ним исчезнут цветы боярышника — такие, какими видел их именно он. Вкус пирожного, обмакнутого в чай. Плиты в церковном дворике в Комбре. Опаловый перстень на руке матери. Описать запах, цвет, ощущение, свет словами — невозможно: тонкие, сквозные, невесомые чудеса мира при описании утяжеляются, становятся не собой. Но можно — намекнуть. Можно дать понять. И через бесчисленные ряды ассоциаций писателя, а затем и читателя проступит мир. Город. Эпоха. А если еще дальше глянуть, почитать других авторов — то родятся мостики с другими эпохами. У Станюты, как мне кажется, эти мостики, в первую очередь, именно с Прустом. И, наверно, с Буниным.

Что еще важно для нас, не очень избалованных литературными опытами такого рода, эпоха в книгах Александра Станюты подана глазами горожанина, более того, минчанина. Через Минск — через мучительные и прекрасные страницы в его жизни... Довоенные аресты, расстрелы... Война: когда по Западному мосту в Минск входят немцы; когда спустя несколько лет по нему же увозят накрытое флагом со свастикой тело гауляйтера Кубе; когда через несколько дней пустеют прилегающие к его дому улицы (в назидание подпольщикам расстреливают более 300 жителей); когда улица Московская (тогда Варшавская) в одну ночь оказывается усеяна телами убитых советских военнопленных... Послевоенный новогодний бал в здании Клуба Дзержинского (тогда он был на площади Свободы), где разгорелся пожар: в нем погибли «самые-самые» тщательно отобранные на него старшеклассники... Казнь — иначе не скажешь — Михоэлса.

Но не только, не только. И футбольные голы на минском стадионе «Динамо» — великий Эдуард Стрельцов, минчане Геннадий Хасин, Виль Искорка... И пейзаж из окна четвертой школы — как знаком, как близок нам, выросшим в центре, этот пейзаж... И новенький тогда кинотеатр «Победа», где идут фильмы с Лолитой Торрес. И песенки, те еще, патефонные — Козин, Вертинский, Петр Лещенко. И девушки в черных купальных костюмах в бассейне Дома Красной Армии в описании автора гораздо более тайно, гораздо более укромно-соблазнительные, чем глянцевые красотки-топлесс... И любовь, любовь, на этих же улицах, в этих парках, под деревьями у озера. Потому что все, чего мы жаждем, — это любовь. Все, чем мы живем. Она, эта любовь, всегда одна — к городу, к женщине, к матери, к родной земле, к музыке, к словам книг — все это из одного и того же корня великого произрастает, только в разных одеждах предстает...

А надо всем этим — глаза. Глаза коренного минчанина, любовно и бережно вглядывающиеся в улицы, ища в них, сегодняшних, родные очертания — абрис дома, поворот мостовой. Как мало писали о нашем городе,

в сущности... И не поймешь, что есть фон для чего: Минск ли конца 1950-х — фон первой любви девушки и юноши в романе «Минская любовь»? Или же сама эта любовь — фон Минска? Фон для того — одновременно помпезного («советское барокко») и застенчиво-невысокого, удивительно домашнего города, — к которому мы в итоге возвращаемся или который никогда не смогли покинуть (как автор романов, или автор этой рецензии).

Теперь о главном — о ракурсе.

Мы привыкли, что история — это свершения и даты, а биография — жизнь одного человека. Это не так. История соткана из биографий. В биографии, как в капле росы, можно увидеть мир истории и «схватить» его гораздо более полно, чем прочитав сотню учебников и монографий. Пусть не знанием — но чувством. А оно «знает» больше и глубже знания...

Ракурс — эпоха, данная через людей. Тонкими беглыми штрихами дана галерея образов.

Стефания. Не величавая Гиза в «Игре в кошку» (девочкой я застала еще этот блистательный спектакль в Купаловском и ходила на него множество раз). Не природное божество Дарья в «Прощании» Ларисы Шепитько. И даже не восхитительная Мод — незабвенная роль Станюты в спектакле Н. Пинигина «Гарольд и Мод». Там, в книге, — в разговорах с сыном — живет женщина, которой мы с вами никогда не знали. Не «мадам классик» (кто-то из друзей так в шутку называл Ахматову — и эта ассоциация не случайна): женщина, чьей стихией были удивление миром, радость его чудесам, желание прорасти в него, стать его частью, стать ветвью, цветком (не отсюда ли любовь к танцу?)... Женщина, настолько естественная, настолько живая, настолько сильно и страстно чувствующая... Любить умеющая и удивляться. Не памятник — человек.

Ее отношение к миру — всегда изумленное, всегда очарованное — отношение человека, как это ни больно писать, утраченное отношение XIX века. В XX все мы начали спешить. В XXI переместились в виртуальную вселенную, где невероятного нет: вероятно все, и все равноценно — что прелести порнозвезды, что трансплантация органов, что прилет марсиан.

Тогда же сама жизнь была чудом, чудом был театр и чудом была любовь. Пусть даже любимый — чужой муж... И пусть даже он потом навеки отнят уже не самой этой и без того тяжкой ситуацией, а куда более страшной — тюрьмой и расстрелом...

Об этой «казни», когда «врагов народа», заключенных на «Володарке», в первые дни войны погнали невесть куда, а потом расстреляли по дороге, я изначально знаю не из книги «Городские сны». Рядом с любимым Стефании Станюты, актером Яковом Скальским (неотправленные письма к нему составляют часть книги — и ее мощный эмоциональный нерв) оказался молодой литературовед. В романе он выведен под фамилией «Рябинкин». На самом деле это наш знаменитый критик Григорий Березкин. Я знала его. Григорию Соломоновичу повезло выжить под теми пулями, Якову Скальскому (в книге — Льву Дальскому) — нет.

Минск — город камерный, так было и осталось: минская интеллигенция всегда была связана множеством нитей — о которых мы не всегда сами знали, и может быть, в этом его дополнительное очарование — в сочетании столичности и «домашнести», когда помпезный с виду проспект напоминает коридор в любимой и хорошо знакомой квартире: в каждом доме либо живет, либо жил кто-то близкий. И по сей день так. Только все чаще это тени. Тени незабытых или даже забытых друзей и любимых... Тогда, в тридцатые, и позже, в сороковые, да и потом, в пятидесятые — эти тени трагические, измученные, убитые...

Другие ее мужчины прошли тем же путем. Просто потому, что это был типичный в те времена путь интеллигента... Человека смелого и яркого. Впрочем, в какие времена путь такого человека бывает легок?

Офицер НКВД, подписывающий свои письма «Аля». По его письмам

(они есть в романе «Городские сны») прослеживается целая эпоха, мировоззренческий слом человека, сперва делившего и явления жизни, и явления культуры на «полезные» и «неполезные» благу миллионов и власти этих миллионов; человека строящего «планов громадьё», но постепенно понявшего, что «все мелко: степной волк трусливее зайца, и стая разбегается, если ударить в ладоши»... Он тоже был расстрелян.

Отец автора, Александр Кручинский, кадровый офицер, уволенный из Красной Армии незадолго до войны, не взятый на фронт, оказавшийся в оккупации... Единственный мужчина в семье, на руках — мать, сын, сестра, племянница, а в груди — ответственность: исконное дело мужчины — кормить и защищать. Следовательно, надо работать при немцах. А в сердце — твердое знание, что будет значить потом это «при немцах». Оно будет значить — «на немцев». Итак, власть, которой человек служил верой и правдой (начиная с караула у гроба Ленина в 1924 году), бросила его в пасть Полифему, а затем уничтожила за то, что он в этой пасти выжил... А далее испытанный механизм — стереть человека. Сперва его самого в лагерную пыль. Затем вынудить семью стереть само его имя — дать сыну фамилию матери. И глубже, глубже — тысячами уничтоженных имен... Стереть мысль об оккупации, о пустых домах, хлопающих дверями на улице Беломорской после расстрелов «памяти Кубе» (кстати, отнюдь не такого уж сатрапа режима, как выяснилось). Убить сам намек на память тех, кто прожил годы в вечном страхе, а потом — десятилетия под вечным подозрением с тавром «жил на оккупированных врагом территориях»...

Александр Станюта воскрешает не только время, но имена. Вернее, так: он находит время в именах и лицах. И благодаря ему их можем теперь найти мы.

И наконец, последнее: в книгах Александра Станюты — не скрывающих собственной автобиографичности — есть подкупающая деталь. Нет, не деталь — настрой, скорее. Не ныть и не щадить себя. В них нет самолюбования и жалости к себе, пережившему все, что пережил. Нет сведения счетов. Зато есть попытка отдачи долгов тем, с кем свела его судьба — матери, отцу, деду (призываю читателя обратить особое внимание на прекрасный рассказ «Антек Млоды»), художнику Михаилу Филиповичу (Мишуше из повести «Сцены из минской жизни»), Алесю Адамовичу, Василю Быкову, Янке Брылю — и больше, больше... Всем, кто дал когдатошнему минскому мальчику, а затем и взрослому человеку, нечто важное — Толстому и Достоевскому, Эрнесту Хемингуэю и Константину Воробьеву, Эдди Рознеру и Марлен Дитрих...

Любимой земле. Любимому городу.

Найденное время. Щедрая дань памяти и благодарности в век, который не умеет помнить и разучился благодарить...

И знаете, на что я — пусть совсем чуть-чуть — но все же надеюсь? Может быть, тот, кто прочитает книги Александра Станюты, тоже научится?

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ



Анатолий Докторов. Испытание судьбой.
Могилев: Амелия Принт, 2010.

В Могилевском издательстве «Амелия Принт» увидела свет книга очерков Анатолия Кузьмича Докторова «Испытание судьбой». Издана она стараниями администрации Ленинского района г. Могилева, Могилевского областного отделения ОО «Белорусский фонд мира» и самого автора, полковника в отставке, лауреата премии Министра обороны Республики Беларусь в области журналистики А. К. Докторова.

Книга «Испытание судьбой» — это многолетний обстоятельный документальный труд историка-краеведа, в котором он хронико-автобиографически попытался показать трудную и сложную жизнь наших земляков на оккупированной гитлеровскими захватчиками территории, героическую оборону г. Могилева в июле 1941-го и огненные дороги Могилевщины в 1943—1944 годах, которые вели к Великой Победе.

А. К. Докторов на общем историческом фоне событий Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. детально, на основе документальных источников, исследует и освещает кровопролитные боевые действия Красной Армии на Днепровском рубеже обороны (Быхов, Могилев, Шклов) в июле 1941 года. Большое внимание автор уделяет 23-дневной, в полном окружении врагом города, героической обороне Могилева. Здесь впервые с начала Второй мировой войны фашисты встретили столь яростное и длительное сопротивление. И это было очень ко времени — в самый разгар исторического Смоленского сражения защитники Могилева намертво закрыли гитлеровской ударной группировке войск армии «Центр» переправу через реку Днепр. Причем при 4—5-кратном превосходстве противника в силах: численности солдат, офицеров, танков, артиллерии, авиации. Наши же войсковые части для отражения атак противника ни танков, ни другой бронетехники не имели. Защитники Могилева стояли насмерть. Они покинули город только после приказа Генштаба: «Оставить город».

Яркие эпизоды героической обороны Могилева, о которых мы узнаём, прочитав страницы книги, показывают, что наш город стал не только «вторым Мадридом», он явился прообразом обороны Сталинграда.

«23-дневный подвиг воинов 172-й стрелковой дивизии и других приданных ей частей 61-го стрелкового корпуса 13-й армии Западного фронта, отрядов народного ополчения, всех жителей города Могилева — это пример стойкости, мужества и героизма. Именно они — защитники Могилева, вместе с защитниками Бреста и Минска, Киева и Ленинграда, Смоленска и Москвы, их отвага и героизм стали причиной краха гитлеровского «блицкрига» — молниеносной войны», — делает вывод автор книги.

В городе Могилеве оккупанты уничтожили 10 тысяч мирных жителей и 70 тысяч военнопленных, вывезли на каторгу в Германию 2 тысячи человек. На территории Могилевского района было создано пять лагерей смерти. В Луполовском лагере смерти находилось до 70 тысяч человек, из них уничтожено около 40 тысяч в лесах деревень Пашково и Полыковичи. А всего в Могилевской области за три года гитлеровцы уничтожили 153 тысячи советских граждан.

В очерке «Страшно вспомнить» А. К. Докторов приводит рассказы очевидцев о том, как была проведена гитлеровцами карательная операция в его деревне Верхние Пруды Шкловского района. «Около полудня 23 сентября 1943 года из леса, расположенного на правой стороне реки Артиславки, раздались автоматные очереди по двум движущимся по дороге из деревни Плещицы конным подводам, на которых восседали два немца и три полицая с винтовками. В перестрелке были убиты две лошади, два немца и один полицай. Группа партизан скрылась в лесу.

Это и стало поводом для фашистских карателей сжечь деревню и уничтожить ее жителей. О «затее» карателей узнали от местных полицаев. Стало тревожно. Все жители деревни были оповещены и принято решение — срочно в сумерках к вечеру оставить свои дома и уйти в Заходский лес под прикрытие партизан с домашним скарбом, скотом, запасом продуктов. К полуночи деревня опустела. С ней остались около десятка стариков, отказавшихся уходить в надежде, что их не тронут каратели. Остался в своем хозяйстве и мой дед Фрол Докторов.

Ранним утром следующего дня в деревню Верхние Пруды стремительно, на машинах (их было более десятка) и мотоциклах, нагрянул карательный отряд немцев и полицаев. В считанные часы были сожжены 68 строений: жилые дома, сараи, колхозный двор, убиты 10 человек — стариков.

Зарево пожаров было видно из леса. Плач и рыдания женщин, детей. Страшно вспомнить.

По донесениям партизанской разведки стало известно: деревня Верхние Пруды вся сожжена и людей в ней нет. На третий день мы вышли из леса и увидели свою мертвую уже не деревню, а обугленную территорию над рекой Артиславкой. На местах домов, сараев, погребов — пепелища с черными от огня и дыма кирпичными печами и возвышающимися над ними черными дымовыми трубами.

Среди груды бревен и пепла мы нашли обугленное и исколотое штыками тело деда Фрола. По рассказу чудом спасшейся от расстрела карателей женщины, дед с вилами в руках в угаре гнева кинулся на поджигателей своего родного очага, видимо, чувствуя, что это его последний поединок с врагом и время его жизни на этом гневном свете истекает... Каратели на штыках бросили его в собственный горящий дом...»

В хронологической последовательности, опираясь на документальные источники, автор исследует и освещает день за днем действия войск Красной Армии и партизанских отрядов по полному освобождению Могилевской области от немецко-фашистских захватчиков в 1943—1944 гг. Он справедливо отмечает, что решающая роль в освобождении Могилевской области принадлежит Белорусской стратегической наступательной операции советских 4-х фронтов «Багратион». Даже немецкие генералы признали, что в Беларуси в 1944 году «немецкую армию постигло величайшее в ее истории поражение, превзошедшее даже сталинградское».

Автор так же аргументированно показал большой вклад партизан и подпольщиков Могилевщины в борьбу с гитлеровскими захватчиками. «Только в период изгнания гитлеровцев с территории области партизаны уничтожили 2 тысячи и взяли в плен 4 тысячи фашистских солдат и офицеров, захватили много трофеев».

Ценность книги и интерес к ней читателей определяется еще и тем, что она автобиографическая и краеведческая. Автор включил в нее немало страниц, освещающих события тех грозных дней, воспоминания свои лично и жителей ряда деревень, находившихся между Шкловом и Могилевом. Книга со вкусом оформлена, на ее страницах находится несколько десятков фотографий с именами героев обороны и освобождения г. Могилева и области, а также фотографии мемориальных комплексов, возведенных на могилевской земле ее благодарными жителями.

Ценность представляет также ряд приложений к тексту книги: «Хронологическая таблица освобождения городов и райцентров Могилевской области в Великой Отечественной войне (1943—1944 гг.), «Людские потери в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны», «Архивные учреждения, куда можно обратиться за справками», а также пять схем боевых действий войск Красной Армии в разные годы войны и 10 цветных карт хода боевых действий Красной Армии при осуществлении крупнейших боевых операций.

Книга А. К. Докторова «Испытание судьбой» славит тех, кто прокладывал, не щадя своей жизни, огненные дороги к Великой Победе. Уверен, что она окажется востребованной и ныне, и в будущем.

Виктор Артемьев

Абай. Стэпавы прастор. Выбраныя вершы. Пераклад з казахскай мовы Міколы Мятліцкага.

Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

«Стэпавы прастор» — первое книжное издание произведений классика казахской литературы Абая на белорусском языке. Тем более отрадно, что именно эта книга стала очередным кирпичиком в фундамент казахстанско-белорусских взаимосвязей и дружбы. Точно подметил в предисловии «Мысляр, асветнік, гуманіст» Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Анатолий Смирнов: «Абай Кунанбаеў, як і Янка Купала, пражыў усяго 60 год, за якія паспеў падараваць свайму народу і свету цэлы шэраг па-мастацку дасканалых літаратурных шэдэўраў, тым самым узняўшы казахскую літаратуру на новую ступень развіцця. Сваёй геніяльнай творчасцю вялікія паэты сталююць масты дружбы, рухаючы па іх сказ пра лёс свайго народа на ўсё новыя шыроты свету». Перевоплощение бессмертных строк Абая на белорусский язык осуществил лауреат Государственной премии Республики Беларусь Микола Метлицкий с подстрочного перевода, сделанного Кайратом Бакбергеновым. И, нужно отметить, сделал это мастерски. Абай «говорит» по-белорусски настолько естественно, что невольно забываешь, что все это было написано на другом языке. Вместе с тем полностью сохранен и точно передан казахский колорит.

Григорий Андреевец. Сто лет Анисимова. Документальный роман.

Гомель, ОАО «Полеспечать», 2011.

Герой документального романа Григория Андреевца — первый управляющий «Гомельэнерго» Николай Анисимов, под руководством которого происходило становление энергосистемы Гомельщины. Этот замечательный человек и опытный руководитель предстает, как говорится, крупным планом. Он виден не только в деле, но и в отношениях с людьми, в том числе и с близкими. Облик Анисимова дополняют воспоминания тех, кто долгое время работал вместе с ним, и следовательно, хорошо знал его. Предисловие к книге принадлежит генеральному директору Республиканского унитарного предприятия «Гомельэнерго» Александру Петухе, который справедливо отмечает, что Анисимов «был гениальным руководителем, прибавившим к своему таланту и знаниям титаническое трудолюбие».

Вечны агонь Перамогі. Нарысы. Укладальнік Мікола Мінзер. На беларускай и рускай мовах.

Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

В основу этой книги положены очерки о Героях Советского Союза, уроженцах Беларуси, в свое время опубликованные в журналах «Полымя» и «Нёман». Героями их стали мужественные защитники Отечества, которые на время создания этих документально-художественных жизнеописаний были еще живы. К сожалению, некоторые из них уже ушли от нас. Однако все они, а это 24 Героя Советского Союза, благодаря мастерству авторов, предстают перед читателем живыми, полными творческого запала — это Константин Лозаненок, Николай Зайцев, Иван Миронков, Григорий Денисенко, Николай Должанский, Дмитрий Жмуровский, Виктор Ветошкин и другие.

Валентина Гацко. Память Чернобыля. Историко-документальная хроника.

Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

О необходимости издания книги «Память Чернобыля» рассуждает ее автор Валентина Гацко: «Подрастает новое поколение, которое не было свидетелем тех событий, но по сей день они чувствуют последствия катастрофы. Поэтому очень важно научить грядущие поколения основам жизнедеятельности в условиях радиоактивного загрязнения и постараться сделать проживание на этой территории максимально безопасным». Разве что следует добавить: нужно помнить то,

что тогда произошло, знать правду о катастрофе, по сути, разделившей жизнь человечества на дочернобыльскую и послечернобыльскую эпоху. В. Гацко была свидетелем многих событий, поскольку в то время работала инспектором образования Хойникского райисполкома. Она вместе с другими специалистами занималась вывозом детей в экологически чистые места Беларуси. Теперь Валентина Афанасьевна работает директором Хойникского районного музея «Трагедия Чернобыля». В книге, конечно же, рассказывается об этом уникальном музее. Однако большую смысловую нагрузку несут воспоминания — как тех, кто принимал участие в ликвидации последствий катастрофы, так и тех, кто вынужден был расстаться со своими родными местами. Приведен также богатый иллюстрационный материал. «Память Чернобыля» — это издания для всех, в чьих сердцах живет чернобыльская боль.

Зінаіда Дудзюк. Леў.
Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2011.

Есть люди, которых без преувеличения можно считать совестью нации. Безусловно, к ним относится и канцлер Великого княжества Литовского Лев Сапега. Он — один из тех, кого долгое время иначе как эксплуататорами и не называли, а между тем эти «эксплуататоры» немало сделали для страны. Об этих деяниях и рассказывает в своей новой книге известная белорусская писательница Зинаида Дудюк. Уже само название этого документального повествования, основанного на богатом фактическом материале, звучит символически. Лев в данном случае — это не только имя Сапеги, но и, образно говоря, сила, мощь, могущество — все то, что и связано с истинной государственностью, за которую Лев Сапега и ратовал на протяжении всей своей жизни. З. Дудюк не оставляет без внимания ни одной грани деятельности своего героя. Читатель увидит его не только как государственного деятеля, но и как дипломата, политика, мецената. И конечно же, убедится в том, что Сапега по сути стоял у истоков белорусской правовой державы, свидетельством чему является Статут Великого княжества Литовского, ставший самым передовым юридическим документом своего времени.

Алесь Мартинович. Серенада под сенью столетий. Признание в любви Беловежской пуще.
Мн.: Беларуская навука, 2011.

Желаете познакомиться с эротическими валунами? Для вас загадка «пояс беременности»? Хотите узнать, как Вакула Хрущева водил и почему «позеленел» Горбачев? Вы не прочь отдохнуть под музыку Вивальди с медведицей? В таком случае книга «Серенада под сенью столетий» для вас. Прежде всего она, конечно, о Беловежской пуще. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь и многих престижных литературных премий Алесь Мартинович рассказывает о самом заповедном, первобытном уголке не только Беларуси, но и всей Европы, увлеченно, захватывающе. И конечно же, с любовью, потому что не любить Беловежскую пущу просто невозможно.

Василь Слуцкий



ХИЛЬКЕВИЧ Владимир Павлович. Родился в 1946 году на Слутчине. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Прозаик, публицист. Автор повестей «Камелия», «Водяные мосты», «Рогоносец», а также рассказов, эссе и др. Работает в редакции газеты «Звязда». Живет в Минске.

МОЗГО Владимир Минович. Родился в 1959 г. в г. п. Зельва Гродненской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик, публицист. Автор ряда книг поэзии, многие стихотворения из которых положены на музыку. Лауреат премии Федерации профсоюзов Беларуси и Литературной премии имени Василя Витки. Заместитель главного редактора журнала «Полымя». Живет в Минске.

ДЕМКИН Андрей Делеорович. Родился в 1970 г. в Ленинграде. Окончил Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова. Автор работ по истории и психологии искусства. Победитель конкурса «Живое слово — 2010» в номинации «Живые истории». В «Нёмане» публикуется впервые. Живет в Санкт-Петербурге.

ЧЕРНЯВСКАЯ Юлия Виссарионовна. Родилась в Минске. Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета и факультет культуры РИВШ. Поэт, прозаик, критик. Автор книг «Народная культура и традиция», «Личность и культура», «Введение в культурную философскую антропологию» и др., а также более 50 статей, опубликованных в Беларуси, России, Польше и Германии. Живет в Минске.

КРИВОШЕЕВА Татьяна Ивановна. Родилась в г. Мстиславль Могилевской области. Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. Печаталась в научно-методическом журнале «Русский язык и литература». В журнале «Нёман» публикуется впервые. Живет в Минске.

БОРИСОВА Валентина Алексеевна. Родилась в Брянской области (Россия). Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. Автор книг поэзии «Только памятью прикоснись...», «Живу и люблю», «Я вам говорю о любви». Член клуба «Вдохновение» при Республиканском Доме ветеранов. Живет в Минске.

СТЕПАН (Степаненко) Владимир Александрович. Родился в 1958 г. в г. п. Костюковка Гомельской области. Окончил Минское художественное училище и Белорусский театрально-художественный институт. Прозаик, поэт, драматург, киносценарист. Автор книг прозы «Вежа», «Сам-насам» и др. Живет в Минске.

ВОЛОДЬКО Станислав Викторович. Родился в 1956 г. в д. Подольцы Островецкого района Гродненской области. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Автор книг поэзии «У вачах Айчыны», «Памяці гаючая трава», «Обращение к сердцу», сборников стихов, сказок и рассказов для детей и др. Награжден нагрудным знаком «За вклад в развитие культуры Беларуси». Живет в Даугавпилсе (Латвия).

БЕКЕШ Пал. Родился в 1956 г. в Пеште (Венгрия). Венгерский прозаик, драматург, сценарист, переводчик. Автор множества произведений различных жанров: от рассказа-миниатюры (сборник «Коллекция марок») до романа «Чикаго». Награжден Бриллиантовым крестом Ордена Венгерской Республики. Умер в 2010 г.

ЖИ МУЖУН. Родилась в 1943 г. в г. Чуцин (Китай). Окончила художественное отделение Тайваньского педучилища и искусствоведческое отделение Тайваньского университета. Поэтесса. Автор сборников стихотворений «Душистый запах за семь верст», «Стихи к картинам», «9 стихотворений о времени» и др. Живет на Тайване.